

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

...корабль марксизма подвергся жестокому обстрелу и зияет пробоинами; самые заветные его скрижали



ставятся... на полку с сочинениями утопистов. Позорная же шовинистическая страница... — все еще остается неведомой подавляющему числу последователей и противников Маркса.

Николай Ульянов

В лагере он работал на общих и снижал себе известность среди товарищей по несчастью как лучший «звонарь». Благодаря феноменальной памяти, Штильмарк мог на протяжении многих часов и дней воссоздавать сюжетные линии шедевров... классиков приключенческой литературы...



Игнатий Шенфельд

За горизонтом, за чертой, за краем
Мы пристани привычные теряем,
Но обретаем новые моря.
Мы только в детстве
в моряков играем,
Потом, забыв о море,
умираем,
Бросая в бухты быта якоря.
И откровенье древнего
царя
Сегодняшней наукой
поверяем...



Молчи, Екклезиаст!
Всё это зря —
Ведь мы иную участь
выбираем.
Успокоенье — участь
бунтаря.
Прельстившегося
обретенным раем.
Ведь все мы начинаем
с букваря
И непременно Библией
кончаем.

Ирина Озерова

Убийство пастыря «Солидарности» относится к событиям, не частым в истории, когда человеческие чувства делят нацию по ясной и прямой линии. Дело в том, что существует сфера, где многозначность истории исчезает — и остаются общие всем нам и чуждые и м чувства.



Ян Литынский

Пырьеву и Ромму ставились в заслугу их фильмы, которые помогали партии воспитывать целые поколения советских людей. В этих словах, как это часто бывает в речах и сочинениях партийных вождей, была только часть правды. Последние картины обоих художников мало радовали власть имущих.



Азарий Марьямов

Главный редактор: Владимир Максимов
Зам. главного редактора: Наталья Горбаневская
Ответственный секретарь: Виолетта Иверни
Заведующий редакцией: Александр Ниссен

Редакционная коллегия:

Василий Аксенов · Ценко Барев · Ален Безансон
Николас Бетелл · Энцо Беттица · Иосиф Бродский
Владимир Буковский · Армандо Вальядарес
Ежи Гедройц · Александр Гинзбург
Густав Герлинг-Грудзинский · Корнелия Герстенмайер
Пауль Гома · Петр Григоренко · Милован Джилас
Пьер Дэкс · Ирина Иловайская-Альберти
Эжен Ионеско · Роберт Конквест · Наум Коржавин
Эдуард Кузнецов · Николаус Лобковиц
Эрнст Неизвестный · Амос Oz · Норман Подгорец
Андрей Сахаров · Андрей Седых · Виктор Спарре
Странник · Сидней Хук · Юзеф Чапский
Карл-Густав Штрём

Корреспонденты «Континента»

Израиль Михаил Агурский
Michael Agoursky, P.O.B 7433,
Jerusalem, Israel

Италия Сергей Рапетти
Sergio Rapetti, via Beruto 1/B
20131 Milano, Italia

США Эдуард Лозанский
Edward Lozansky, The Andrei Sakharov Institute,
3001 Veazey Terrace, N. W., Suite 332 Washington,
D. C. 20008, USA

Япония Госуке Утимура
Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7
189 Tokyo, Japan

Присланные рукописи не возвращаются, и в переписку по этому поводу редакция не вступает.

Название журнала «КОНТИНЕНТ» — © В. Е. Максимова



КОНТИНЕНТ

Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал

43

Издательство «Континент»
1985

СОДЕРЖАНИЕ

Ирина Р а т у ш и н с к а я – За высокую оду	7
Яан К а п л и н с к и й – Строки из Эстонии. Перевод Василия Бетаки	22
Галина В и ш н е в с к а я – «Леди Макбет Мценского уезда»	25
Ирина О з е р о в а – Посмертные строфы	43
Израиль М а л е р – Пятак. (Повесть о безмятежной юности...)	53
Владимир Г л о з м а н – «Невоплощенный человек...» Стихи	76
Феликс К а н д е л ь – Люди мимоезжие. Окончание	85
Науи В а й м а н – «Скоро осень...» Стихи	149
РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ	
Эдуард К у з н е ц о в – О том, как меня Сахаров обогрел	153
Александр З и н о в ь е в – Почему я не вернусь в Совет- ский Союз	161
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ	
Ян Л и т ы н с к и й – Мы и они	167
ЗАПАД – ВОСТОК	
Томаш М я н о в и ч – Можно ли спасти Германию?	177
ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА	
Игнатий Ш е н ф е л ь д – Наследник из Калькутты	195
ИСТОКИ	
Николай У л ь я н о в – Замолчанный Маркс	209
ИСТОРИЯ	
Михаил Ф р е н к и н – Некоторые вопросы траги- ческого исхода борьбы крестьянства в ходе русской революции и его колхозное закрепощение	245

ФИЛОСОФИЯ	
Вадим Я н к о в – Этико-философский трактат	271
ИСКУССТВО	
Азарий М а р ь я м о в – Прозрение. История двух художников	303
ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ	
В. Н о с о в – «Ключ» к Гоголю. Опыт художественного чтения	323
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ	
Леонид Ч е р т к о в – Из забытой русской поэзии ХХ века	359
КОЛОНКА РЕДАКТОРА	367
НАША ПОЧТА	371
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ	
Анатолий К о п е й к и н – Монография о Солженицыне	383
Н. Г о р б а н е в с к а я – Мельница и зámок	387
Татьяна Г о р я ч е в а – Книга об отце Глебе Якунине	392
Кира С а п г и р – Право на счастье	394
Михаил Г е л л е р – Автопортрет в колючей раме	399
М. П о х в и с н е в – «На невзрачной равнине с суровым климатом»...	401
КОРОТКО О КНИГАХ	409
ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ	423
НАША АНКЕТА	
О человеке поздней эпохи. Интервью Карела Гвиждялы с Вацлавом Б е л о г р а д с к и м	426

ЗА ВЫСОКУЮ ОДУ

От редакции: Публикуемая подборка стихотворений составлена нами по двум источникам. Первым был самиздатский сборник, составленный друзьями после ареста Ирины Ратушинской, – в него вошли все ее доарестные стихи. Строкой из стихотворения, завершающего сборник, мы озаглавили эту подборку, а само оно – последнее перед арестом – печатается, увы, без двух первых четверостиший, так как дошло в поврежденном виде, с неразборчивым строчками. А вслед за этим идут стихи уже лагерные, «мордовские». И новый сборник озаглавлен «Вне лимита» – т. е. за рамками «дозволенной» переписки.

Приговоренная к семи годам лагерей и пяти ссылки за стихи – и только за стихи! – Ирина Ратушинская исключительно стойко участвует в лагерном сопротивлении. Достаточно сказать, что в течение 1984 года она проголодала в целом 64 дня – отстаивая свои права, защищая солагерниц.

Наша публикация – один из тех узелков, которыми должны быть связаны поэт и читатель, читатель и поэт, даже если поэта отгородили и огородили колючей проволокой.

* * *

Мне двадцать лет спустя не суждено
Забить свою свободу молодую,
Склонить повинно голову седую –
И затворить весеннее окно.

Мне не судьба однажды повстречать
Друзей с надорванными голосами,
И слышать суд над ними – и смолчать,
И проводить беспомощно глазами,
И ощутить предательства печать.

Пускай вершит законы большинство –
Ему дано иное время года.
А мне за право первого ухода
Благодарить неведомо кого.

сентябрь 1978, Одесса

* *
*

И я развязала старый платок –
И тотчас ко мне пришли
Четыре ветра со всех дорог,
Со облаков земли.

И первый ветер мне песню спел
Про дом за черной горой,
Про заговоренный самострел
Мне рассказал второй.

И третий ветер пустился в пляс,
И дал четвертый кольцо.
А пятый ветер пришел смеясь –
И я знала его в лицо.

И я спросила: – Откуда ты?
И кто мне тебя послал?
А он взгляделся в мои черты
И ничего не сказал.

И я прикоснулась к его плечу –
И всех отпустила прочь.
И этот ветер задул свечу,
Когда наступила ночь.

ноябрь 1978, Киев

* *
*

Мимо идущий, не пей в этом городе воду –
Насмерть полюбишь за соль
С привкусом лета!
Не приклони головы – останятся годы.
Ты не прошел по Тропе –
Помни об этом.
В добрых домах не позабудь цели,
Не уступи мостовых
Пыльное счастье...
Слышишь, как тихо? Но ангелы улетели.
Сердце твое да свершится вне их власти.
Женской руки не целуй в человеческой гуще:
Бойся запомнить апрель –
Запах перчаток!
знаком Тропы да пребудет твой лоб опечатан,
Гордыми губы да будут твои,
Мимо идущий!
Не возлюби.

1979, Одесса

* *
*

Нет, не спаси, не сохрани,
Мы так отвыкли от защиты!
О, мы совсем не те пииты,
В стихах искавшие брони, –
Мы не холопы и не свита.
В своей гордыне – что ж, карай! –
Не преклонившие колена...
Не допусти в последний рай,

Но только сбереги от тлена
Что нам – одно – закон и честь,
Что мы растим своим дыханьем
И называем вслух стихами,
Не смея имя произнести.

1980, Киев

* *
*

И вот я лечу по ступеням –
Почти кувырком, – как во сне.
А день до безумья весенний,
И двор с простынями – весенний!
И сор под ногами – весенний!
И нет никакого спасенья
От буйного беса во мне.
 О, как мне немедленно нужно
 Туда, где всего голубей –
 У крана расплескивать лужи,
 С карниза пугать голубей!
Как быстро меняются местом –
Шажок, перебежка, прыжок –
Холодная гулкость подъезда
И неба внезапный ожог!
 И пахнет котами и хмелем
 От сохнувших каменных плит.
 А я задыхаюсь апрелем
 И брату кричу: – Ты убит!

1980, Киев

* *
*

Ты себя не спрашивай – поэт ли?
Не замедлят – посвятят в пииты.
Все пути – от пули и до петли –
Для тебя невозбранно открыты.

И когда забродит человечье –
Ты поймешь, мотив припоминая:
От Елабуги до Черной речки –
Широка страна моя родная.

1981, Киев

* *
*

В идиотской курточке –
Бывшем детском пальто,
С головою, полной рифмованной ерунды,
Я была в Одессе счастлива, как никто, –
Ни полцарства, ни лошади, ни узды!

Я была в Одессе – кузнечиком на руке:
Ни присяг, ни слез, и не мерить пудами соль.
Улетай, возвращайся – снимут любую боль
Пыльный донник, синь да мидии в котелке.

Мои улицы мной протерты до дыр,
Мои лестницы слизаны бегом во весь опор.
Мои скалы блещут спинами из воды,
И снесен с Соборной площади мой собор.

А когда я устану,
Но встанет собор как был –
Я возьму билет обратно, в один конец –
В переулки, в теплый вечер, в память и пыль!
И моя цыганка мне продаст леденец.

21 января 1982

* *
*

Как бездарно ходит судьба
Собирать оброк!
Двадцать пять годов без тебя –
это первый срок.
Десять суток с тобою врозь –
это срок второй.
Ну, так что же третий,
Который не за горой?
Ведь не дольше первого
И второго не голодней...
Отвори бедняжке –
грешно смеяться над ней.

1 февраля 1982

* *
*

Русалки, и звезды с лучами,
И ландыши в буквах резных –
Какую печаль заключали
Виньетки затрепанных книг!

В каком говорили смятеньи:
– Ах, мы понимаем... расти!
Но помни: тончайших растений
Не видит, кто старше шести.

Не бойся, они не завянут,
И звери останутся тут,
Но буквы навеки затянут
И сердце твое уведут.

Полюбишь другие игрушки,
А нас – за порог слепоты...
Смотри же: вот листья петрушки,
И ангелы вот, и цветы!

7 марта 1982

* *
 *

На Батыевой горе –
Там стоял наш дом.
Как на черном серебре –
Белым серебром.
 Трехнедельное жильё,
 Временный приют.
 То вино, что не допьём –
 Другие допьют.
Было нечего терять –
Да ключи в горсти:
Надышавшись января,
Дух перевести.
 Три бетонные стены,
 Полоса стекла...
 Три недели тишины,
 Света и тепла.
Приручили все замки,
Хлеба принесли...
На столе черновики
Снегом росли.
 А прощаться подошло –
 Горе не беда!
 Нам уже не тяжело
 Было – никуда.

1 апреля 1982

* *

*

.....

О, я вижу тебя – как глаза ни закрой –
Ты стоишь негасима.
Над отчизной моей – первой или второй? –
Наступает szara godzina.

Не пройду я по улицам сквозь патрули
Ветром Гданьска ночного.
Словно раненый пес, сердце молча болит –
Знать бы нужное слово!

Знать бы польское слово –
Не может не быть –
Что дарует свободу!
На остатке дыхания все песни забыть
За высокую оду!

Чтобы все – в твой костер,
В твой костел, в твой прибор –
Цвета пепла и мела...
Кровь на стыках, как поезд, грохочет тобой:
Nie zginęła!

Примечания для русского читателя: szara godzina (шара
годзина) – серый час, сумерки. Nie zginęła! – значит, еще жива.

июнь 1982

ЭПИГРАФ КО ВТОРОМУ СБОРНИКУ
«ВНЕ ЛИМИТА»

Как по площади по Красной рыщут флаги,
Птичья чернь орет, кружа над валом...
Нас обманом привели к присяге.
Но неправда – я не присягала.

(Без даты)

* *
 *

Что-то завтра, кораблик наш, Малая зона,
Что сбудется нам?
По какому закону –
Скорлупкой по мертвым волнам?
Весь в заплатках и шрамах,
На слове – на честном – одном –
Чьей рукою храним наш кораблик,
Наш маленький дом?
Кто из нас доплывет, догребет, доживет –
За других
Пусть расскажет: мы знали
Касание этой реки.

18 сент. 83

* *
*

Тане Великановой

Неумелая пила,
Пышные опилки.
Предосенние дела.
Доживем до ссылки!
Скоро, скоро на этап,
В теплый свитер – скоро,
А свобода – по пятам,
С матерщиной пополам,
Сыском да надзором!
Восемьдесят третий год –
Солью, не хлебами –
Вхруст по косточкам пройдет,
Переломится вот-вот!
Недорасхлебали.
За ворота, за предел –
С каждой нотой выше!
Тихий ангел отлетел.
Нам судьба накрутит дел –
Дайте только выжить!
Ну, до встречи где-нибудь.
Зэковское счастье –
Улыбнись!
Счастливым путь.
Нету сил прощаться.

1 сент. 83

* *
*

Помню брошенный храм под Москвою:
Двери настежь, и купол разбит.
И, дитя заслоняя рукою,
Богородица тихо скорбит –
Что у мальчика ножки босые,
А опять впереди холода,
Что так страшно по снегу России –
Навсегда – неизвестно куда –
Отпускать темноглазое чадо,
Чтоб и в этом народе – распять...
– Не бросайте камня, не надо!
Неужели опять и опять –
За любовь, за спасенье и чудо,
За открытый бестрепетный взгляд –
Здесь найдется российский Иуда,
Повторится российский Пилат?
А у нас, у вошедших – ни крика,
Ни дыхания – горло свело:
По ее материнскому лику
Процарапаны битым стеклом
Матерщины корявые буквы!
И младенец глядит, как в расстрел.
Ожидайте – Я скоро приду к вам!
В вашем северном декабре
Обожжет Мне лицо, но кровавый
Русский путь Я пройду до конца,
Но спрошу вас – из силы и славы, –
Что вы сделали с домом Отца?
И стоим перед Ним, изваянно
По подобию сотворены,
И стучит нам в виски окаянным
Ощущением общей вины.
Сколько нам – на крестах и на плахах –
Сквозь пожар материнских тревог –

Очищать от позора и праха
В нас поруганный образ Его?
Сколько нам отмывать эту землю
От насилия и ото лжи?
Внемлешь, Господи? Если внемлешь –
Дай нам силы, чтоб ей служить.

12 окт. 83

* *
*

Я сижу на полу, прислонясь к батарее –
Южанка, мерзлячка!
От решетки по лампочке тянутся длинные тени.
Очень холодно.
Хочется сжаться в комок по-цыплячьи.
Молча слушаю ночь,
Подбородок уткнувши в колени.
Тихий гул по трубе,
Может, пустят горячую воду!
Но сомнительно.
Климат ШИЗО. Мезозойская эра.
Кто скорее отогреет – Державина твердая ода,
Марциала опальный привет
Или бронза Гомера?
Мышка Машка стащила сухарь
И грызет за парашей.
Двухдюймовый грабитель,
Невиннейший жулик на свете.
За окном суета –
И врывается в камеру нашу –
Только что со свободы –
Декабрьский разбойничий ветер.
Гордость Хельсинкской группы не спит –
По дыханию слышу.

В Пермском лагере тоже не спит
Нарушитель режима.
Где-то в Киеве крутит приемник
Другой одержимый...
И встает Орион,
И проходит от крыши до крыши.
И печальная повесть России
(А может, нам снится?)
Мышку Машку, и нас, и приемник,
Умещает на чистой, еще непечатой странице,
Открывая на завтрашний день
Эту долгую зиму.

16 дек. 83

* *
*

Мандельштамовской ласточкой
Падает к сердцу разлука,
Пастернак посылает дожди,
А Цветаева – ветер.
Чтоб вершилось вращенье Вселенной
Без ложного звука,
Нужно слово – и только поэты
За это в ответе.
И раскаты весны пролетают
По Тютчевским водам,
И сбывается классика осени
Снова и снова.
Но ничей еще голос
Крылом не достал до свободы,
Не исполнил свободу,
Хоть это и русское слово.

25 апр. (84?)

* *
*

Переменился ветер,
А новый самодержавен.
Небо встало осадой
И пригороды берет.
За северной стеною
Раскатом кони заржали,
Но первый поток прорвался
Сквозь брешь восточных ворот.
И сразу в дымном провале
Исчезли остатки башен,
Смело надвратную церковь,
Кресты и колокола.
Мой город сопротивлялся,
Он был прекрасен и страшен.
Он таял в ревущем небе,
Затопленный им дотла.
А позже, когда над нами
Сомкнулись тучи и воды –
Никто не знал их победы
И не воспел зари.
И нет им с тех пор покоя,
Всё лепят, лепят кого-то –
То руку, то край одежды
Бессильные повторить.

2 июля 84

* *
*

Нас Россией клеймит
Добела раскаленная вьюга,
Мракобесие темных воронок,
Провалов под снег.
– Прочь, безглазая, прочь!
Только как нам уйти друг от друга –
В бесконечном круженье,
В родстве и сражении с ней?
И когда наконец отобьешься
От нежности тяжелой
Самовластных объятий,
В которых уснуть – так навек, –
Все плывет в голове,
Как от первой ребячьей затяжки,
И разодраны легкие,
Как нестандартный конверт.
А потом, ожидая, пока отойдет от наркоза
Все, что вышло живьем
Из безлюдных ее холодов, –
Знать, что русские ангелы,
Как воробьи на морозах,
Замерзают под утро
И падают в снег с проводов.

4 авг. 84

СТРОКИ ИЗ ЭСТОНИИ

Перевод Василия Бетаки

Это аллегорическое стихотворение стало новым подпольным гимном Эстонии... Прекрасные, мощные стихи. И я решил распространить их в английском переводе на съезде ПЕН-Клуба в Токио. Стихи эти стали весьма популярны в Польше, после того как их перевели и опубликовали в одном из подпольных изданий «Солидарности». Они переведены, кроме того, на английский, японский, голландский и испанский языки.

Алексис Раинит, вице-президент эстонского ПЕН-Клуба.

И СКАЗАЛ ВЕРЦИНГЕТОРИКС: Цезарь!
Ты отнял землю, на которой мы жили,
Но ты не сможешь отнять ту землю,
В которой нас похоронят.

Мой меч у ног твоих,
Вот мой народ и я.
Все, что пришло, – пройдет,

И те мертвы, кто милость заслужил
В Оверни жить... А с теми, кто Овернь покинул,
Переселившись в Рим, –
Я жить не в силах!
Да,
Они останутся живы,
Я знаю, что я их увижу,
Изучающими латынь,
Позабывшими речь отцов,
И увижу в их синих глазах
Темные искры стыда...

Я знаю, что я услышу
Неуклюжие речи старейшин,
Продавшихся римской власти,
Чтоб старейшинами остаться,
И хватать, прижимая к груди,
Горшок чечевичной похлебки,
И пергамент, гласящий о том,
Что они – граждане Рима!

Быть по сему, Император!
Единый имперский язык,
Единый народ и судьба,
Сшитая из лоскутов...
Безопасными станут дороги,
Не только для легионов,
Но для римских купцов и жуликов
От пределов Гипербореи
И до самого Стикса.

А меня запорют на Капитолии,
Но любовь моя и мой праведный гнев
Останутся жить.

Гнев мой выживет,
Чтоб кричать совой,
Сквозь пустыни лет,
Предрекать конец
Вечному городу.

Мечь растет, как дубы растут,
Ты сам разбросал эти желуди,
И царство твое пройдет,
И дороги, мощные плитами,
Зарастут одичалой пшеницей.
Козы будут пастись на Форуме,
И рука моего народа

Направит на Вечный город
Грубокованный меч вандалов!

И римская гордость
Будет не в силах
Лезвия трав придорожных согнуть,
Настанет час –
Твой прожорливый Город
Лопнет пиявкой под кулаком.

Поднимутся Запад, Север и Юг...

Делай дело свое, палач!
Я готов и к хлысту и к мечу,
Ибо давно уж мертвы
Все, заслужившие милость
Жить
В Оверни...

Ян КАПЛИНСКИЙ – сын профессора польской литературы в Тартуском университете, члена ПЕН-Клуба, распущенного советскими оккупантами в 1940 году («эта иудейско-масонская организация не нужна рабочему классу» – как писалось тогда в таллинских газетах). Профессор Каплинский был арестован, когда его сыну исполнился год. С тех пор о нем ничего не известно.

Ян Каплинский окончил тот же Тартуский университет, стал преподавателем в нем, но, проработав несколько лет, был уволен «за выступления буржуазно-националистического характера» и теперь работает подсобным рабочим в Тартуском ботаническом саду.

Как поэт публиковался в Эстонии с начала шестидесятых годов. По-русски опубликовано несколько стихотворений в переводе Г. Усовой.

В середине шестидесятых годов вышла первая и единственная книжка поэта по-эстонски. Последние годы не публикуется.

«ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА»

Однажды летом 1965 года Дмитрий Дмитриевич мне сказал, что на киностудии Ленфильм планируют снимать фильм-оперу «Катерина Измайлова» и что он будет счастлив, если я соглашусь сниматься в главной роли. Моему ликованию не было границ: я столько лет мечтала создать образ Катерины, что это стало смыслом, целью моей жизни. И если бы в то время мне сказали, что она будет моей последней партией и после нее я перестану петь, я бы на это пошла. Я тогда переживала трудный период моей жизни: умер в 1964 году А. Мелик-Пашаев, и я на долгое время потеряла всякий интерес к Большому театру.

Поэтому приглашение Ленинградской киностудии явилось для меня творческим спасением. Я взяла в Большом театре отпуск на весь сезон и жадно кинулась работать над долгожданной ролью.

Прежде чем дать мне клавиры оперы, Дмитрий Дмитриевич своей рукой вписал в мою партию верхнюю строчку над уже напечатанной строкой во многих местах оперы. Мне же не сказал ни слова, не просил петь именно этот вариант. Я, конечно, выучила то, что он написал, даже не зная, что это – из его первой редакции оперы. Для меня всегда авторитет Шостаковича был настолько безоговорочным, что, если бы после моего концерта или спектакля он сказал мне о черном, что это белое, я бы, не рассуждая, ответила: «Да, Дмитрий Дмитриевич, это так», – потому что знала, что он

Фрагмент из автобиографического повествования. Полное русское издание книги в скором времени будет выпущено «Континентом» совместно с газ. «Русская мысль».

видит лучше меня, что́ есть главное в моем искусстве. Я всегда брала ноты, которые он мне давал, и беспрекословно выполняла все в них написанное.

Шостакович не любил говорить о своих сочинениях и никогда не объяснял исполнителям значение, смысл тех или иных музыкальных фраз, будто боялся слов, боялся, что слова могут разрушить его внутреннее музыкальное видение. Он всегда предоставлял право артистам интерпретировать его сочинения, но тем большая ответственность ложилась на их плечи.

Зная хорошо повесть Лескова, имея уже свое отношение к персонажу – женщине, о которой Лесков говорит: «...Зададутся такие характеры, что как бы много лет не прошло со встречи с ними, о некоторых из них никогда не вспомнишь без душевного трепета», – я с волнением ждала первой встречи с оперной героиней. Но что это? Открыв клавиры, я буквально с первых минут почувствовала, как волна жалости и сострадания заполнила всю мою душу, и нет в ней места осуждению. Я почувствовала, что задыхаюсь, изнемогаю от лавины всепожирающей страсти, любовного восторга и девической нежности, переполняющих музыкальный язык героини-убийцы. Господи, да что же это такое? Откуда, из чего родился этот музыкальный образ? Шостакович, которому глубоко отвратительно всякое насилие, не то что убийство, не только не осуждает эту женщину, но со всей страстью своего огромного темперамента сочувствует ей, страдает, отдает ей всю красоту чувств, на какие только способен, и заражает нас любовью к ней. И вдруг на первой странице клавиры – надпись, которая вначале прошла мимо сознания: «Посвящается Нине Васильевне Шостакович». Так вот оно что! Ведь в то время Нина была его невестой! Дмитрию Шостаковичу было только 24 года, когда он начал сочинять «Леди Макбет», и он был безумно влюблен в свою будущую жену, о чем невольно и рассказал в своей опере! Но почему тогда «очерк судебной хроники» Лескова?

Потому что оперу эту задумал написать уже давно, и если бы не встреча с Ниной, я уверена, что образ Катерины был бы написан иначе. Но Шостакович был творцом, который писал всегда о себе, о том, что переживал и пережил сам, а так как налетела, захлестнула первая настоящая любовь, то он и наградил героиню оперы всеми чертами, которые хотел видеть в любимой женщине. Он хотел, чтобы так же, без оглядки, его любила Нина, чтобы была готова на все ради него. Он оправдывает все преступления Катерины. Оправдывает убийство опротивевшего ей мужа, убийство свекра – потому что тот мешает ее любви... Все сметай со своего пути!.. Ради любви можно все... потому что это любовь к нему. Он хочет вырвать свою героиню из вязкой трясины купеческого быта, дать ей крылья, чтобы улетила... опять же с ним. И за безрассудность страсти, стихийность чувств, мы, не рассуждая, идем за этой могучей молодой женщиной и забываем все ее злодеяния, когда она в любовном экстазе, разливаясь голосом, как река, поет: «Поцелуй меня так, чтобы кровь к голове прилила, чтоб иконы с киота посыпались!.. Ах, Сережа!..»

И как Шостакович ненавидит, презирает ее любовника Сергея! Этот махровый, галантерейный ухажер с «чувствительной» душой с самого начала мешает ему – он, как мальчишка, к нему ревнует. С первого же появления его Шостакович внушает своей любимой Кате, что перед ней – ничтожество. А каким слизняком, подонком композитор представляет его на каторге!

До «Леди Макбет в творчестве Шостаковича не было женщины, и, конечно, Катерина – это самобытная русская баба, не героиня лесковской повести, это Нина. Я всем нутром чувствую его неистовую страсть к ней. Была она, видно, натурой незаурядной и очень сильной, коль вызвала в нем такой взрыв страстей. А он, обладающий темпераментом сокрушающей силы и обостренным

нервным восприятием, искал именно такой страсти. Мы всё это слышим во всех любовных сценах оперы.

«Леди Макбет Мценского уезда» представляется мне самым достоверным и ярким автопортретом композитора, написанным им в самую счастливую пору его жизни. Здесь он такой, каким сотворил его Бог: молодой гений, удивительно сочетающий в себе могучий интеллект, утонченный талант и хлещущий через край темперамент, пишет без оглядки, как хочет, как чувствует. Все в опере открыто – и огромный масштаб страстей, и блестящий юмор, который потом стал злым. Нет еще над ним дубины, от которой ему придется увертываться всю жизнь. Я часто говорила Дмитрию Дмитриевичу, что он должен, обязан написать еще хотя бы одну оперу. На что он всегда отвечал, что, пока «Леди Макбет» не пойдет в России, никакой другой оперы писать не будет. Было впечатление, что он дал себе зарок и что если он напишет новую оперу, то «Леди Макбет» никогда уже при его жизни не пойдет на сцене.

Вскоре она была поставлена в Москве, и после ее премьеры я снова обратилась к Дмитрию Дмитриевичу с просьбой написать для меня оперу.

– Я бы начал, но где найти либретто? Нужна большая женская роль.

– А чего искать? Что может быть лучше «Воскресения» Толстого? Актрисы всю жизнь мечтают сыграть Катюшу Маслову.

От неожиданности Дмитрий Дмитриевич вздрогнул, будто испугался.

– Нет, нет! Опять Катерина – несчастливое имя.

После разгрома оперы в 1936 году ощущение униженного в нем художника не оставляло Шостаковича до конца жизни. Мы и представить себе не можем, во что бы еще мог вылиться его гений, если бы невежествен-

ные, но облеченные большой властью люди не исковеркали его души.

Работая над новым произведением, Дмитрий Дмитриевич никогда не показывал набросков. Никто не знал, что и как он пишет, пока сочинение не было окончено, и никогда ничего не переделывал. Единственный раз он изменил своему правилу, сделав вторую редакцию «Леди Макбет». В отделе агитации и пропаганды ЦК партии (там решаются все вопросы, связанные с искусством в СССР, – не правда ли, интересное название отдела?) ему сказали, что если он согласится на переделку оперы и перемену названия, то ее разрешат к постановке в Московском музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, а если нет, то... Ведь властям для того важно было получить другую редакцию, чтобы не пришлось признаваться в бандитизме 1936 года и чтобы показать всем, что «критика» была справедливой, раз композитор ее принял.

Эта опера была болью Дмитрия Дмитриевича всю жизнь. С нею связана самая большая его любовь и самое большое унижение его таланта. Ему страстно хотелось, ему необходимо было увидеть ее на сцене! И он пошел на компромисс – сделал вторую редакцию, опера получила другое название: «Катерина Измайлова», и 8 января 1963 года в Москве, в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, состоялась ее премьера.

Во второй редакции подверглась упрощению оркестровка, исчезло оркестровое вступление ко второму акту, а также оркестровый эпизод в любовной сцене второго акта; упрощены вокальные партии и многое другое. Почти половина текста оперы переделана, что придало некоторым сценам другой смысл в сравнении с первоначальным замыслом, как, например, большая сцена свекра Катерины Бориса Тимофеевича. В замысле Шостаковича, это могучий мужик лет шестидесяти, вдовец, в полной силе – он еще мешки с зерном воро-

чает: такие старики и в семьдесят лет детей имели. Ведь в деревнях, бывало, как сын уедет, такой батька на печку к молодой снохе лезет – их и называли «снохачами». Шостакович написал этот образ таким, чтобы подчеркнуть всю ничтожность, хлипкость Зиновия, мужа Катерины Львовны.

В первой редакции текст его арии был: «...Такая здоровая баба, а мужика-то нету... Зиновий не в меня, мне б его года – я бы ее...! Без мужика скучно бабе... Нет мужика... Нет мужика... Нет мужика... Нет мужика...» В этих повторах одной и той же фразы – его физическое вожделение к Катерине: он все кружит, и кружит, и кружит возле ее комнаты и – наконец: «Ладно, пойду к ней – она довольна будет... Пойду к ней... Пойду...» И он идет к ней в комнату, чтоб залезть к ней в постель!

Но так как советской бабе не может быть скучно без мужика, то и текст этой арии был весь переделан, и свекор перестал пылать вожделением к своей молодой снохе.

Такая же метаморфоза произошла с арией Катерины из второго акта, когда героиня, изнемогая в жарких перинах от любовной истомы и тоски по мужской ласке, поет:

Только ко мне никто не придет,
Никто стан мой рукой не обнимет,
Никто губы к губам не прижмет,
Никто мою белую грудь не погладит,
Никто страстной лаской меня не истомит...

В новом варианте этой сцены Катерина Львовна натягивает на себя по самые уши надлежащее советской женщине приличие и поет о том, что она «под крышей гнездышко увидела и летящих к нему птичек, и как жаль, что нету у нее любимого голубка...» Что и говорить – Федот, да не тот!

Таких переделок в опере много. К сожалению, фильм-опера был снят по этому исправленному тексту.

В музыке Шостаковича настолько ярко и зримо вырисовываются все персонажи, что, сидя за роялем и разучивая партию, я уже видела все мизансцены моей будущей роли, а та высочайшая тесситура во многих музыкальных фразах, которую во второй редакции Дмитрий Дмитриевич переделал, для меня сразу стала легко преодолимой, потому что я нашла к ней психологический ключ. Правда, когда я впервые увидела в clavire вписанные Дмитрием Дмитриевичем высоченные фразы в предельно драматически напряженной сцене порки Сергея, а потом, в сцене отравления старика, – в темпе, на «форте» по несколько раз повторяющиеся си-бемоли второй октавы, – признаюсь, у меня закружилась голова и заняло под ложечкой: я испугалась. Но тут же сказала себе: стоп! Не паникуй и проанализируй, почему это так написано. Писал-то не кто-нибудь, а Шостакович.

Почему на такой высокой тесситуре построены фразы: «Ах, Борис Тимофеевич, зачем ты от нас ушел!.. На кого ты нас с Зиновием Борисовичем покинул? Что мы с Зиновием Борисовичем делать без тебя теперь будем...» Да потому что она не поет, а голосит – как голоса по покойнику деревенские бабы. Это обычай и порядок такой. Она еще и отравила, убила старика, так тем истовее должна «убиваться» – люди смотрят, и тем выше забирать голосом. Ведь это же гениальная находка композитора в партии Катерины! И сразу я ухватила вокальный прием, нужную – белую – окраску звука, и то, что казалось невыполнимым, стало простым и ясным.

И таких мест в опере немало. Например, в первой арии первого акта – два раза ход с си-бемоля первой октавы сразу на си-бемоль второй октавы, не меняя темпа и на «пиано»: «Только я одна тоскую, только мне

одной свет не мил...» Здесь нужно вокально мыслить большими фразами, а не отдельными нотами – ведь в этих фразах такая безысходность, что впору удавиться. Конечно, если это петь как вокализы, то ничего не получится. Нужна психологическая подкладка, второй план роли, неважно, о чем поет героиня, а важно, о чем она в это время думает. Тогда придет и краска, и нужный вокальный прием. Конечно, для такой роли артистка должна иметь безотказную сценическую и вокальную технику, распоряжаться своим голосом, как инструменталист – инструментом. Иначе за это дело не берись – сорвешь голос. Ну, да ведь такие роли – для снайперов.

Опера Шостаковича – реалистична и очень национальна: она именно русская. И ее вокальный язык удивительно логичен и естественен. Я не знаю другой оперы с такой эмоциональной открытостью; а сложностью, жизненностью характеров, всем огромным масштабом страстей ее можно сравнить только с операми Мусоргского. В ней такое стремительное развитие действия, что публика в театре порою задыхается, не успевает пережить одно событие, как уже наваливаются другие; музыкальные антракты красноречивее всяких слов. Вероятно, именно поэтому в фильме-опере не чувствуется длиннот, какие есть во всех классических операх, снятых на пленку. Создается впечатление, что опера написана специально для кино.

Так же, как у Мусоргского, не только главные персонажи, но и эпизодические роли выписаны невероятно ярко и выпукло. Чего стоит одна феерическая сцена «задрипанного мужичка», длящаяся всего лишь около двух-трех минут! Вся в едином летящем, захлебывающемся темпе – от жалоб на свою несчастную планиду и страстного желания вдрызг напиться до случайного раскрытия, им же, страшного преступления – убийства – и стремительного бега в полицию, выливающаяся в музыкальный антракт.

Дмитрий Дмитриевич говорил:

– В полицию, подлец, побежал, – радуется, что с доносом бежит... гимн доносчикам... Это гимн всем доносчикам!..

Я часто пела арии из оперы в своих концертах – и с фортепьяно, и с оркестром. Какие в них богатейшие залежи мелодий и какие благодарные задачи перед певицей! Широкая кантилена, с любовной истомой, жажда нехитрого бабьего счастья в арии второго акта – «Жеребенок к кобылке торопится, котик просится к кошечке...» А в любовных сценах с Сергеем, как река, прорвав плотину, вырвалась запертая за семью замками любовь и понесла героиню, сметая все на своем пути. Убийство свекра, мужа проходит мимо нее, не задевая души, ибо, ослепленная страстью, не ведает она, что творит. Сколько нежности, девической трепетности в музыкальных фразах этой убийцы, обращенных к Сергею на каторге: «Сережа, хороший мой... Наконец-то...» Дмитрий Дмитриевич очень любил эту мелодию и ввел ее в свой восьмой квартет, где она проходит рядом с его музыкальной монограммой: Д. Ш. и образом его покойной жены Нины.

Совершенно другая окраска голоса – мертвая, без вибрации – нужна в арии на каторге. Оскорбленная Сергеем, Катерина замерла, застыла в отчаянье, в предчувствии его измены. В этой гнетущей тишине, когда время, кажется, остановилось, вдруг тоскливо звучит английский рожок и голос одинокой, несчастной женщины, машинально произносящей какие-то слова: «... Не легко после почета да поклонов перед судом стоять...»

А когда приходит прозрение и она понимает, что она сделала, лавина оркестрового вступления к ее последнему монологу обрушивает на нее небо. Здесь – разрешение всего образа Катерины. Это ее публичное одиночество и дорога в ад. Она идет, и стонет, и воет... И кричит она не людям, а всему пространству. Здесь впервые – и ужас перед содеянным, и проклятие себе, и, как единственный выход, – смерть. Но нет в ее душе раска-

яния, и до конца она остается сама собой – кончая жизнь самоубийством, увлекает с собой и свою соперницу.

Это лето я, Слава, Б. Бриттен и П. Пирс отдыхали в Армении, в Дилижане. С нами была пианистка Аза Амитаева, концертмейстер в консерваторском классе Славы, наш близкий друг. И я по несколько часов каждый день в течение целого месяца работала с нею над оперой Шостаковича. Десятки раз пропевала ее полным голосом от начала и до конца и хорошо ее впела. Я знала, что пережил с нею в свое время Дмитрий Дмитриевич, и мне хотелось показаться ему в моей партии во всем блеске, на какой я только была способна. Аза, прекрасная пианистка, была буквально влюблена в эту оперу.

Слава звал Азу Осей. Она – дагестанка, жгучая брюнетка с усиками над верхней губой. В Дилижане она жила в одном доме с нами. Однажды Слава заглянул в ее комнату, увидел ее спящей да как закричит: «Иосиф Виссарионович!» Она взлетела на кровати, ничего со сна не соображая, а он хохочет: «Йоська!.. Ося!.. Ты же на Сталина жутко похожа!..» Так с тех пор все и стали звать ее Осей.

И вот Ося и я идем от нашей дачи в Жуковке на дачу Дмитрия Дмитриевича. Я волнуюсь страшно и потому молчу. А Осяка рядом причитает:

– Ой, Галя, я боюсь. У меня от страха живот болит...

– Ну и молчи! У меня не только живот болит, у меня все внутри трепыхается...

Да и в самом деле – такую оперу мне петь, а ей играть – самому Шостаковичу! Мы хоть и друзья с Дмитрием Дмитриевичем, но, как говорится, дружба дружбой, а служба службой. Все волновались перед Шостаковичем. И Слава волновался, как никогда и ни перед кем. А когда мы исполняли Блоковский цикл, написанный Шостаковичем для сопрано, скрипки, виолончели и

рояля, так у Давида Ойстраха, у этого великого артиста, от волнения дрожали руки, потому что в зале сидел Дмитрий Дмитриевич. После концерта Давид Федорович мне сказал, что никогда еще в своей жизни он так не волновался.

Я начала петь. Дмитрий Дмитриевич не останавливал, не делал никаких замечаний. Но вижу, что, как только я подхожу к трудным местам, он вдруг то пальцы начнет кусать, то встает, нервно ходит по комнате, берет папиросы, потом спохватывается, что нельзя закурить, садится снова... Его нервозность передается мне... Хорошо, что в таких случаях я всегда внутренне собираюсь, как перед затяжным прыжком, и пою даже лучше, чем в спокойном состоянии. Но вот он сел, опустил голову и, закрыв лицо рукою, стал просто слушать... Сцена порки Сергея с высоченной для певицы тесситурой... Причитания Катерины над покойником-стариком... Когда я в полную силу заголосила, Дмитрий Дмитриевич резко выпрямился в кресле, широко раскрыл глаза...

Появление призрака... Наконец, сцена ареста Катерины с высоким финальным до-диез: «Ах, Сергей, прости меня!..» И – тишина. Пауза кажется мне невыносимой. Сердце бешено колотится в груди. Нервное лицо Дмитрия Дмитриевича подергивается, и я боюсь смотреть на него. Почему он молчит?.. Может, что-то не так?.. И вдруг слышу:

– Знаете, Галя, многое из того, что вы сейчас спели, я никогда не слышал.

– Как так, Дмитрий Дмитриевич? Я не понимаю...

– Многие фразы моей оперы я слышу в голосе сегодня впервые, и потому, вы меня извините, я очень волнуюсь...

– Но это невозможно, Дмитрий Дмитриевич...

– Когда я это написал, то все певицы отказались петь – говорили, что боятся сорвать голос, и мне пришлось переделать вокальную партию. А в ваш клавиш я

вписал ее в ее первоначальном виде. Я не надеялся, что вы споете, но я знал, что вы обязательно попробуете. Вот ведь, оказывается, можно спеть... Можно спеть... Значит, вот как это звучит... Ах ты, Боже мой, Боже мой! Я так и представлял... Спасибо вам, Галя, спасибо...

Листает партитуру, и руки у него трясутся... Попросил еще раз спеть сцену порки Сергея и поголосить. Я повторила и он все улыбался своей удивительно светлой, детской улыбкой.

Так вот оно что! Через тридцать лет он сейчас впервые слышит в женском голосе тот эмоциональный накал, что переполнял его душу, когда, будучи почти юношей, разрываемый страстями, он писал эту сильнейшую в опере сцену. И мне выпала доля дать теперь ему, уже зрелому мужчине, возможность услышать их воплощенными. Я не смела смотреть на него, боялась спугнуть, смутить его своим присутствием. А он был весь во власти воспоминаний – казалось, будто вся жизнь его в эти минуты проходит перед его внутренним взором. Мы с Осей молчим, смотрим в разные стороны, стараясь скрыть друг от друга волнение. У меня сжалось горло от слез. И, боясь показать ему, что плачу, стала кашлять, делая вид, что чем-то поперхнулась и оттого – слезы... Мне мучительно хотелось кинуться к нему, утешить, сказать все слова, что так и рвались из моего сердца. Но это был великий Шостакович! – я не посмела. Я могла только молча, беззаветно любить его, поклоняться ему. А как нужны ему были порой простые слова!

Я приехала со Славой в Ленинград накануне начала съемок и только теперь увидела артиста, играющего роль моего любовника Сергея, – Артема Иноземцева – в фильме, кроме меня, все роли играют драматические актеры. Режиссер фильма Михаил Шапиро решил снимать фильм с середины, со сцены в постели, – видно, для скорейшего знакомства партнеров, так сказать, для

преодоления психологического барьера. Придя утром в павильон, я оказалась перед огромной двухспальной кроватью и под обстрелом любопытных глаз девиц и молодых парней-техников, жаждущих увидеть, как это глубокоуважаемая Галина Павловна будет сегодня на глазах у всех и собственного мужа обниматься и целоваться. Я же «для первого знакомства» вооружилась до зубов: надела на себя длинную юбку, две пары толстых штанов, шерстяные чулки и, к изумлению юнцов, окруживших постель, не отстав от века, храбро полезла под одеяло на жаркую пуховую перину. Туда же вслед за мною в полном обмундировании, т. е. в брюках, правда, без сапог, нырнул и мой любовник Сергей. Для пущей безопасности я проложила между нами еще барьер из толстого ватного одеяла, после чего объявила, что для съемки любовной сцены мы готовы. Включили юпитеры.

Съемку начинали с крупных планов, и со всех сторон кровати толпились режиссер, ассистенты, представители дирекции студии «Ленфильм»... все с серьезными озабоченными лицами, четко понимая основную задачу: меньше секса, меньше голого тела в опере, где столько сцен происходит в постели, – у всех перед глазами маячила статья «Правды» тридцатилетней давности. Теперь же, когда опера идет в народные целомудренные массы, не просыхающие от пьянства, нужно держать ухо востро. В стране, как говорит статистика, полностью ликвидирована неграмотность и писать умеют все, а самое главное – знают, куда... На мне была ночная кофта, открывающая руки выше локтя, а на нем – рубаха с длинными рукавами, и мы лежали укрытые ватным одеялом, выпростав наружу руки, чтобы будущие зрители не подумали, что мы – не приведи Господь! – под одеялом обнимаемся...

– Приготовиться!.. Галина Павловна, у вас оголилось плечо, прикройте его рубашкой... подтяните одеяло на грудь... Так, теперь хорошо. Артем, не прика-

сайтесь к ней... Эт-т-о что такое?! Что за рубаха на нем? В этой грубой дерюге он выглядит самцом! Мы не должны оскорблять эстетические чувства народа! Поменять на другую... Так, теперь в порядке... Приготовиться! Артем, отодвиньтесь в сторону... Галина Павловна, у вас опять оголилось плечо, прикройтесь!... Начали! Фонограмма! Съёмка!... Стоп! Сто-о-оп!! Где помреж? Куда вы смотрели? У него расстегнулась рубашка... Запороли теперь пленку... Почему?... У него же грудь во-ло-са-та-я!!! Какой ужас! Обрить немедленно, мы делаем фильм не для сексуальных маньяков, а для трудящихся масс!...

Тут же вытянули из-под одеяла пригревшегося было Иноземцева, и с тех пор раз в неделю точно с поросянка сбрасывали щетину с его груди, а потом и со спины, когда пришло время съёмок сцены порки. Когда он заново весь прорастал, то кололся из-под рубашки как еж. Чтобы не совращать строителей коммунизма, не искушать их взоры, устремленные в светлое будущее, картинами земной плотской страсти, для самой длинной сцены «про любовь» перенесли Катерину и Сергея из разогретой постели под цветущие яблони в саду, для «теплой, дружеской беседы» лунной ночью, где нас тогда не то что искушали, а просто изгрызли огромные рыжие комары.

Тогда же на «Мосфильме» снимали «Анну Каренину», и мне наши постановщики рассказали почти трагический случай. Делали пробные съёмки, и режиссер решил снять Анну обнаженной – только со спины! – в ее грехопадении, в сцене с Вронским. Артистка согласилась обнажиться. Все совершалось в глубочайшей тайне, поздно вечером, когда студия «Мосфильма» почти опустела, присутствовали только режиссер, оператор и двое актеров. Декорации в павильоне были поставлены заранее, свет установлен, осталось только включить рубильник. В тишине все заняли свои места. Дали полный свет, актриса сбросила с себя пеньюар... Вронский

заклучил ее в объятия, и вдруг... раздался страшный грохот, крик, и откуда-то сверху свалилась вниз советская гражданка средних лет! Оказывается, стоя на высокой лестнице, она протирала прожектора и не слышала, как вошли четыре заговорщика в полутемный павильон. Когда же в тишине неожиданно включился яркий свет, осветивший голую женщину в объятиях мужчины, она, не поверив в возможность такого непотребства на «Мосфильме», решила, что началось светопреставление и, закричав истошным голосом: «Господи помилуй!» – повалилась вниз вместе с лестницей, чудом не свернув себе шеи и чуть не отдав Богу душу.

К сожалению, постановщикам «Катерины Измайловой» при создании фильма пришлось не раз задуматься о таких советских гражданах и гражданках, падающих с потолка, и не только в вопросах, на сколько сантиметров можно оголить шею артистке, но, что самое губительное, и при озвучивании фильма. Главный герой оперы – оркестр – плохо слышен, и его приглушили сознательно, чтобы не раздражать зрителей, как мне объяснил звукооператор, чтобы музыка не мешала (!) им слушать текст оперы. У постановщиков главной заботой было не раздражить аппетит вроде бы уже сытого, дремлющего чудовища, не всколыхнуть застывшее болото и не дать «разгневанным народным массам» поднять вокруг оперы новую кампанию травли: – Чей хлеб едите, товарищ композитор и прочие товарищи, деятели советской культуры?...

Когда фильм вышел на экран, я стала получать массу писем, и среди них много с возмущением, что в Советском Союзе показывают народу оперу, где женщина спит в постели с мужчиной. Однажды, надеясь посмешить Дмитрия Дмитриевича, я рассказала ему, что какой-то инженер написал мне: «Как же вы, такая знаменитая артистка, мать семейства, могли позволить себе подобное бесстыдство!» Каково же было мое удив-

ление, когда я увидела его реакцию – у него болезненно передернулось и покраснело лицо. Казалось, что могут значить для великого Шостаковича чьи-то дурацкие разглагольствования?...

Я пожалела, что сказала ему.

Снимали мы фильм около восьми месяцев. Я снова подолгу жила в моем любимом Ленинграде, создавала долгожданную роль, работала с милыми, приятными людьми. В первых числах сентября съемки были закончены, и вдруг хватились, что не снят крупный – финальный! – план: тонущих Катерины и ее соперницы Сонетки. Всю сцену мы сняли в городе Николаеве под Одессой, на широкой реке, где я уже «утопилась». Теперь же нужно было лезть в воду Финского залива под Ленинградом, когда температура воды 8° по Цельсию. На крупный план дублершу не поставишь, но не лишать же фильм сильнейшего эпизода!... Кстати, его, такого яркого в повести Лескова, в сценарии фильма не было, чтобы еще раз не подчеркивать жестокость характера героини, но я настояла, чтобы его включили, и вот теперь нужно было рискнуть принять ледяную ванну. Начиная кадр с гладкой поверхности воды, из которой вдруг появляются, казалось бы, уже утонувшие Сонетка и Катерина. Увидев уплывающую от нее соперницу, она догоняет ее, наваливается на нее всем телом и снова увлекает ее с собою под воду... Снимали на большой глубине, и на специальном плоту рядом с киноаппаратурой стояли в полной готовности четверо профессиональных спортсменов-пловцов, чтобы кинуться нам на помощь, спасти, если что-то случится. Намазали нам тело жиром, надели толстое шерстяное белье. Когда мы обе, в тяжелой арестанской одежде, в платках, плюхнулись в ледяную воду, ощущение было жуткое... Холод продирает до костей, намокшая толстая шинель, как камень, тянула ко дну... Пришлось несколько раз репетировать: нужно было уйти под воду и сосчитать про себя – ей до пяти и вынырнуть на поверхность, мне же до

десяти и тоже вынырнуть, затем догнать ее, и снова с нею уйти под воду, и снова считать до десяти... Для оперной певицы эпизод не такой уж простой. Наконец, сняли первый дубль.

– Вылезайте скорее, нужно камеру перезаряжать!

– Если вылезу, то никакие силы обратно меня в воду не загонят – будем в воде ждать!... Скорее!

Уцепившись руками за плот, мы старались не шевелиться, чтобы под одеждой не менялась вода. Наконец, сняли второй дубль. Мы пробыли в воде 40 минут, и съемки «Катерины Измайловой» закончились.

Тут же в автобусе, раздев догола, нас растерли спиртом. Для верности я выпила залпом полбутылки водки, и меня отвезли домой. Я проспала целые сутки и не то что не простудилась после ледяной ванны, но даже и не чихнула!

Если сделать скидку на плохое озвучивание, то фильм в результате получился прекрасный... Герберт фон Караян, посмотрев его, сказал в то время, что считает его лучшим из всех экранизаций опер. К сожалению, в России он теперь не выходит на экраны – из-за меня. Но за границей советский «Экспортфильм» им торгует... Слава купил его мне. В начале фильма, как всегда, перечисление действующих лиц и их исполнителей. Против имени героини, Катерины Измайловой, – пусто, н-и-ч-е-г-о... Артистки не было, нет и не будет. Но, позвольте, а трудящиеся народные массы?.. А где же..? А..?

Орвелловский «Скотский хутор» не фантазия, он есть, и над ним ярко сияют кремлевские звезды. И я жила там... я выжила... я оттуда...

ВИШНЕВСКАЯ Галина Павловна – родилась в 1927 году. Рано оставленная родителями, воспитывалась у деда и бабушки, в рабочей семье в Кронштадте. Пережила ленинградскую блокаду, в конце

войны начала выступать как певица с концертными бригадами, затем стала актрисой разъездного театра оперетты. Вокальное образование получила у частного педагога. В 1950 году прошла конкурс в Большой театр и сразу стала исполнять главные роли в русском и западном оперном репертуаре. Получила ряд советских правительственных наград и звание народной артистки СССР. С конца 50-х годов неоднократно гастролировала за границей, пела в лучших оперных театрах мира. Параллельно блестящей оперной карьере вела концертную деятельность – в частности, была первой исполнительницей ряда камерных сочинений Шостаковича (из которых многие ей посвящены) и участницей первого исполнения его 14-й симфонии. В начале 70-х годов вместе со своим мужем Мстиславом Ростроповичем все больше подвергается остракизму за то, что они приютили на своей даче Солженицына. Наконец, в 1974 году покидает Советский Союз. В 1977 году Ростропович и Вишневская лишены советского гражданства. На Западе певица ведет интенсивную творческую деятельность. Простясь в 1982 году с оперной сценой (спектаклем «Евгений Онегин» в Парижской Опере), она продолжает концертную деятельность и запись на пластинки. Галина Вишневская – также первая исполнительница посвященных ей сочинений Бенджамина Бриттена и Марселя Ландовского.

ZESZYTY LITERACKIE

Cahiers Littéraires: 37, rue Geoffroy St Hilaire, 75005 Paris France, C.C.P. Paris 574286 E

Вышел из печати 8-й номер парижского польского журнала «Зшиты литерацке» («Литературные тетради»). В номере, в частности, напечатаны новые стихи **Адама Загаевского** и его эссе «Солидарность и одиночество»; глава из книги **Александра Солженицына** «Бодался теленок с дубом»; эссе **Войцеха Карпинского** «Красное колесо»; отрывки из «Чешского сонника» **Людвика Вацулика**; посмертно публикуемые записки **Александра Вата** «Листки на ветру»; доклад **Милана Кундеры** «А если роман и в самом деле исчезнет?»; рассказ **Данило Киша** «Красные марки с Лениным»; отрывок из повести **Саши Соколова** «Палисандрия»; стихи **Конрада В. Татаровского** и **Яцека Березина** и др. материалы.

Цена отдельного номера – 41 фр. фр. (6,5 долл. США), авиапочтой – 47 фр. фр. (8 долл.). Годовая подписка – 145 фр. фр. (20 долл.), авиапочтой – 180 фр. фр. (25 долл.).

ПОСМЕРТНЫЕ СТРОФЫ

ЗАБОРЫ

О листвы тревожный шорох,
О зеленый шум земли!
Может, это грозный порох,
Тот, что не изобрели.

Вечный бег, но в прочных шорах,
Мы однажды предпочли...
Душу выразив в заборах
И в границах – как могли.

Мне под шум листвы тревожно.
Я пытаюсь осторожно
В сердце этот шум унять.

За стеною кто-то дышит,
Но кричу – никто не слышит,
Не спешит меня понять.

НОЧЛЕЖКА

Мы все в ночлежке века квартиранты,
Статистики суровой должники.
И нам поют отходную куранты,
И нашей плоти ждут гробовщики.

Погибнут нераскрытые таланты
Под вечным грузом гробовой доски.
Не знающие воли арестанты
Не знают ни сомнений, ни тоски.

У нас мечты и мысли вперемежку...
Взбунтуемся, покинем мы ночлежку
И – гордые – в соседнюю уйдем.

И будем жить, не понимая даже,
Что наша новая ночлежка – та же,
И заменить она не может дом.

СТАРАЯ БОЛЬШЕВИЧКА

Не книга жизни – только предисловье,
Миг радости – и вечная печаль.
Страницы первых глав пропахли кровью,
Там, что ни строчка – то свинец, то сталь.

Но вновь кладет газеты к изголовью.
Свинца вдохнет – и снова станет жаль,
Что где-то кто-то жертвует любовью,
И вновь она с тревогой смотрит вдаль.

И даль грядущего, и даль былого,
Но ничего не переделать снова,
Недаром стал всемогущим человек.

Все грезил о перестройке мира.
Есть на Арбате у нее квартира –
Арбата хватит ей на целый век.

ГЛАВНЫЙ ЦЕНЗОР

Главный цензор Российской Империи!
Безоглядно сегодня вам верю я –
Вам доверие возвращено.

Рифмы – вздор. Но такими мерилами
Вы измерены славянофилами,
Что не верить вам просто грешно.

О свобода за строчками Тютчева!
Разум в странствии, как пилигрим...
Ты цензуре была не обучена,
Презирала подделку и грим.

Мы – наследники духа могучего –
О величии прошлом грустим...
Но не верим мы слабости случая –
Новых тютчевых мы запретим.

ОЛОВЯННЫЕ СОЛДАТИКИ

Нет чинов и нет наград,
Но мои команды святы.
Так раскрашенных солдат
Муштровала я когда-то.

Песни петь учила в лад,
Разъясняла, что им свято.
И ходили на парад
Оловянные солдаты.

Пели бодро на параде,
Что чужой земли ни пяди
Получить мы не хотим.

Шли мы оловянным маршем,
И в цветном бездумье нашем
Путь наш – неисповедим!

МИР ВАШЕМУ ПРАХУ

Мир вашему праху!
Те, кто умер в своей постели,
Те, чьи кости в земле истлели,
Те, чью голову положили на плаху!

Душам, отданным страху,
В долгоживущем теле,
Всем тем, что выжить сумели, –
Мир вашему праху!

Вечность часто короче недели...
Столько сделать все не успели!
Мир вашему праху!

Не оракул я и не знахарь...
Воин, зодчий, палач и пахарь,
Мир вашему праху!

МУЗЕЙ ВЕЧНОСТИ

О бравой брэнности на поле брани
Я почему-то слов не нахожу.
Ведь я всего лишь вечности служу,
А вечность – не предмет для собиранья.

Но, может, если приложить старанья
(Об этом умозрительно сужу,
Хотя витриной умников ссужу), –
Собрать удастся звездное сиянье.

Всегда неполон будет каталог.
Но честь тому, кто хоть отчасти смог
Представить людям вечности частицу.

Но чтоб не спятил этот гусь с ума,
Я лучше объясню ему сама,
Что вечность в вечности – не сохранится.

* *
*

На родине – а все-таки в изгнание,
Свободные – а все-таки рабы...
Довольствуемся скудным подаяньем
Привычной, узаконенной судьбы.

Пришла пора спросить себя: готов ли
Ты променять на творчество уют
И против внутренней работорговли
Поднять незримый одинокий бунт?

И совести горчайшее лекарство
Недуг сомненья исцелит во мне...
Любовь, ремесло или бунтарство
Со временем поднимутся в цене.

Когда я справлюсь с этой долгой болью,
Я попросту надежды обрету.
Но как пока темно в моем подполье,
И как борьба похожа на тщету!

Я вышла бы в леса, на волю, к свету,
Но нынче вырубаются леса.
Бензином и соляжкой пахнет лето
И ядохимикатами – роса.

К друзьям ушла бы... Но у них все то же –
В оконной щели – нездоровый свет.
Я помолилась богу бы... Но – Боже! –
В двадцатом веке даже бога нет.

На бесконечный спор с самой собою
Себя я добровольно обреку.
Знакомство и с тюрьмою и с сумою
Нам на коротком выпало веку.

И потому шепчу я утром: «Здравствуй
Самой себе неведомая Русь!»
Когда окончится эпоха рабства,
Безвестно я на родину вернусь.

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

Вологодские кружева
Оживут в узорах последних.
Я имею на них права,
Как прямой, упрямый наследник.

Кисти палехских мастеров
Сохраняют секреты цвета,
Как секреты трав и цветов
Сохраняет потомкам лето.

Но осталась тень ремесла
Этих древних, как мир, изделий.
По закону сего числа
Мастеров согнали в артели.

По секрету из рода в род
Доносили люди уменье,
Но принес коллективный подход
Коллективное вырожденье.



Вычеркивали строчки черной тушью,
Как будто вырубали топором.
И гром гремел. И был не слышен гром.
И мне переворачивал он душу.

И черной тушью белый лист пестрел,
Как в честном поле частые могилы.
Мы видели. Мы знали. И могли мы
Вообразить, что это не расстрел.

А строй случайно уцелевших строк
Иное обретал существованье,
И лишь черновики хранились впрок,
В надежде на посмертные издания.

Их оживят. И к ним проявят такт...
Но запоздало возвращенье к жизни:
В нелепом и смешном анахронизме
Не боль души – литературный факт!

ПАЛАЧ

Нет, он не убивал и не казнил –
Он честно, до усталости работал,
И смахивал ладонью капли пота,
Как будто бы пахал или косил.

Потом он шел домой, в семейный круг,
Чуть семеня и чуть сутуля спину,
Потом по голове он гладил сына,
И голова не падала из рук.

Он в меру пил, без люминала спал,
Не помня крови и не слыша плача,
Спокойных глаз ни от кого не пряча,
Листал юмористический журнал.

Не будет безработным он, пока
Привычный приговор выносит кто-то,
И гулки площади, как эшафоты,
И шея ненадежна и тонка.

* *
*

Зачем нам тень Булгакова тревожить,
Цветаеву провозглашать святой?..
Их было столько, кто прошел сквозь строй
Доносов и шпицрутенов осторожных.

Центральный государственный архив
Разительно похож на колумбарий.
Здесь боги спят. Но каждый бог, как парий,
Почил, оставить имя позабыв.

Они зовут, но мы не слышим их,
Не видим звездных душ протуберанцы...
А Пастернак и Мандельштам посланцы
Страны теней на празднике живых.

* *
*

Весна пугает признаками осени,
Тягучими осенними дождями.
А яровые признаками озими
Встают незащищенными рядами.

Привыкнуть бы пора к житейской прозе мне,
Забуть все сказки о прекрасной даме...
А может, тройку, самовар и розвальни,
Огонь в печи и таинство, как в храме?

Нет, не хочу я вовсе вспять по времени...
Но дождь, как ложь, опять долбит по темени,
И убивает каждый день меня...

Никак не сочиню проект грядущего, –
День завтрашний – лишь продолженье сущего,
А я устала от такого дня.

* *
 *

За горизонтом, за чертой, за краем
Мы пристани привычные теряем,
Но обретаем новые моря.

Мы только в детстве в моряков играем,
Потом, забыв о море, умираем,
Бросая в бухты быта якоря.

И откровенье древнего царя
Сегодняшней наукой поверяем...
Молчи, Екклезиаст! Все это зря –
Ведь мы иную участь выбираем.

Успокоенье – участь бунтаря,
Прельстившегося обретенным раем.
Ведь все мы начинаем с букваря
И непременно Библией кончаем.

Ирина ОЗЕРОВА скончалась в 1984 году в возрасте 50 лет. Ее стихи вышли книгой только раз, и то составив всего один, четвертый раздел ее сборника в серии «Мастера поэтического перевода» (М., «Сов. Россия», 1980). Печатаемые нами стихи взяты из самиздатского сборника, составленного друзьями поэтессы после ее смерти.

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ

В связи с попытками некоторых органов русскоязычной печати в эмиграции опубликовать отрывки из моей автобиографической книги «Галина», выпущенной в свет американским издательством «Харкорт и Брейс Иованович», считаю своим долгом предупредить возможных публикаторов, что русские права на ее издание отданы мною на равных началах парижскому еженедельнику «Русская мысль» и журналу «Континент» со всеми вытекающими отсюда взаимными обязательствами.

Что же касается мировых прав, то они целиком принадлежат вышеуказанному американскому издательству, и поэтому любой перевод с английского оригинала не может выйти в свет ни полностью, ни частично без его разрешения. К тому же, я считаю подобного рода обратный перевод книги не только юридически неправомочным, но и антихудожественным по существу.

Галина Вишневская

Я предлагаю вниманию нашего читателя повесть молодого прозаика Израиля Малера. При всей внешней жесткости литературного письма и почти полной беспросветности бытового фона, на котором разворачиваются события повествования, творчество этого незаурядного, на мой взгляд, дарования заслуживает самого пристального внимания заинтересованного читателя. Израиль Малер прежде всего талантлив, и в этом – главное. Остальное приложится.

Владимир Максимов

ПЯТАК*

(повесть о безмятежной юности без любви, огорчений и сомнений, проблемы отцов и детей, прав человека, премии Нобеля, без)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Единственная надежда – предисловий никто не читает.

На всякий случай, на въедливого читомана: «Юность – период интеллектуального и морального самоопределения, напряженных внутренних поисков, формирования собственных убеждений, и т. д.» И еще: «Многочисленные социологические исследования и опросы, проводившиеся в последние годы, убедительно подтверждают факт высокой идейной целеустремленности советской молодежи и ее уверенности в собственном будущем. И что не менее важно, цели, которые ставит перед собой молодежь, за исключением ничтожного меньшинства, не являются узко эгоистическими; смысл

* «Пятак» – угловая скамейка в одном из парков города Риги.

жизни усматривается в труде для людей, в решении неразрешенных задач, в создании новых высших форм человеческих отношений». Автора, из благодарности, не назову.

Мы тоже были молоды.

Мы ходили на Брод рубиться. Кодла – на кодлу. За нами стоял Пятак – лучшая среди кодл.

Были еще – Москачка, Чиекуркалниеки, Экспортники... «Ты Уругвай знаешь? А Парагвай? Ну, так вот – я из Болдерай». В Болдерай ездили бить морячков. Знатные балехи были в Болдерае. Знатные балехи были в Трамвайчике, в Бетонке, в Магадане и в 32-ой средней. Заложив руки за спину под плащи (плащ петушиным хвостом свисал), ходили по Броду рыбники, еврейские хулиганы. Сияла в лучах славы Королева, худая блядь, любительница непуганных мальчиков. Кодла несла кодлу. Пятак нёс всех.

ШИРОКАЯ НАТУРА

Альбатрос крылом срезал пену на гребне волны.

– Я видел тебя во сне

И даже такое дело... – пел, припав к гитаре, Ваня-Джон.

Мы сидим на баке.

Над нами – небо, а вокруг – океан. Фридрих ломтиком хлеба промокает остатки масла в очередной консервной банке и выбрасывает ее за борт. Банку подхватывает акула.

– И куда ей лезет? – спрашиваю я.

– Всё наоборот, – добродушно улыбается Фридрих, взрезывая корпус «Кильки в томатном соусе», – не она в консерву, а консерва – в нее.

– Плавучий рыбзавод, – определяет Арнольд, – тару заготовливает.

– Сиреневый туман

Над городом ложится, – поет Ваня-Джон.

Плохо в океане без песни. Даже Коля мычит мотивчик. Четвертые сутки бороздим просторы, а до родного города – еще сорок восемь часов. Помрешь с тоски без песни.

Вдруг лопнула, сфальшивив, струна.

– У, черт! – воскликнул Ваня-Джон. – Зайчики-педерастики! Трамвайчики с прицепом! Опять третья! Басовая-выдра!... На нее запас вышел...

Мы с ужасом переглянулись.

Неожиданно Фридрих вскочил.

– Впереди, по курсу – точка.

Точкой был утлый плот. На плоту скопилось два человека.

– Чудаки какие-то, на дверях плавают.

– Рекорд, должно быть, ставят.

– А худющие! Аж черные.

– Хейрдалы, палец им в нос.

– Смотри! – толкнул меня локтем Ваня-Джон. – Смотрите, на что удют! На третью, басовую.

Волна уносила мореплавателей. Мы закричали:

– Кто такие будете, страннички?

– Потерпевшие. Второй месяц в океане болтаемся.

– А куда путь держите? Азимут чей?

– Неизвестно. Куда вынесет.

– Ребчики! Не пожалейте струны, уступите. У вас и гитары-то нету.

На плоту призадумались.

– Не. Никак не можем.

Мы попадали. Минут через пять, когда плот превратился в точку, Ваня-Джон сплюнул за борт нашего белостенного лайнера и, покачав головой, процедил:

– Ну и люди есть, ну и сквалыги. Струны им жалко. Такую песню испортили...

Обидно было – нет слов.

КУДА ПРОПАЛ КАШПАР?

Собрались, как обычно. В парке – на угловой скамейке. Веяло историей. Слева, из-за-над деревьев, возникла башня. Строить ее начинал шведский император Карл, а заканчивал уже наш – Петр. Справа – бывший дом фабриканта, ныне – министерское учреждение.

Пришли все. Только Кашпар не пришел. Ваня-Джон для смеху приволок мандолину и теперь тренькал ею по мусорнику. Арнольд протянул свои костыли на скамейку по ту сторону дорожки и пускал дым в вечерние небеса. Фридрих качал ногой. Коля молчал.

Скучно было. В воздухе так и веяло историей.

– Почему нет Кашпара? – Ваня-Джон приспособил мандолину для стрельбы спичками. – Кашпар что-нибудь да придумал бы.

Спичка, чиркнув по коробку, огненной точкой прочертила сгустившийся сумрак. Фридрих оторвал доску от скамейки и зашвырнул в кусты. Арнольд подставил ножку девушке и так по-свойски улыбнулся ей. Я бросил окурок на мостовую.

Ваня-Джон попал горячей спичкой в мусорник. Дымком потянуло. Город окутало.

– Почему нет Кашпара? Скучно.

Фридрих выломал пролет чугунного заборника и зашвырнул его в чье-то окно. Звякнули стекла. Арнольд, бедный Арнольд, он так любит Кашпара, столкнул пробежавший мимо поезд. Я бросил окурок на тротуар.

Ваня-Джон сшиб какую-то железку на башне Карла-Петра.

– Куда пропал Кашпар?! – Наш друг и музыкант едва не плакал. Железка упала в протекающий через город канал. Город поплыл. Фридрих снял ботинок и запустил им в Луну. Луна качнулась. Арнольд схватил ее за бок и дернул на себя. Земля вошла в штопор. Я уже

хотел бросить окурок на мостовую, но тут из-за угла появился Кашпар.

– Салютус, чувакус! Кто угадает, где я пребывал-с? Клянусь Нинкой-полотершей, никто. Я был ...в читальне! Есть такое заведение. Приходишь, дают книгу, садишься и читаешь.

Вот это да! Мы знали – Кашпар что-нибудь придумает.

Повалили в читальню. Но ее уже заперли на ночь. Такой балдеж упустили!

Тут мы вспомнили о Колé, который так и остался в парке молчать.

ПОМНИТЬ БУДУ, НЕ ЗАБУДУ...

Во мраке пьяни, запровленной густой подливой ночи, я различил Арнольда. Он – единственный – не был в отключке. Сидя на полу, Арнольд вырывал листы из альбома о восстановлении Петродворца (подарок от месткома молодому допризывнику) и сгибал их в самолетки. Покружившись по комнате, самолетки вдруг исчезали. «Кому информационный взрыв? Кому информационный взрыв?» – приговаривал Арнольд.

Мои прозрачные от поха-пьяни глаза, постепенно привыкая к темноте, как у негра, различили и других. На пороге, ухватившись одним крюком за дверную ручку, а сам свернувшись калачиком, спал Коля. Он сладко почмокивал губами. За праздничные плюс выходные дни гуделовки розовые щечки его поросли черно-рыжей бородкой. В ней Коля походил на заблудившегося мальчика. Свесив ноги за окно, лежал на стульях Кашпар. Он сказал, уходя в отключку: «Держи ноги в холоде, а голову – смолоду». Лицом в блюдо спал Фридрих, губами продолжая шарить в поисках.

Трудней всего оказалось найти Ваню-Джона. Я припомнил, что он пытался натянуть на гитару свои леви-

строссы. На стене и впрямь висела гитара в джинсах. Свидетели! – это была не стена, это был он, Ваня-Джон: бледный бард спал стоя.

Где был я сам – понять не мог.

Хоп.

Для выпивона был повод: предки Арнольда отбухали ему кооперативную хату. Дом заселяли к праздникам, а что касается водки, то это – сами. Кашпар притаранил с работы спиртяги, Фридрих развел, а Ваня-Джон настоял и покрасил тройным.

Произошло еще что-то, но что, мы не знали: на второй день после переезда Арнольд вдруг стал задумчив и рассеян. Опять изобретает, решили мы. А когда он сказал: «Кони, вас ждет сюрприз», – усекли, что не ошиблись.

Арнольд проходил у нас технарем, изобретателем и механиком. Все у него непросто. Ты набиваешь в сигаретку спичечную серу, протягиваешь веревочку в темном коридорчике, над дверью – половую тряпку, чтоб накрыла входящего. Арнольд – не. Арнольд стенку обольет валерьянкой, и коты города заполнят вашу лестничную площадку; опустит дробинку кругленькую в замочную скважину; телефонный нумератор в подвале спутает; а то просто подсоединится и примет любезное участие в беседе.

Арнольд божился, что создаст прозрачный фотоаппарат, «чтобы механизм запечатлевания внешнего мира происходил на глазах человека». Ваня-Джон заволновался – будет ли изображение появляться постепенно: сначала – тело, затем – одежда? По его мнению, это открывало бы огромные перспективы.

Фридриху Арнольд обещал приварить на дурака перископ: посмотреть, чем он там питается, когда под шкурку залезет?

Собрались. На обмывание очередной годовщины в сочетании с небольшим новосельем. Заправка, батарея и курево для марева. Как договорились – никаких балех.

«Будемо, кенты, как монахи, – определил Кашпар. – Дабы не отвлекаться на грешные дела от воздаяний и возлияний, – без возлежаний». «Пишите нам, подруги, по старым адресам», – с некоторой грустью подвел итог Ваня-Джон.

Мы-то собрались, но Арнольд не спешил нас порадовать...

Когда, наконец, засветилось в глазах светлое будущее и мы начали понимать, где и при чем будет жить наше, нынешнее, поколение, Арнольд, прижимаясь к стене спиной, чтобы качаться вместе со всем высотным зданием, толкнул речугу. Он сказал...

Вам, конечно, интересно знать, чего он такого сказал, но, чтобы вспомнить, я должен поддать, а чтобы повторить, забуреть до звездопада. Балаклавил он о том, что весь мир – бардак, что все люди совсем никуда не годятся. И еще о том, что учению и труду ничего не перетереть. Даром мама в угол ставила, только время потерял.

– А теперь вздрогнем, – так закончил Арнольд. Кто откажется? Опрокинули, и тогда наш кулибин, наш черепанов и ползунов бросил пустой стакан за спину – вверх: в угол справа от окна под потолок. Осколки не брызнули – стакан исчез. Только тихое шипенье раздалось. – Сюрприз, хевра! – заорал Арнольд. – Пересечение миров! Черная дырка!

Нам словно кто поджопник дал. Повскакивали. Закричали. Окурки, пустые бутылки, носки швыряли мы в-туда, и еще – взобравшись на табурет пускали струю. Очень хотелось заглянуть, что там киряют и как, но боязно. Вдруг голову не вернуть.

Арнольд с того дня месяц не выходил из дому. Он подвинул тахту под тот угол, лежал и плевал. Плевков – пшшш, плевков – пшшш, плевков – пшшш...

А в газетах спорят. А в книжках умных пишут. Чурки.

Конечно, можно бы и туза вытянуть под это дело. А Пятак – коту? Как жить прикажете? Нам вашего не надо.

ЧТОБ Я ТАК ЖИЛ

Вы видели, как мы идем в атаку? Нет, вы не видели, как мы идем в атаку. Трепитеесь, гады, трепитеесь; посмотрим, чем вы завтра будете трепаться.

Впереди с гитарою в руках веселыми ногами двигает Ваня-Джон. Он поет нам про. За ним, с ружьями наперевес, – мы. На плечах – погоны, за пазухой – бутылка, на ремне – бутылки другие, товариществом Молотова сработанные.

Танк попадетса – танку дулу свернем набок, чтоб не вякал. Роту встретим – разгоним по степу, друг друга не сыщут, с ног собьются. Головы под пулями не склоняем, в воронки не прыгаем, на дзоты грудью ложимся.

Коля, тот молча подскочит, как траханет, так дух из них вон. Арнольд наушники – на котелок, в штаб сообщает: еще одна высотка – наша! Фридрих врывается, кричит: «Без меня за стол садитесь!» и – очередью их, очередью, так и поливает, и матом, матом. Кашпар после каждой атаки очки протирает. Я зарубки на чем-нибудь делаю. Так и живем, только медали звенят, да бутылки пьются-бьются, по полу катаются.

Придали к нашей команде хмыря одного, сразу видать – товарищ не нашего поля. Автомат чистит, песен не поет, матерится аккуратно, как мама учила. Только бросили мы себя через бруствер с криком «ура-аааа!», тут его пуля и поцеловала... Пуля-дура, всегда знает, где кого искать.

Из штабу ординарец на коне скачет – почему в атаку впятером? – «А не видишь – человек мертвый». – «Ничего не знаю, по стратегии вшестером положено». – «Так давай ты за шестого. Сойдешь».

Тут он с коня своего прыгивает и шасть к покойному: «Ты чего задумал?! в атаку сходи, на каналах поработай, с наше хлебни, а потом, чёрт тебя возьми, помирай, когда очень хочется. Тебя государство кормило, в школу водило, а ты, вражья кровь, финская жидовня..!» Поднимается тогда шестой и бежит в атаку. Сначала так лениво бежит, а потом все быстрее и быстрее, даже Ваню-Джона обогнал.

Вечерком, как стемнело, похоронили мы его, бугорок насыпали, досточку прибили, ничего не написали, а начальству передали, что пропал товарищ наш без вести. Кашпару его сапоги в самый раз пришлись. Шинельку его Фридрих на жилет пустил. Автомат с ним похоронили.

И ПРИМКНУВШИЙ К НИМ...

Старпёр решил завязать. Он купил галстук. Он сказал: «Прощайте, товарищи!» Он повернулся, он пошел по аллее, он туда пошел, куда гулять ходят, где соломенные шляпы над газетами, где служащие достают из портфеля кефир и от того кефира кайф ловят, а дети кидаются песком. Двадцать-тридцать шагов, и Старпёр, словно герой кина, влился в поток, и даже мент не высчитал бы его, не дернул бы, не...

Мы встали и полуминутным молчанием почтили. Потом тихо спели: «ТУ-104 – самый быстрый самолет! ТУ-104 – очень быстрый самолет! Берегите время! Экономьте время! ТУ-104 – очень быстрый самолет!» На мотив траурного марша Шопена.

Ваня-Джон, перебирая струны недавно обнаруженной во Дворце пионеров домбры, грустно затянул веселую песенку. Мы сидели на скамейке, протягивая ноги через узкую дорожку, и фраера не рисковали свернуть на аллею Пятака...

– Расцвела сирень в моем садочке,
ты пришла в сиреновом платочке,
ты пришла, и я пришел,
и тебе, и мене – хо-ро-шо!

От нас ушел... от нас слинял чувак, который мог стать шестым, которого никто не кликал бы – «шестерка». Не замути со дна поверхности морей, товарищ Старпёр!..

– От любви в сиреновом садочке
родилась сиреневая дочка,
родилась, но я пошел,
и тебе, и мене хо-ро-шо!

...Бывало. Но не так бывало. Коля говорил: «Подваливают все по-разному». Фридрих добавлял: «Но отваливают все одинаково». «Встань передо мной, я буду смотреть», – это Ваня-Джон. Арнольд прутиком чертил принципиальную схему волчьей ямы, я хмыкал, и тогда вступал Кашпар: «Уходи, черт паршивый-меньшевик». Так ругалась его тетка. От нее и набрался...

– Расцвела сирень в садочке снова,
ты нашла, нашла себе другого,
ты нашла, и я нашел,
и тебе, и мене – хо-ро-шо!

...Мы рубились с экспортниками. Экспортники несли нас подчистую. Они выскочили из переулка спереди, они вывалились из переулка сзади. Они начали со спины, когда мы рассматривали, кто это там прёт на нас. «Пидеры всегда норуют сзади», – обиделся Ваня-Джон, ему перепало первому, потом гитаре, потом мне. Кашпар махался, запрокинув голову – Кашпар берет очки. Арнольд, как всегда, бегал по кругу. Он уверял, что это метода такая: догоняющий налетает на своих и

мешает им. Фридрих брал на корпус. И лишь вокруг Коля – мертвая зона. От него отваливались, стена, и жалобились лицом в тротуар.

Вдруг наших прибыло...

– Нет, господа, сил смотреть, как целая кодла – на одних людей, – толковал он потом; мы сидели у стеночки – ощупывали разбитые рты и проверяли зубы. – У тебя дрожат коленки, я тебя приставлю к стенке. Господа, кому белую рояль?

– Мне, – быстро, как комсомолец, откликнулся Ваня-Джон. – Как?

– Ящик водки. Пропиваем вместе, без баб, у меня, завтра.

Тут Фридрих тяжело задышал – сколько же закуски идет на ящик?

Так появился человек, которого кричали – «Старпёр». А то – «И примкнувший-к-ним-Старпёр». Утром мы были у него на хате. Хата была потряс. Три огромные комнаты, совершенно пустые, только на паркетном полу, словно пришелец с планеты Земля, восседал телефон, и перекатывались никем еще не сданные бутылки разных калибров, и мутились стаканы. Еще была рояль. Белая, узорная и, в смысле прочих роялей, небольшая.

– Коста-Рика! – запел Кашпар. – Амбассадор! Караганда! Ва-Джон, она к вам не въедет! Отступитесь.

– Лопата! – презирал Ваня-Джон. – У тебя ночевать буду.

– Господа-господа! Сначала было дело, – прервал Старпёр, закрывая дверь на ключ, который спрятал под паркетину, и распечатывая первую. – Рояль – мой последний аккорд.

...Что точно помню, так это, как по утречку – по холодку, соблюдая правила движения, катили через город по мостовой рояль. Впереди шел Ваня-Джон и вел ее на поводке. Мы толкали сзади. Кашпар непериодически отпадал. Остальные бодро распевали, как шел солдат через речонку, в которой студеная вода, потом

повстречал девчонку, и она, в свою очередь, полюби-лась навсегда; и еще – э-э-эй, Сюзанна, мы выходим из игры, скоро лопнут от натуги наши старые штаны.

Маленькая рояль никак не могла понять, что ей надо войти в подъезд Вани-Джониного дома и спуститься на семь ступенек вниз.

«Побди, парень, тут, – сказали мне, – мы разбежались». Когда ряды сомкнулись вновь, выяснилось: Арнольд принес инструменту всякого и разного, Фридрих притаранил тараньку, Кашпар притащил утренний выпуск газеты и завернул в нее очки, Ваня-Джон обзавелся одеялом – на случай ночевки, и только Старпёр догадался приволочь штрафную батарею. Расстелив одеяло на рояле, мы какое-то количество раз вздрогнули. И сказал Арнольд: «Будемо, лошади, пилить». – «По струнам?» – «Дура! Ножки!» – «Так их отвертеть можно». – «Это все могут. Пилить будем». После непродолжительной операции, рояль, как все пропащие, была уже на всё согласная. Она прошла боком в подъезде и спустилась на нужное количество ступенек: вместо коридора у Вани-Джона была кухня-ванная-туалет-на площадке, совмещенный на две квартиры, и рояль, слегка побив посуду и опрокинув котел с борщом, остановилась у двери комнаты. Комнату занимала раскладушка. Струнные и духовые жили под.

– Раскладушка складывается? – поинтересовался Фридрих.

– Кончай травить, – прервал Арнольд. – Будем дело делать.

Он достал из чемоданчика керны и молотки. Через пятнадцать минут рояль висела на стене, а Ваня-Джон лежа перебирал клавиши. Э-э-эй, Сюзанна!

Придя к Старпёру через день, мы застали отсутствие паркета, пришлось пить, сидя на балках. Потом ушел телефон. Мы приходили без приглашений. Потом рамы стали одинарными...

– Может, папа тебе игрушек не покупал, вот ты и мстишь вещам? – как-то поинтересовался Кашпар.

– Чего? – не понял Старпёр.

– Зоценку читал?

– Про баню?

Кашпар задумался и пару дней молчал, вроде Коля.

– Ребя, ставим эксперимент. Он же скоро носки пропьет. Чем дышать будем? Короче, завтра у Старпёра. Не пьем... – А едим? – Глохни. Ваня-Джон берет с собой треугольники оркестровые, Арнольд обеспечивает зеркала и освещение...

И вот мы сидим на балках, Ваня-Джон бьет в свой звонкий инструмент, ярко светят лампы, с помощью зеркал направленные на Шестого. Кашпар после каждого удара по треугольнику завывает – «Спи-и-и». Мы посмеялись, но тут отпал Коля, затем – Фридрих. И наконец – Старпёр. «Открой глаза и продолжай спать!» Коля открыл глаза. «Коля, закрой! Фридрих, не храпи! Старпёр, открой глаза и расскажи, что тебе снится». – «Да всякое». – «Старпёр, вспомни самое страшное в твоей жизни». – «Вижу себя пионером, в пионерлагере. Вокруг никого. Я сижу за столом и вырезаю на столе: «Боря плюс Аня равняется любовь», а напротив меня висит плакат: „Пионер, береги народное добро!“» – «Боря, – пропел Кашпар, – закрой глаза. Проснись».

Сначала Старпёр смеялся: «Катитесь, турки!» На следующий день огорошил: «Надо бы стул купить, вдруг кто в гости забредет». На третий день пришел прощаться, сказал, что на работе его очень хвалят...

...Мы долго сидели молча. Переживали. Вроде. Потом Арнольд сказал:

– Кашпар, ты знаешь, я неплохо отношусь к науке, но обещай мне, что ты больше не будешь.

Вот так. Был человек, и нет его. Такой прокол.

– Отцвела сирень в моем садочке,
ты ушла с сиреневым задочком,

ты ушла, и дождь прошел,
и тебе, и мене хо-ро-шо!

НЕИСТОВЫЙ МЕЧТАТЕЛЬ

Стояла звездная августовская ночь. Звезд было много. Они скрипели под подошвами.

На тротуаре, шатаясь, лежал пьяный.

– Мой дядя служит в ВВС, он много пьет и мало ест, – шевельнув падшего ангела ногой, изрек Ваня-Джон.

– Свое достоинство храня, не потребляй алкоголя, – Арнольд.

– Алко-голь на выдумки хитра, – Фридрих.

Кашпар по-научному пристально наблюдал, как Коля изымает бутылку и остатки полочки, и осудил: «Опять рвань алкашная семью без денег оставит, судить таких надо».

Упала звезда, и мы загадали желания.

Подоспел участковый, прикурил старшой, гражданин-товарищ, сигаретку с тела. Постояли молча, потянули «Приму». Сплюнул милиционер на пьяного, разошлись каждый в свою.

Прошла чухиха с гнездом-прической на голове. «В парадном давала, ишь, как ноги широко расставляет».

Мужик солидный с портфелем подмышкой. «Топай, дяденька, утром – на трудовую вахту».

Проканал паренек, на ту сторону перешел, нас обходит. «Эй, фраер, стойку на бровях умеешь? А соскок на черепок? Мамка сиську дает?»

Парень со своей кроткой в подъезде сосутся. «Ты, жмот-кашей беспредельный, уступи девку на часок. Нас немного, всего пятеро, сразу и вернем».

Опять участковый: «Ребятки, по домам пора. Время позднее».

Мы: «Да чего тебе? Гуляем – никого не трогаем. Или рабочей молодежи и проветриться нельзя?»

– Кончай права качать. А то закатаю, как в банку фрукт овощной.

– Ладно. Погундосил и хорош. Мы тебя не видели – ты нас. Уже. Разбегаемся.

За углом, в чужом скверике, мы слегка переставили скамейки, а мусорники сволокли в центр. Байконур называется.

В каком-то дворе поменяли номера машинам. Один номер Ваня-Джон прихватил с собой – на раскладушке прикрепить.

Среди звезд раздухарилась луна. Светила, чтоб нам не сбиться с истинного пути. Что это за улица? Имени Горького? Он что, жил в нашем городе? А мы живем. Арнольд вытащил банку с белой краской и написал на табличке: «Ул. им. Арнольда». За ней появились – «Улица Кашпара», «Улица Красных Вани-Джона», «Улица Коля», «Бульвар им. пятидесятилетия Фридриха» и «Площадь Пятака». Был еще переулочек-тупичок в мою честь.

Темной ночью всякие нехорошие люди по чужим домам шастают. Предотвратить. Заботливый Коля стальной проволокой скрутил двери парадных подъездов.

У одного полуночного хмыря огонька не нашлось. Хороший человек был. Бить его было приятно и легко. Очень падал красиво.

Бесприютной кошечке подмогли найти приют, благо на втором этаже окно было открытое; жарко им, понимаешь ли.

А тут и первый трамвай застучал по собственным рельсам. Успеть соснуть до открытия «Фрукты-овощи».

– «Держи пять». – «Банзай». – «Значит, через четыре часа!» – «Дело»...

Я в трамвае закимарил, остановки три проехал. Вдруг на полном скаку врывается в трамвай Фридрих:

– Слушай, ты как-то про Красную книгу трепался.

И еще – про птицу Дронт. А какова она на вкус была, ничего там не говорилось?

Вот ведь Чапай! Воистину – Чапай!

ПУСТОЕ ЭТО, МАЙК

Работу отбухали в пять минуточек, а на Земле – пять недель просвистело. Вбили костыли, сорвали резьбу. Ничего не заменили, а держится, сука, как влитое.

Присели на перекурёж. Ваня-Джон струны гитары перебирает – цыц, вы, шкеты подзаборные. Кашпар кинул кости в тени мачты. Фридрих консервы вспарывает. Арнольд шпарит анекдоты – все в ажуре, стон в ночи, а я – на абажуре. Я смеюсь. Ваня-Джон местами.

... Рассердился ковбой: «Покрашу я тогда всю лошадь в зеленый цвет, поеду мимо шалманчика, выйдет Мэри и скажет: «Майк, а Майк, чего лошадь зеленая?» А я отвечу: «Пустое это, Мэри, идем лучше поебемся». – Ваня-Джон рассмеялся. – Покрасил, значит, ковбой лошадь. Поехал. Вышла Мэри и говорит: «Майк, а Майк, чего это ты всё лошадь красишь? Пустое это, Майк, пойдём лучше поебемся».

Ваня-Джон прыснул, фыркнул, захохотал. Загрохотал, загоготал. Заржал, животик чуть не надорвал. Фридрих подавился. Арнольд и сам гыкнул. Я рассмеялся – а что? – ведь смешно. Кашпар перелег под другую опору мачты – тень переместилась. Прошел еще час здешнего времени.

КОЛЯ ЗАГОВОРИЛ

«Смех смехом», – говорит в таких случаях Ваня-Джон. Над нашим Пятаком – пасмурно. Вот-вот закаплет. Куда пойти, куда податься?

Видит Фридрих за кустами кафе, по кличке «Айвазовский», и ресторан-«Молочник».

«Всё бы им булочки розовые да рыбку холодную».

«У них, гадов, техника. К кому ни завалишься, у всех машинки всякие». Арнольд – он всегда Арнольд.

Тут и я встрял: «Вон, – говорю, – топают, забот не знают. Нет, чтобы».

Кашпар очки протирает: «Я иду по ковру, они идут, пока врут».

Один Коля молчит, сопит в носоглотку.

– У меня, – говорит Кашпар, – один кент прогулялся в Золотые Пески. Вот там, говорит, житуха. Пляж, чувихи, моря – до фига. Сплошной запад.

– Я, – простонал Ваня-Джон, – польский диск оторвал. Это вам не наш Кобздун-Магомаев. – Он задергал струны гитары. – Не плачь, девчонка, пройдут дожди...

– В Штатах струмент должен быть, – это Арнольд, – тисочки разные...

– В «Огоньке» пропечатали, что япошки здоровенную рыбу вытащили, – это Фридрих.

– В Англии по вечерам люди у каминов косточки прогревают, – это я.

– Румыны, слышали, с нами разговаривать не хотят.

– И чего им не хватает, их бы, сук, сюда, под дождичек.

– Эти чехи с жиру бесятся.

– Мало им...

Тут Сам-Коля не выдержал, как закричит: «Эээ-эх!»; бросился в кусты, сел в танк и погнал его по улицам, по людям. Мы – за ним, по танку и – на Запад. По улицам, по людям. Кусты подминая, деревни переваливая... С песней.

Не плачь, девчонка, пройдут дожди, солдат вернется, ты только жди.

Который – третий – день подряд рвет свою шестиструнную на всё купе Ваня-Джон. Спето-перепето... Выпито-перевыпито...

Грозился Арнольд сделать из шестиструнной для Вани-Джона самострел.

Сам Арнольд, проиграв самому себе все свои деньги в очко, буру и зóлу, строит карточную башню. Кашпар назвал бы ее Пиздьянской, когда бы не героически читал модную книжку о пришельцах, ушельцах и выходцах. В книжонке всего от силы страниц сто, так он теперь читает с конца: от последней буквы – к первой.

Вот Фридрих – само спокойствие. Ничто его не колышет. Выжрал все наши запасы. На последнем полустанке закупил у бабки некой мелкой рыбешки, теперь ест и удивляется таким ее огромным костям, что обратно в рыбешку не запихнешь.

Коля молчит зубами к стенке.

А я? Я смотрю в вагонное окно на мелькающие станционные буфеты, пыльные поля и коров, мычащих на ветру. Вот идет по долинам и по взгорьям женщина в фуфайке, ватных штанах и кирзовых сапогах. Из-под фуфайки на штаны – платье. Поздняя осень, грачи улети. Сколько ждать мужику, пока она разденется? Необозримы просторы... однообразны.

Началась наша Малая в осенний вечер. Сидели на Пятаке под песню Вани-Джона.

«Это было под солнцем тррропическим, на Сандвичевых островах. И про весь этот случай трррагический не сказать в человеческих словах...»

«Слушай, кент, – провякал грустно Коля, – а про птичек, которые перелетные, можешь рвануть?» Мы потеряли дар речи. Со слезами на глазах смотрели в небо и видели в нем скворцов, гусей, аистов, соловьев и лебедей, улетающих на юг.

Первым отошел Фридрих: «Ташкент – город хлебный, там сейчас фрукты-овощи в самом наливе».

Арнольд: «А в Америке негров вешают», – и принялся сооружать летательный аппарат: вырывать да выламывать рейки из парковой скамьи.

Идею оформил Кашпар. Он вытянул ноги в клёвых гетрах на кнопках и проговорил, легко грассируя, в нос: «Господа, мы вояжируем в колонию. Сбор завтра на центральном перроне в 9... или лучше в 11. Едем на первом попавшемся, главное – к югу. Трудовые книжки не брать. Горючее и провизию в саквояжах. Желательно – в ковровых. Пиастры советую зашить под резинки от трусов. Хай». Утром мы катили на всех парусах под полными парами. Арнольд долго смотрел в окно, наблюдая за надписями. Наконец, он прочитал: «Закрой поддувало!» – и успокоился...

На третий день идея себя исчерпала. Ездить мы не умели, нам бы сразу приезжать. Станции и поезда не нужны. А нужен невысокий ресторан-вагон с прицепом, чтоб стоял он в самом тупичке, да чтоб прицеп меняли не по расписанию, а по потребностям. Такой, значит, принцип. Чтоб наш, объединенный под общими знаменами и идеями народ тек бы колоннами вдоль подальше от наших окон, и только отдельные представители – обладательницы ног, растущих из плеч, вещественных задов и весомых грудей, носики которых двигались бы вслед за нашими растопыренными руками, – ломались бы табунами в дверь и окна, а мы их – в хвост и в гриву... Явно, условия путешествий на этой шестой непродуманной и несовершенной, дорогие товарищи!

Мне особенно примозолилась обложка книги Кашпара. Космический недоумок, отвратительная рожа с двумя глазами и одним носом, а под ним – прорезь, называемая в быту «рот». Этот рисунок так раздражал, что я и не заметил, когда Арнольд слинял из купе. Я поканал в туалет, но там нашего самородка не присутствовало. Впрочем, на одной из стен стало надписью больше.

Иллюстрация. Только Арнольд, только он, мог найти свободное место под афоризм, изобретательно содрав зеркало и подарив его пробегающему за окном поселку: а вдруг у них клуб есть – всё пригодится.

Арнольд обитал в тамбуре. Он пристально, с какой-то нечеловеческой силой, смотрел на ручку стоп-крана, весело и беззаботно торчащую задранным вверх хвостиком красной сучки. «Вот где непосредственность и гениальность сливаются, как Азия с Европой!» – подумал я и похилился из тамбура на цыпочках, дабы не спугнуть трепетную мысль. В купе я, однако, не вошел, поостерегся, остался ждать в дверях.

Вагон при остановке тряхануло так, что Коля перелетел через проход на полку Кашпара; на что Кашпар протараторил: «Выдь на Волгу!» А Ваня-Джон молча принялся выдергивать косточки Фридриховых рыбешек из гитары.

Потом переживал я лишь оттого, что была эта остановка – согласно расписанию. Арнольд не успел осуществить свой замысел!

– Промойте глаза, чтоб слеза была чистой, – бросил клич Кашпар, – идем в народ.

Это был полустанок – розовое, в подтеках и щербинках, здание. Если не считать двух-трех сарайчиков, оно стояло вполне одиноко.

Но люди-пассажиры были...

Мы – столичные гости, оне – ходоки провинциальные. Ваня-Джон запел: «Благодарю тебя, за то, что ты красива...», но при современном уровне радиотрансляции кого песней удивишь? Мы проиграли безрезультатно еще пару финтов, когда Кашпар закричал:

– Шайба! Один из нас будет тигром. Ручной тигр всегда к месту.

И все посмотрели на меня. А я что? Для друзей не жалко, всё веселей...

Я опустил на четвереньки и грозно зарычал. Обыватели и служащие обратили на нас свои непреду-

бежденные взгляды. Я попробовал шевельнуть хвостом и понял: он есть у меня! Эластичный, длинный, роскошный, пушистый хвост. Полосатый. Обнаружил у себя пружинистую походку. Потерся спиной о фонарь, задрал ногу, заурчал... Эффект, братцы, эффект! Полный! Окончательный и бесповоротный! У кого кошечка, товарищи, есть? Наш мальчик заскучал! Не бойсь! Собирай помет, от него помет плодородный! И от бессилия лечит! Три чайные ложки на стакан водяры. Рыкни, милый... ромашки, жил Тарзан в одной тельняшке...

Пружинящая походка мне быстро надоела. Я прилег у скамейки. Во мне что-то колоратурно бурчало. Первый пирожок поймал двумя лапами. Ваня-Джон присел на меня: «Милая моя, взял бы я тебя, но там в стране далекой есть у меня сестра...» Защелкали фотоаппараты. Со всех сторон неслись на всхрапывающих от страха лошадях, козлах, мотиках и москвичах. Появились столичные корреспонденты. «Вот это молодцы! Вот это по-нашему! Не то, что жида Берберовы! С такими хоть в разведку, хоть на полигон!...»

– Там, где обезьяны шамают бананы...

Засвистел, загудел, задышал паровоз. Все бросились занимать места согласно купленным билетам. Двинулись и мы. Я шел между моими друзьями-товарищами ленивой походкой хищника. Навстречу – бригадир поезда. Нельзя, товарищи юннаты. Сам понимаю, береги природу, природа наш друг. Но... инструкция, сами понимаете.

Я было хотел встать на ноги, но Кашпар шепнул на ухо: «Эффекту не разрушай, паря. Пленки засветят. В «Огонек» не попадем, – и бугру: – Мы, товарищ, пройдем прямо к начальнику станции, там и разберемся». Профессор!

Начальник стоял перед зеркалом и рассматривал себя, оглаживая ремень двумя большими пальцами двух рук. Он обошел огромный стол, сел на стул и, только тогда спросил: «В чем дело, товарищи?» – «Да вот тигр,

ручной совсем, в кино снимается, народный артист, можно сказать, а ваш бригадир в вагон не допускает». – «Бригадир поступает правильно. Ничем помочь не могу. Впрочем, в багаже идет цирк, если оплатите животный билет, поместим его в клетку с цирковыми».

Я думал, что ребята не выдадут, ведь и слону понятно, что те тигры не знают, что я тигр, и сразу раскусят во мне человека. Но Ваня-Джон, потрепав меня по шерсти, заговорил нараспев, мол, держись, бродяга, там что-нибудь придумаем.

– Прошу на животное надеть строгий ошейник и цепь, во избежание, – начальник начальственно поднял подбородок.

Вот тогда я, собравшись в комок, развернул, словно пружина, свое тигриное тело, перемахнув через того – с его столом, – и вышел прямо в окно, только стеклышки, как косточки, полетели.

Крики и выстрелы раздались за мной вслед. Я бежал по и через поля, леса, веси, доли; мелькали города и села, широты и меридианы.

Я бежал туда, где кто-нибудь, кроме тигров и мулов, кто-нибудь опознает во мне человека.

Шаг мой был распростерт. Шаг мой был широк. Шаг мой не сбивался. Даже когда казалось, что сердце выскочит из клетки от страха и усталости.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Вот какой анекдот толкнул мне Волдырь из Иерусалиму:

«Сидит один в гостях у одного хмыря. Всё, говорит, у тебя красиво. Сервант импортный. Тахта. Фотки артисток из журнальчиков клёвые поразвешаны. Но вот какого хера таз на стене висит? А тот в ответ – это часы говорящие. Да ну, брось ты. Не веришь? Снимает ботинок и – как швырнет в таз. А из-за стены:

– Два часа ночи, мать вашу за ногу!»

МАЛЕР Израиль – родился в 1943 году в эвакуации. С весны 1945 г. жил в Риге. Осенью 1978 г. репатрировался в Израиль. Издатель, владелец Иерусалимского магазина русской книги. Публиковался в «Ситуации», «22», «Тарбут», «Сабре», «Круге», «Новом американце» и др. Соредатор и издатель журналов «Ситуация» и «Черная курица». В издательстве «Геулим» в 1984 году вышла его книга «Алефбет. Еврейская азбука для детей разного возраста».

Журнал «Б Ъ Д Е Щ Е»

**на болгарском языке, ежемесячник,
издающийся в Париже**

Журнал посвящает большое количество статей современному положению в Болгарии, условиям жизни и труда болгарского народа, борьбе за освобождение его. В последнем номере журнала опубликован ряд материалов о сопротивлении болгарских писателей, о положении болгарских крестьян, рассказ о советских концентрационных лагерях.

**Адрес редакции: 18 bis, Rue Brunel,
75017 Paris, Tel. 380-57-64**

**Годовая подписка: 120 Fr. (70 DM, 30 \$
Par avion: 50 \$)**

«НЕВОПЛОЩЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК...»

* *
*

Белеет парус

Вот пред тобою слова несказанные –
Все говори наперед.

«Все уже сказано. Клейкою лентою
Можно заклеивать рот».

Старые бревна с гвоздями огромными
Долго плывут по воде.

«Что я наделал? Надолго ли вынырнул?
Хватит ли воздуха мне?»

Чуть ли не тучами небо покроется.
Вырвет затычку вода.

Где-то написано серым по серому:
«Было и будет всегда».

Девочка-школьница, кукла-голышка
Ступит легко на мозоль.

«К счастью меня приговаривать хватит –
Это ведь женская роль».

май 79

* *
*

Израиль – местность дачная, но вот
И ей уже заброшен дикий жребий:
Есть второпях плоды своих деревьев
И воевать – на смерть и на живот.

Израиль – местность дачная. К тому же
Дачников всё где-то черти носят.
Но не напрасно, видно, слова просит
Ученый муж.

апр. 80

* *
*

Ветер стал. Запахли дерева.
Облако вокруг земли носилось,
А земля была не столь резва.
Вдруг куда-то солнце закатилось,
И сказались вещие слова:

«Сняв часы, не остановишь время.
Закопав, не откопаешь семя».

Вот и палестинская зима,
Опадают серенькие листики.
Если есть потребность в беллетристике –
Этой темы хватит на роман.

«Лучники! Чесночники! Собратья!
Я ведь не имел о вас понятия...»

Я бежал в Библейские места,
Чтоб своей довериться породе.
Оттого-то я с годами стал
Лучше относиться к непогоде:
Свет в глаза – не свет, а слепота.

апр. 80

* *
*

Кто посмеет нас обвинить в распутстве?
Мы почтенные члены похоронного братства:
Схоронили целую Атлантиду –
И не кажем виду.

Задаем вопросы:
«Что пишет покойник? Когда вернется?
Теперь уж не раньше прихода мессии...
А впрочем, и ждать осталось недолго –
Недели две-три, а может быть, месяц...»

А тот, захороненный материк,
Живет в распутстве и нас материт.
А волна стоит на распутьи,
Неизвестно, кого одарит.

* *
*

Всё путем.

На скалу, на беспочвенный лед
Я упал, как зерно. Я сплю.
Если кто говорит: люблю
Этот лед – вероятно, врет.

Я на полюс жары плыву.
Надо мною зеркальный свод.
И мое отражение льет
Золотую желчь в синеву.

Я зерно. Я живу в зерне.
Дует ветер втроем, в трубу.
Эти трое – какую мне
Наплели, напоролы судьбу.

Не коснется воды зерно,
Не уйдет на морское дно.

июль 79

ПЛАЧ О МОЕЙ ГОЛОВЕ

*(Под стол закатилась она.
Плачь! Плачь о моей голове)*

Было больно. Голова болела,
Покидая праведное тело.
А душа – и голову, и тело
Покидая – только горевала.

Поднялись в заоблачные сферы.
Дух сказал душе: пора прощаться –
Ты теперь иди в аду казниться,
Я поеду к Богу в рай – общаться.

Гордый дух – едва горé вознесся
Долу был отправлен с новой силой:
Бог меня призвал к Себе, а дух мой
Приковал Он к огненному кругу.

Так теперь и будем: я – молиться,
Дух – вращаться, а душа – казниться,
Голова моя – в пыли валяться,
Тело – умирать и разлагаться.

сент. 81

* *
*

Я джин: сижу, века считаю,
Лелею мысль о страшной мести,
От страшной злости изнываю
И от сидения на месте.

Язык, распухший от молчанья,
Кому-то показать пытаюсь,
Но лишь на стенки натыкаюсь,
Как натыкаются в чулане.

Я в состояньи агрегатном
Мучительно газообразном,
Немыслимо однообразном –
И я давно хочу обратно.

О рыбарь, откупорь сосуд!
Я одарю тебя благами.
Не медли – или унесут
Тебя вперед ногами.

- май 83

ВНИМАНИЕ ЗВУКУ ВЫСТРЕЛА

Что-то случилось с жизнью моей –
Верещит шестеренка дней.
Запряженные цугом, собачьи дни,
Сколько раз мы еще одни?

На зеленой поляне лежит луна –
Величаво лежит она...
Вот как много луны остается для нас
Даже в самый ненужный час.

Если нас донимать перестал Хеопс,
Мы с тобою заедем в большой турнепс.
А если нету на это видов –
Уходи на кладбище и там молчи,
Поскольку берейтор на этой печи
Сойдет в царство мрачных аидов.

Четырех поколений не держит земля
И низводит одно до нуля.
(С философическим складом ума
Есть надежда сойти с ума.)

Полыхнется зарница и ахнет вдаль:
Человечное тело убито навзрыд.
И душа не вернется сидеть в голове,
А вернется в таблицы Брадиса...

Остается испуг:
Вымирающий зверь,
Замирающий звук,
Вышибающий дверь.

окт. 79

* *
*

Опять восходит имярек
И гор касается сугревом.
А я опять сижу за деревом –
Невоплощенный человек.

Ко мне спускается змия:
«Оставь напрасные тревоги –
В четыре края света боги
Уплыли. Здесь остался я».

Итак, в саду. Иду запретной
Тропой. По лестнице – шаги.
«Да что ты думаешь? Беги!»
Я прикрываюсь газетой.

На женщин падок муж. Оне
На змия и на фрукты падки.
Но эти новые порядки
Не признаются в вышине.

У древа ангел крутит нож,
А мне уже не бить баклуши:
«Зачем ты яблоко покушал?
Теперь на каторгу пойдешь!»

февр. 80

* *
*

Зеленой ватой обложило окна:
В саду крыжовник, на лугу стада.
Не вглядывайся, бедное животное,
В бегущие отсюда поезда.

Кого-то больно бьют колокола,
Метанья времени на веру отмеря.
Но до бессмертья хочется в миряне,
Пока еще не жизнь
Уже прошла.

И все-то мне приходится домой.
А если и приходится обратно,
То лишь на две, на пять минут. Понятно,
Зачем опять Он говорил со мной:

Не так уж Он доволен, начертав
Для всех монастырей один устав.

апр. 80

* *
 *

Вкатил Сизиф упругий небосвод
Плечом упершись – на ледяную гору.
Там продержать его хотел весь год,
Но уронил, причем довольно скоро.

Пусть выкрутится как-нибудь земля.
А что взамен, на гипсовые плечи?
Что человек? Куда его стезя?
Кому его возвышенные речи?

апр. 80

* *
 *

Не искал ни бурь, ни покоя –
До ветра я шел, на двор.
Чтоб отвадить лихо ночное,
Брал с собою тяжелый топор...

Ничего я особенно этого
Не нашел. На дворе трава.
У разутого и раздетого –
Еще и отрубленная голова.

май 82

ГЛОЗМАН Владимир – родился в 1951 году. Вырос в Москве. С 1973 года – в Израиле. Закончил отделение ивритской литературы Иерусалимского университета. Публиковал стихи, прозу, переводы с иврита и английского в журналах «Менора», «Время и мы», «22». В 1978 году издал книгу стихов «Милостивый государь».

ЛЮДИ МИМОЕЗЖИЕ

Книга путешествий

Глава четвертая

ЛЕС ПО ДЕРЕВУ НЕ ТУЖИТ

1

Дело забывчиво.
Тело заплывчиво.
А время переходчиво.

Мы шли по проселку в неизвестную нам сторону. То ли шли, то ли на месте топтались. Ноги заплетало. Голову морило. Глаза смыкало. Ночь подступала упрямо, сдавливая подковой, и на ее раскрытом конце отмирал день.

Не ждите от нас невозможного.
Не судите строго.
Не рассчитывайте на нашу непреклонность.
Не пакостим – и на том спасибо.

Мы были сонные, добрые, пьяные и на всё согласные.

– Куда идем? – говорю.

Мой сокрушенный друг скосил на меня любопытный галочий глаз.

– Куда ты идешь, этого я не знаю. Но лично я к чуду лесному отправляюсь на пожрание. Будя! Потоптал землю.

– Станет оно тебе, – говорю, – есть дорожного человека. Дорожный человек костоват да суховат.

Окончание. Начало см. в №№ 41, 42.

Его вымыть, в баньке напарить, а уж потом – и на стол.

Набычился. Оглядел придирчиво. Поискал ответ.

– Вот я всё думаю, – сказал, – как бы его со света сбуть?

– Кого?

– Да тебя. Конем стоптать? Копьем сколоть? Живьем сглотать? То-то радости будет в Киеве!

А я на это:

– Государь наш царь Султан Султанович! Вы здесь стоите, того не ведаете: из Рахлейского царства вылетела птичка-невеличка, а коготок востёр. Не сбывайте меня. Я, может, худым временем пригожусь.

Засуетился. Поискал лихорадочно. Нашел не сразу.

– Дочка, – сказал, – за тебя пришел свататься князь Малкобрюн Датский. Желает ты с ним под венец?

А я:

– Батенька, – говорю, – я еще зелена-поди. Девка-то не человековатая.

Засмеялся. Отмахнул радостно.

– Посвистим?

– Посвистим.

Но губы расползлись киселем.

С пьяного – какой спрос?..

Вечернею зарею, холодною росой, сырою землею, из поля в поле, в зеленые луга, в дольные края: летит птица за моря, бежит зверь за леса, бредет человек незнамо куда.

Добрый путь, да к нам больше не будь.

– Эй, – говорю, – а дорога где?

Видим – проселок перепахан. Как не было. Где плугом прошлись, где лопатой копано.

– Кака дорога? – сказали ворчливо. – Кака те дорога? Сроду не бывала.

Пригляделись: яма вырыта. Копань темная. Да шапки наружу торчат. Да дрына железная.

– Кто такие? – оттуда.

- Человеки.
- Проваливай!
- Ишь ты, грозен. Это у вас чего нацелено?
- Пукалка. Скороспешный пулемет.

А мы – веселы. Нам – море по колено. Наши в поле не робеют и на печке не дрожат.

- Пукни разок.

Лязгнуло. Как затвором передернули.

– Да ты что!! – завопил мой сокрушенный друг. – Туристы мы! Природой интересуемся! Достопримечательностями родного края!

- А вы, случаем, не уполномоченные?

- Здравсьте вам! Отродясь не бывали!

Затихли. Как призадумались.

А кругом уже мрак: ночь-ночью.

В ночи, что в мешке: хоть глаз выткни.

И мигнуло желтым по правую руку, как позвал кто.

- Ребята, – говорю, – вы черти?

Хохотнули.

- Когда как. Днем, на работе – точно что черти.

Ночью – людем помаленьку.

- А чего окопались?

- Тебя не спросили.

Гикнуло спереди. Затопало мягко. Песней расплескалось по полю:

...не ездите, дети,
во чужие клетки,
будет вам невзгода,
будет непогода...

Наехали. Встали. Притихли. Сап лошадиный над головой. Звяканье уздечное. Пена ошметками. Голос властный.

- Кто на стрёме?

А из ямы – услужливо:

– Бздюх с Прищурой. Беспута с Распутой. Базло с Куроедом. Да Фуфляй – за главного.

- Кто на крючке?

- Эти. Люди мимоезжие.
 - Откуда?
 - Из города.
 - Город, – приказал, – сжечь и головней покатить!
 - Сделаем! – рявкнули грозно и пошли на рысях.
- И песней плеснули:

...сели-засвистали,
коней нахлестали...

И нет их.

- Это кто был?

А из ямы:

- Карачун. Батько наш. Да его шиши.

- Куда подались?

- Да кто ж их знает. Может, на Рязань, а то и на

Берлин: это уж как разложится. Вольная бражка, гульливый люд.

Мы затоптались:

- Пройти можно?

– Можно, – говорят. – Которые не уполномоченные, тем можно. Да только мы не пропустим. Тут стойте. Карачун воротится, суд вам будет.

Мой сокрушенный друг и на это не сплюшал:

– Воротится он вам, – ждите! Все города почистит: хрен чего останется.

Подумали. Бормотнули матерно. Полезли впопыхах наружу. Вслед собрались бежать.

– Эй! – заорал один, Фуфляй, должно быть. – Дозор не бросать! Батько шкуру сымет!..

– Да кто он есть?! Знать не знаем!.. Ты себе в яме кукуй, а эти мануфактуру подбирают!..

– Ребята, – попросился мой друг. – Возьмите меня в атаманы. Я поведу вас на город, который еще не грабили. Никогда! Замки не отбиты! Ларцы не отомкнуты. Кладовые не тронуты. Девки не щупаны.

- Здравсьте, – сказал Фуфляй. – А я на что?!

– Ребята, – заныл, – я лучше... Я поведу вас на свой дом. Кооперативный. Интеллигентный. Деятели ис-

куств. В каждом холодильнике – початая бутылка. А то и две...

– Вреоошь! – загалдели. – Початая да недопитая? Мели больше!

– Мужики! – завопил Фуфляй. – Бздюх – по правую руку! Базло – по левую! Не робей, ребята, я за главного!

И потопали, плоскоступы, города брать.

Который на пути попадетсЯ, тому карачун.

– Ах! – закручинился мой сокрушенный друг, которым пренебрегли. – Удальцы. Шатуны. Пустоброд. Тать шеромыжная! Палицами ударились, копьями соткнулись, саблями махнулись. Я бы их повел из квартиры в квартиру, с этажа на этаж. «Здравствуйте! Атаман Баловень. Вы меня не печатали? Жги, ребята! Вы мне аванс не платили? Круши, братцы!» А они на коленках ползают, они снисхождения просят. «Серванты не поцарапайте! Хрусталь не побейте! СобраниЯ сочинений не растрясите!» Вот вам! Фига!... Слушай! – завопил в озарении. – Что-то давно у нас самозванца не было! Может, пора?.. Мы еще пойдём лущить ваши города!

Стоим в темноте.

Кругом перепахано.

Дороги нету.

Куда идти – неясно.

Друг мой корчится в бессильном величии.

И снова мигнуло желтым по правую руку. Да не один раз. Как поторопил кто.

2

Мы бежали на призыв, как бегут в атаку.

В темноте.

По минному полю.

С пулеметами заграждения, нацеленными в спину.

Внизу страх, впереди ужас, позади смерть.

Лезло в глаза. Цепляло за одежды. Хрустело под

ногой. Сушьё-крушьё, дром-бурелом непролазный. И подмигивало, как подманивало. Как подваживало и подпруживало. Рыбой вело на крючке в подставленный уже сачок.

Стояла в низинке машина, травой обросла густо.

Занавесочки на окнах. Труба от печурки наружу. Дыра спереди фанерой забита. Завалинка подсыпана для тепла. Дверь мхом законопачена. А внутри – пуху натаскано, перьев, листа сухого вдосталь: лежбище, логово, укрытие на зиму.

Обошли, оглядели с сомнением: вроде наша.

В ночи не разобрать.

Сунули руку внутрь, зажгли лампочку, заодно отключили мигалку.

Лежали в машине двое, калачом свернулись в пуху, как собаки дворовые, нос в колени уткнули, и повизгивали легонько, мелко подергивали ухом, ногой сучили во сне.

– Это кто же такие, – чванливо сказал мой сокрушенный друг, – да в чьей же машине?

И гуднул что есть силы.

Взлетели. Головами врубились в потолок. Заметались по стенам. В тесноте переплелись конечностями. Руками загородились.

– Ты чё пугаешь?!..

А мы – строго:

– Кто будете?

– Клохтун да ерестун.

– Какого племени?

– Сатанинского.

– Чем докажете?

– Поведением.

Но нас не удовлетворило.

– Отгадку! Быстро! Маленький, красненький, на бабе сидел, на мужика захотел.

А они – без промедления:

– Клоп!

– Верно, – говорю. – Вылазь из машины.

Вылезли. Жались друг к другу. Потирали озябшие коленки. Взглядывали боязливо. Друг мой прохаживался перед ними, как старшина перед строем.

– Так-так-так... С поста сбежали?

– Мужики погнали, – бормочут. – С ими свяжись... Сегодня – их ночь! Мы уж тут, в дрёме, прокантуемся до весны...

– Да вы что! – говорю. – А миром владеть?

Развздохались:

– Это не мы... Это мудреные черти. Алиох, Асмодеос, Антострапалос, Зерефер, – не нам, босоте, чета. Одним в яме сидеть, другим – миром владеть.

– Ты погляди, – сказал мой сокрушенный друг. – Везде одинаково. Чего же тогда душу беречь? Для кого? Случаем не покупаете?

Тут он и появился, зыристый мужичок с пузатым портфелем. Как набежал впопыхах. Запыхался. Рот поразевал судорожно. Оглядел – обтрогал.

– Покупаем, – зачастил. – Новые и подержанные. Чиненые и ненадеванные. Латаные и перелицованные. Получите задаток!

– Ха, – увильнул мой друг. – Да я не продаю пока...

Но тот уже дергал антенну из портфеля, выпрастывал микрофон на веревочке.

– Намазывается, – передал в эфир. – Созревает помаленьку.

И тут он увидел двух дезертиров.

Они оседали заметно на ослабевших ногах и клацили без остановки зубами.

– Ну, – сказал зловеще. – Что мне теперь с вами делать? Кого в меду утопить, кого в пепле удушить?

Те и попадали на коленки, заскороговорили с перепугу в своё оправдание:

– И при Прокопе кипит укроп. И без Прокопа кипит укроп. И ушел Прокоп, а кипит укроп.

– Вы мне зубы не заговаривайте, – сказал брезгли-

во. – С Прокопом разберемся отдельно. Марш в яму!
– Да там мужики, – заканючили. – С пукалкой...
Лучше уж тут кончи!
– Нету, – говорю, – мужиков. Города пошли брать.
Областные и районные центры. Вряд ли теперь вернуться.
– Ах, – позавидовали. – Вот бы и нам с ими...
И пошлепали во мрак безо всякой охоты.
– Распустились, – сказал мужичок. – Разбаловались. Времена пошли – пугнуть некем.
– А раньше как?
– Раньше!? Попом пугали. Монахом. Первым прохожим. Закрестит ужо! Я вам так скажу: естественный был отбор. Выживали сильнейшие. Богатыри. Летуны. Трупоядные бесы. Леший Володька! Чирий Василий!! Ты ему слово, он тебе семь. Ты ему семь, он тебя в ад. А нынче кто? Шалды-балды. Умирашки. Заморенная коровья смерть. Мельчаем и вырождаемся, граждане. Я вам больше скажу: где людям плохо, там и нам неладно.
Но мы уже лезли в машину.
На согретое еще место.
Бухнулись в пух. Зарылись в перья. Подсыпали с боков лист. Заночуем себе до весны!
– Я не прощаюсь, – сказал мужичок. – Только свистните.
– Носом, – пообещал мой друг. – Только носом.
И мы засопели согласно.

3

Мы опускались в сон, как в бережно подставленные ладони.

Как с дальних, холодных небес в пышные, податливые снега.

Как высохший, истоненный лист в зеркало лесных вод.

Как воспаленной и обожженной кожей в сладкую остуду тишины и слабости.

И вот уже мы задержали ухом, засучили ногой, взвизг-

нули легонько под первое, зыбкое еще сновидение.

Шорох прозвучал обвалом. Каменной осыпью. Взрывом порохового погреба. Согласованным воем драных, шелудивых котов.

Мы распластались на стенках машины. Безумным глазом ввинчивались в темноту. Отгораживались руками. Отпихивались ногами. И что-то упрямо шуршало снаружи, старательно и с натугой.

– Включи фары, – прохрипел мой друг.

Я включил.

Гриб лез из земли. Гриб пробивался упрямо округлой головкой. Гриб раздвигал спекшуюся почву, переплетение трав, коркой ссохшийся лист. Гриб вырастал на глазах, храбрым одиноким солдатом в красном, туго натянутом колпаке.

– Ха, – сказал мой друг, позабыв про страхи. – Неплохо бы и поесть...

Самовар у нас был. Вода в канистре осталась. Гриб срезали под корень. Крупица нашлась в рюкзаке. И лаврушка. И соль в тряпочке. Мигом спроворили супец, гриб с крупницей, и дух пошел из самовара – на все окрестности. Густой. Сытный. Наваристый. Проглоти язык.

– Тебе, – сказал мой друг и черпнул поверху жижицы.

Сунулась из темноты рука, ногти сто лет не стрижены, миску подставила под черпак.

– Это еще кто такой?!

А оно сопит, слюну сглатывает, рожу отворачивает старательно.

Пришлось отлить супчику.

– Мне, – сказал мой друг и черпнул понизу гущицы.

Сунулась из темноты другая рука, шерсть сто лет не чёсана, тазик подставила под черпак. Пыхтит, кряхтит, рожу подолом перекрывает.

Плеснули и ему.

Тут и пошло. Тазик за тазиком. Не разглядишь кому! Последними сунулись две руки, лохань держат

бездонную. Им остатки пошли. Отлили через край. А они чавкают вокруг, давятся, урчат довольные. Чуем, удался супец. Супец что надо. Угодили. Самое оно объеденье. А попробовать – очередь не дошла.

– Эй, – говорю, – а нам чего?

– Другой сварим.

Самовар у нас был. Вода в канистре осталась. Крупицы еще нашлось. И соли с лаврушкой. Мигом спроворили новый супец, вода с крупницей, и дух пошел от самовара – пожиже прежнего.

– Тебе, – сказал я и черпнул поверху.

И снова сунулась миска: за сладкой добавкой. Сунулась за ней другая: по то же дело. И пошло – только черпаком махай! Вылезла напоследок лохань о две ручки: туда остатки ушли. И опять они чавкают, чмокают, всхлебывают, как стенки языком вылизывают. Ничего супец. Могло быть и хуже. Не так наварист, да так горяч. А хлебнуть – опять нам не достало.

– Вари еще!

Самовар у нас был. Воду вылили до капли. Лаврушка еще нашлась. Мигом спроворили супец, вода с лаврушкой, и духом не потянуло от самовара, ни на самую малость. Такой суп только пучит пуп.

– Ну, – говорю, – есть желающие?

А они икают, поганцы, морды воротят, рыгают, вздыхают сытно, зубом цыкают в ночи: набуровились, чужеспинники, за наш счет.

– Станут они тебе, – сказал мой сокрушенный друг.
– Станем мы им.

И полез обратно в машину.

– Туши фары!

И снова мы лежали в пуху. Дрема утягивала неприетно. Руки отпадали с ногами. Голова без забот.

– Поначалу, – заворковал он из забытья утомленным шепотом, – едят горячее. Щи, борщ, взвар, селянку с похлебкой, ушку стерляжью. Супы не едят. У супа ножки жиденьки. За горячим идет холодное: студень,

дрожалка, желе. А там и тельное: котлеты, колобки из рыбы, вязига с икрой, белая рыбица паровая. Потом жареное: гуси с журавлями, лебеди с цаплями, курята с утятами, кулики да тетерева. Кушайте, гости, не стыдитесь, рушайте лебеда, не студите. А там и оладьи, блины с маслом, кисель с патокой. Вино, ренское, рамонея, балсам, тентин, и браги, и бузы, и квасу, и меду переваренного – от пуза... Слушай, – подал голос. – Чего это они на супец навалились? Как оголодали, сто лет не ели.

– Проваливаются, – пояснил я. – Сквозь землю. Всякую осень, до весны, в Ерофеев день. И на дорожку – горяченького.

– Ты-то откуда знаешь? – шепнул без сил.

И посвистел расслабленно: сначала губами, потом носом.

– Знаю, – шепнул я и тоже посвистел.

– Ты черт, – сказал убежденно. – Лембой. Опрокидень. Змея Гарафена. Будешь проваливаться – меня не забудь.

И заснул окончательно.

Тут я подумал, что неплохо бы встряхнуться, вылезть из машины, пойти прямо, куда глаза глядят, куда душа зовет, куда ноги несут. И я встал, и вылез, и пошел, а впереди расстилалось поле травяное, небо голубое, мягкота трав несказанная, и вместо солнца на небе – оконце отворенное, а в нем женщина – на лицо кругла. А я всё шел к ней, шел, шел и шел...

– Ах, парень, парень, и куда же тебя несет нелегкая?!..

4

Шорохом развалило тишину.

Разломило мир.

Разорвало воздух.

Страхом обвалилось на головы.

Мы бились спросонья в тесной коробке, как заживо

погребенные в темноте-духоте, отчаянно колотили руками-ногами, и рот залепляло тягучим сиропом ужа-са.

– Включай фары!..

С треском вылетела фанера из окна. Ночным воздухом остудило лбы. Мир встал на место: верх опять был верхом, а низ низом.

Человек стоял перед нами. Белесый. Безликий. Анемичный. Колыхался на ветерке. Смывался с краев. Чутьочку, пожалуй, просвечивал. Глядел, щурился несмело, рукой оправлял рассыпчатые волосы, а они падали, ссыпались на стороны, никак не могли уложиться.

Свет плескался в темноте.

Выгораживал призрачное пространство.

Привычное делал неузнаваемым.

А мы прилипли к окну, как прилипают в батискафе, на дне моря, на чудовищной глубине, и глядят с пугливым восторгом на диковинные существа, что выплывают на свет из мрачной, немыслимой бездны.

– В старину везде леса были, – сказал он и молчал потом долго.

Мы тоже молчали. Затаённо ожидали продолжения.

– Чего бы я вас спросил... – сказал, как подумал вслух. – Послал царь сынов за Жар-птицей. Иван-царевич обманул царя Далмата и получил коня златогривого. Обманул царя Кусмана и получил Елену Прекрасную. Обманул царя Афрона и получил Жар-птицу. Старшие братья обманули потом Ивана, а их за это волк разорвал. Иван нечестно, и братья нечестно. Ивану – царство, а братьям – смерть. Где же справедливость?

Мы так и присвистнули от восторга.

На свист появился зыристый мужичок, стал пояснять с ходу:

– Веня-каженник, светлый пьяница. Нежный лирик, загульная, тоскующая душа. Не то делает, что ви-

дит. Не то говорит, что слышит. Утром пьет, днем спит, ночью по полям гуляет.

– Почему ночью? – всполошились мы.

– Темноты боится.

– Так днем же нету темноты! Пускай днем и гуляет.

– Днем-то, – сказал Веня, – еще больше... Раскинули печаль по плечам да пустили сухоту по животу.

Задумчивая тоска. Уныние. Тихое отчаяние. Волосы ссыпались на стороны, и он их уже не оправлял.

– Чего бы я вас спросил... – и помолчал. – Вот написали в книге, будто человек слышит свой голос не так, как слышат его другие. Может, и слова не те? И смысл не тот?

Мы так и подпрыгнули от удовольствия.

– Веня-каженник, – пояснил мужичок. – Живет машинально. Свет не мил, жизнью не дорожит, хозяйство не ведет. Не ленив, но задумчив. Имеет скверную привычку додумывать до конца.

– А когда додумаешь, – сказал Веня, – чего тормозиться? Пчелы роятся, пчелы плодятся, пчелы смиряются...

Хандра. Тягость. Стеснение духа. Томление души. Руки обвисли уже по бокам за полной за их ненадобностью.

– Детей не заводит, – пояснил мужичок, – чтобы печаль не плодить. Детей у него прорва. С люльки задумчивые. Сядут рядком на завалинке, затамятся, вздохнут за компанию: цветы вянут, мотыльки дохнут, народ по округе кручинится.

– Дети у меня неужиточные, – улыбнулся вяло. – Замыслы у них несбыточные. – И подумал старательно. – Чего бы я вас спросил... Муха во щаж – к счастью. А мясо во щаж?

– Вопрос риторический, – быстро сказал зыристый мужичок. – Отвечать не надо.

Тот и ушел, как уплыл, из общей видимости.

А мужичок остался.

– Это что за место? – строго спросил мой сокрушенный друг. – Говорить немедленно!

– Место наше, – сказал, – называется Затенье. Которое не под солнцем. Всякого тут развелось. Теперь вам сидеть, молчать, не вмешиваться в естественный процесс. Ясно?

– Чего уж яснее.

– Выключи!

Я выключил.

– Включи!

Я включил.

Мигнул свет. Как картинка поменялась в проекте. Кадр новый.

Стала раскорякой баба, жирная, наглая, бесстыжая и простоволосая: девкой привокзальной. Зад отклячила. Ноги растопырила. Груды отвалила за пазухой. Платье засалено, подол замызган, чёботы загвазданы, на шее веревки висят. Глядела на свет кровью налитым глазом, пела-хрипела дурным голосом, глумливая да шумливая:

– Стоит девка на горе да дивуется дыре...

– Шмонка, – пояснил зыристый мужичок. – Чумичка. Тёмнозрачная жёнка. Бабища-курвяжища с семьюдесятью семью бабьими увертками. Глаз черный, дурной, сглазчивый. Живет в бане, кормится объедками, покрывается рваниной, ни скинуть – ни надеть нечего, а впрок и не заводила. Баба-кураца: кто хочет, тот и топчет.

– Повадился ко мне в баню, – хохотнула с матерком, – незнам кто. Через трубу – и об пол. Не любя, полюбишь. Не хваля, похвалишь. Голова шаром, спина корытом, сапожища в дегтище, а в портках змеище. Оморочил, усладил, заиграл до истомы. Вот рожу ему полулюдка, будете тогда знать.

– Не надо! – закричали мы хором.

– Рожу, рожу, – пообещалась. – Гад с гадом блудит, гад и будет. Недоношенный, некрещеный. Через пле-

чо кину, под порогом закопаю, будет вам ужо кикимора на погибель.

Корчилась, изгилялась на свету, брюхом трясла непотребно:

– Свет моя дыра, дыра золотая: куда ж тебя дети? На живое мясо вздети...

И скоком, и прыгом, и топотом. Злость с похабелю!

Тут хлебом пахнуло. Ниоткуда вроде. Как заслонку приоткрыли у печи да взглянули мимоходом, не подгорает ли, а запах, как того и ждал – густой, сытный, подовый, – понесло по избе, по двору, по полю, донесло и до нас.

Встала баба. Осела. Оплыла к ногам. Лицом помягчела заметно. Слезы полила безмолвно.

– Был у нее друг, – пояснил мужичок, – Гришка Курчавый. Баламут, запивуха, пил до сшибачки. Пропил у нее избу, амбар, корову с хозяйством, в разор разорил да и укатил себе в город, к девке-свистушке. Бегала она к нему, он ее взашей вытолкал. Была на сносях: ребенка скинула.

– Дитятко моё... – завывала. – Живулечка нерожденная! С гуся вода, с живулечки худоба... Сороке тонеть, живулечке толстеть... Тому-сему кусочек, а живулечке – кузовочек...

– Это чего у нее на шее? – спросили мы осторожно.

– На осине давилась, – пояснил, – только удавки рвались. Сколько хвостов, столько и раз.

Заткнули заслонку.

Отсекло запах.

Баба опять раскорячилась, пожестчела лицом: бранчливая да драчливая.

– Пусть снимет, – засуматошились мы в припадке человеколюбия. – Пусть немедленно!

– Стану я вам, – бормотнула с матерком. – Вот я ужо отощаю, тогда и веревка сдержит. Вот я ужо напа-

рюсь в бане, в лютых корнях, тогда и получшею, девку-свистушку взащей погоню.

И зашипела – злобно, ненавистно, пакостно:

– В губы ее и в зубы, в кости и в пакости, в тыл, в лик, в ум и разум, в волю и хотение, в тело белое, в печень черную, в кровь горячую, в жилы, полужилы и поджилки, чтобы ела она не заела, пила не запила, спала не заспала, чтобы по телу у ней неугожество, чтобы опротивела она ему красотой, омерзела рожей...

Голова задрана. Шея набычена. Руки оттопырены. Глаза вытаращены. Волосы спутаны. Судорога по лицу.

– Так, – сказал мужичок. – С тобой всё. Черный глаз, прочь от нас!

Обмякла замедленно.

Выдыхала.

Подбоченивалась.

Переводила дух.

– Отшатнись, – сказала глумливо. – Погань придорожная...

И опять растопырилась нагло, захрипела назло нам, резко, грубо, срывисто:

– Бывалача гости, бывалача гости сидят да идут, сидят да идут, а теперича гости, а теперича гости по зашейной ждут, по зашейной ждут...

– Выключай! – приказал мужичок.

Я выключил.

– Включай!

Я включил.

Земля исходила паром.

Вялыми, блеклыми струями.

Свет полоскался конусом.

Дымным, малопрозрачным.

Зыбело и дрожало на отлете черное бесформие, многорукое и многоногое, с перепугу слившееся воедино.

И стоны оттуда, вздохи протяжные, шевеления несмелые.

– Это еще кто?
– Судибоги, – пояснил зыристый мужичок. – Горе луковое. Краса граду есть старчество.

– Чеево?!..

Шелохнулись. Разделились на-трое. Определились силуэтами. Охнули тяжко.

– Суди его Бог...

– Кого? – спросил мой сокрушенный друг.

– Да хоть тебя.

– Меня-то за что?

– Тебе знать...

В черном. Подолы до земли. Платки до бровей. Ключки в руках. Из старух старухи. Одна – суровая, истовая – цепко держалась за кошелку, будто рвали ее из рук. Другая – озабоченная, шустроглазая – руку прижимала к телу, будто хоронила чего под мышкой. Третья – блаженная, взглядчивая – чмокала губами без устали, будто соску сосала.

– Старухи-переходницы, – пояснил мужичок. – Старушьё, негодь, племя неистребимое. Какая ни власть, какие ни порядки – исходили все пути от Москвы и до Иордана.

Мы так и подпрыгнули.

– Эй! Ври, ври, да не завирайся! Так они и дойдут тебе. Без карты-компаса!

– Бог ведет, – сказала суровая.

– Бог кормит, – сказала озабоченная.

– Бог – не убог, – сказала блаженная и чмокнула хвастливо.

– Да их милиция поарестует! – заволновался мой друг. – Нищенки-бродяжки!

– Бог прячет, – сказала суровая. – На брюхо лег, спиной укрылся – и нету.

– Да их пограничники постреляют! – раскричался. – Шпионки-диверсантки!

– Бог милует, – сказала озабоченная. – Порох отмокнет, пуля застрянет, дуло скрутится.

– Да там собаки! – он уже бился в иступлении. – Проволока колючая! Граница на замке!..

– Бог переносит, – сказала блаженная. – Только подол подтыкай.

– Подол-то зачем?.. – сломался мой друг. – Это бы хоть понять...

– А как же, – чмокнула радостно. – За штык чтоб не зацепить.

Друг опадая замедленно.

– Тогда... – сказал задумчиво, – и я бы пошел...

– Тебе не суметь, – отмахнулась суровая. – Грехи гирями.

Обиделся:

– Вы больно легкие...

– Мы не легкие, – сказала озабоченная. – Нас беда несет.

– А где беда, – сказала блаженная, – там и Бог.

И чмокнула победно.

Мы уж и не спорили с ними, только глядели во все глаза.

– Первая, – пояснил мужичок, – в тоске в тоскучей. Дочь у ней – от рождения придурочная. Ходит по святым местам, дочь отмаливает – за блуды свои за прошлые. Помолился ей в сумку монах-пустынный, она ее домой несет, молитвы над дочкой вытрясти.

– Одна забота, – сказала суровая старуха, намертво вцепившись в кошелку, – не растряссти по дороге. Черт смущает, бес подстрекает, сатана творит лживые чудеса. Будет мне ужо на том свете – скрип зубный, плач неутешный, огонь неугасимый, червь неусыпный, – Боже страшный, Боже грозный, Боже чудный!..

– Вторая, – пояснил мужичок, – в заботе в иссушающей. Сын у ней погорел, в землянке живет, денег на избу нету. Ей в далеких краях яйцо дали. Черный петух снес, на седьмой год. Берешь яйцо под мышку, не молишься – не моешься шесть недель, и вылупится тебе змей, станет деньги носить.

– Мне до зимы успеть, – сказала озабоченная старуха, руку вжимая в туловище. – Внучатки в землянке померзнут. С недоеду попухнут. Мыши по гумнам – тучами, волки по полям – стаями, вороны летят из-за леса – света не видно: год будет голодный, точно вам говорю, станет народ лыки жевать, – Матушка Скорбящая Пречистая Богородица, пронеси мимо...

– Третья, – пояснил мужичок, – в надежде в неугасимой. На месте не сидит, ходит без усталости, землю ищет, где много всего и самородно, честно и справедливо. Ирий – страну блаженных рахманов.

– Скоро уж, – сказала старуха и чмокнула жалостливо. – Мёрли деды, мрём и мы. Отмираем помаленьку. Мне бы – одним глазком напоследок, на тамошние утехи... Там облака киселем ложатся на двор: хлеба запастись не надо. Там на зиму люди обмирают и оживают к весне: тулупов не надо. Там всякий у окошка сидит, другого привечает: бояться не надо. Там у каждого всё есть, и каждому ничего не надо. Спи довольный, прохлаждайся любовно. И кроме радости и веселия, песен и танцеванья никакой печали не бывает, – батюшка Савватий, Власий, Василий Кесарийский, батюшки Флор-Лавер, конские пастыри, подсобите дойти...

Вскинулись.

Перекрестились.

Клюшки приладили.

– Бог в дорогу, – сказала суровая.

– Никола в путь, – сказала озабоченная.

– Христос подорожник, – сказала блаженная.

И ушагали себе.

Стало тихо. Свет колыхнулся замедленно. Дымный и малопрозрачный.

– Выключай, – зевнул зыристый мужичок.

– А пошел бы ты! – огрызнулся я и почему-то выключил.

– Включай.

Но я не включил.

Я был обижен неизвестно на кого, и душа требовала отмщения.

Посидел, попереживал всласть да и говорю – себе на обалдение:

– А по погостам, – говорю, – да по селам ходят лживые пророки, мужики и женки, и девки, и старые бабы, наги и босы, и волосы отрастив и распустя, трясутся и убиваются...

– Это чего?! – ворохнулся мой друг.

– Не знаю, – говорю. – Накатило.

– Стоглав, – пояснил зыристый мужичок. – Из постановлений собора. Знать надо.

И уязвил напрочь.

– Врешь ты всё, – сказали мы ненавистно.

– Настольная книга! – завопил. – Чтоб я так жил!

А друг мой надулся на меня, сказал спесиво:

– Не кажется ли вам, чужестранец, что это моя привилегия – вещать в беспамятстве?

– Кажется, – говорю. – Но это не я. Это во мне.

– Объяснение неудовлетворительное.

Сидим в машине, глаза в темноту таращим.

И мужичок притих возле, как перерыв взял.

5

Тут – звуки всякие, не разбери откуда.

Притопало с одного боку: нестройно, устало, со сбоем.

Прискакало с другого: шустро, решительно, браво.

Стоят – снюхиваются, решают как быть.

– Кто такие? – поверху, с коня, подбоченившись, должно быть.

А понизу – с натугой:

– Базло с Прищурой. Да Бздюх – за главного.

– Другие где?

– Где-нигде... Куроеда схоронили. Фуфляй в топи

увяз. Распута с Беспутой по бабам пошли. А больше и не было.

Хохотнуло. Вскинулось. Сморгнулось молодецки.

– Города пограбили?

– Пограбишь тебе... Городов много, а промежин еще больше. Сколько ни шли, всё мимо проскакивали.

Вздыбило. Храпнуло. Плетью огрело. Заплясало в перескок.

– Не дрейфь, мужики, Карачун с вами! Я поведу вас на свальный бой. Пушечная пальба да ружейная стрельба, да конское ржание да людское стенание. Мы их еще заламаем!

Закряхтело. Зашмыгало. Заскребло тугими ногтями по деревенелым шеям.

– А шиши твои – игде? Неужто всех ухайдакал?

– Шиши мои – в водке потонули, во здравие атамана. Вы теперь – шиши. Сели, засвистали, коней нахлестали!

А они:

– Куда нам...

– Мы уж тут, в яме, службу справим...

– Владеем городом, а помираем голодом...

– Дай Бог атаману служить, да с печки не слазить...

Осадило. Спешилось. Каблуком топотнуло.

– Мужики, – сказал. – Выдаю секрет. Дурыгу знаете?

– С выселок, что ли? Ну знаем...

– Обещался. К завтраму. На кузне. Ракету склепать. «Земля-город». Чуете?

– Не...

– Мы их растрясем, мужики. Кошеля с погребями. Там же недопито, поди. Недовыбрано. Недощупано.

Сглотнуло. Засопело. Шелохнулось.

– С ракетой, – говорят, – другой коленкор... С ракетой – можно попробовать... Чего стоим? – говорят. – Засвербело... Что с бою взято, то свято.

Взлетело. Вздыбило. Свистнуло в два пальца.

– За мной, мужики! Голова – дело наживное!

И снова – хлебом пахнуло.

Как подгадал кто.

Будто заслонку отодвинули у печи не на малое время, поворошили лопатой, чтобы не пригорел к поду, а запах – теплый, тугой, ласковый – так и колыхнулся на весь край. Хоть режь его, хоть щупай, мни мякишем.

– Прощевайте, – говорят мужики. – Досвиданьица. Нам по домам пора.

– Братцы, а повоевать?!

– Нетути, – загудели, – у нас хозяйство стоит... Картошку брать, дров запаста, самогону нагнать, бабу огулять. Нам воевать не с руки, себе в убыток.

– Братцы, – кричит в запале, – вас же бомбить станут! Я в их – «земля-город», они в вас – «город-земля». Затемнение хоть сделайте! Трудности введите!

А они:

– Чего нам затемнять? У нас, как стемнеет, все спать ложатся.

– Чего нас бомбить? Перебудишь еще. А у нас, как перебудишь, мы робят зачем делать.

– Чего нам трудности? Мы и так в легкости не жили.

А один – Базло, должно быть, – сказал с подвохом:

– Ты нам лучше ответь, человек хороший: после войны станет нам легче?

– После войны, – сказал честно, – раны станете залечивать. Хуже, думаю, будет.

– Чего ж тогда воевать?

Разобиделся:

– Мужики, – говорит, – счастья своего не понимаете. Уж больно вы, мужики, миролюбые. Вас, – уязвил, – на геройство не раскачать.

А они – с ленцой:

– Ты нас пожги прежде, а тогда и гляди. Мы тебе тогда так вломим! – безо всякого геройства.

И потопали, грузноступы, по нужным делам.

Редко шагают да твердо ступают.

– А что? – прикинул Карачун. – Это мысль...

Петушка подпустить.

И ускакал себе.

Должно быть, к Дурыге.

По неотложным разбойным делам.

Прикрыли заслонку. Отсекло запах. Полночной остудой охолодило лбы. И шепот – исступленный, горячечный, взახлеб – перехлестнул через битое окно.

– Царь лесовой, и царица лесовая, и лесовые малые детушки, простите меня, в чем согрешил...

Пыхнуло зарницей по краю неба.

Жуткая, испугнутая птица опажнула крылом.

Дернулась рука.

Включились фары.

– Сеня-обмылок, – тут же сказал зыристый мужичок, будто рванул наперегонки с низкого старта. – Каличь негодная. Попользован без надобности в тутошной жизни. Почки нету. Глаз вытек. Ребра вынуты. В голове дыра. Пехота-матушка, медсанбат-батюшка. Что ни война, то и нога. Что ни бой, то и огрызочек.

Сидел на кожаной подушке мужчина безногий – не выше пенька, курносый, ясноглазый, волос на голове легкий, закрученный, стружкой со смолистой сосны, кланялся-перекувыркивался лбом до земли, клал перед собой яйцо куриное, бубнил-бормотал, как тормозил-встряхивал, убеждал-умолял:

– Кто этому месту житель, кто настоятель, тот дар возьмите, а меня простите: не ради хитрости, не ради мудрости, но ради добра и здоровья, чтобы никакое место не шумело, не болело...

И занудел натужно покалеченным нутром.

Вышла на зов женщина видная, нестарая, встала, руку на голову опустила, пообещалась нараспев:

– Замыкаю я все недуги с полунедугами, все болести с полуболестями, все хворобы с полухворобами, все корчи с полукорчами... Крови не хаживать, телу не баливать.

Дернулся обидчиво. Поглядел изнизу. Блеснул непролитым глазом. Нуд не оборвал.

- Груня, я тебе не нужен.
- Нужон.
- Груня, я тебе не пригож.
- Пригож.
- Груня, я тебе не по мерке.
- По мерке.

Отвернулся. Набычился. Комок сглотнул.

- Груня, я тебе не сгожусь.
- Сгодишься.
- Груня, меня обидеть легко.
- Я им обижу.
- Груня, – сказал строго. – Я жить хочу.
- Ясное дело, – сказала. – Пошли, что ли?

И пошагали себе.

Она идет, он – на подушке прыгает, колодками от земли толкается.

Человек – не человек, жаба – не жаба.

И рука ее – у него на голове.

- Груня, тебе мужик требуется.
- А то нет.
- Груня, ты меня не бросай.
- Стану я.

И нет их.

А нуд остался.

Нуд от прожитой жизни.

Обгрызанной, порезанной, попиленной, перекошенной и надорванной, перекроенной походя, переломанной случаем, задавленной и затоптанной без спросу.

«Что не едешь, что не жалуешь ко мне, – без тебя, мой друг, постеля холодна...»

6

Молния ударила беззвучно.

Первая самая, как серпом по небу.

Что-то двигалось там, в отдалении, куда не пробивал наш свет, жуткое, невозможное, глазу запретное, нудело грозным, согласованным хором, и зарницы пыхали, будто небо ахало, и туча – угольным пологом – исподволь находила на наш мир.

Прошуршало катышем мохнатое, вздыбленное, фыркающее искрами, – с писком нырнуло под машину.

Проскакало тощее, голенастое, пяткой вперед, морда сплющенная, ребром острым, – в ужасе метнулась в кусты.

Пронеслось косым лётom перепончатое, острокрылое, опало донизу, взметнулось поверху, – с воплем врубилось в купу ветвей.

А впереди нудело и нудело, тонело и возгонялось, ввинчиваясь на такие верхи, с которых нету уже возврата – разве что через обмирание, корчи, падучую, кровь горлом, insult и инфаркт.

И молнии полоскались в истерике, как серебристые длинные рыбы в удавке невода.

Но грома еще не было.

Срок не доспел.

– Это чего там? – тихо спросил мой сокрушенный друг, перекашиваясь в слабине испуга.

– Жизнь, – ответил зыристый мужичок. – Во всей ее полноте.

– А поглядеть можно?

– Поглядеть нужно. Включай дальний свет.

– Боязно, – говорю.

А он – резонно:

– Так-то – еще боязней.

Вырвались из машины два столба. Смаху пробили пространство. Воткнулись в дальние кусты. Растеклись белесым бельмом. Высветлили фон и мурашами отозвались на спине.

Там, далеко, на краю видимости, гнулась и хрипела в хомуте и постромках давишняя бабища-курвяжища, голая, взмыленная, лохматая, груди – кошелюми донизу:

надсаживалась, волокла здоровенную соху, отваливала пласт на сторону, и ремни уже вдавились до костей в рыхлое, податливое тело.

Следом за ней кучно, зло, решительно шагали бабы в одних рубахах, с распущенными волосами, грозно размахивали ухватами, кочергами, косами, ныли угрожающе на высокой ноте через поджатые губы, яро обхлестывали жгучим кнутом.

– Опахивают, – пояснил мужичок пуганым шепотом. – Борозду ведут. Вкруг деревни. Верное средство – от мора, чумы, налогов, мобилизации, скотского падежа, инструкторов-инспекторов, от прочей сторонней напасти. Сидеть тихо. Голос не подавать. Увидят – засекут.

Дождичек засикал вяло.

Гром воркотнул нехотя.

Трава подмокла заметно.

Сохой поддело за валун.

Ноги скользят. Бабища тянет. Эти ее секут. Она их материт. Соха ни с места.

Ожесточились: кнутовищем ее, кочергой, хватом, – по животу, по ногам, поперек спины. Чеботом под зад.

На колени упала. Груды на землю легли. Жилы вздулись на шее. Рычит, сипит, пуп надрывает, валун выворотить не может.

Дождь припустил. Косохлест с подстёгой. Молнии свищут. Гром – колотушками.

Хрипит. Пену пузырит. На пузе ползет. За землю ногтями цепляется. Кровь из-под ремней проступает. Валун поддается нехотя, упрямый, круглолобый, на много пудов валун.

А бабы остервенели, распалились, забивают без жалости – по голове, под ребра, по глазам, как лошадь ледащую: из постромок да на живодерню.

Корчится. Корячится. Грязью облепляется. Землю зубами грызет...

Потускнело вдруг.

Опала видимость.

Окисал на глазах аккумулятор.

Свет дальний – свет ближний – свет никакой...

И на издохе, там, вдалеке, над голизной тела, – коса молнией.

Хакнуло сверху. Небеса разломило. Колун вогнало в дерево. Развалило донизу. Воду стеной обрушило.

Вопль страшный.

Рёв дикий.

Страх звериный.

– Заводи! – орет мой сокрушенный друг. – Живо!..

Мы за нее опашем!

– Не заводится! – ору. – Аккумулятор сдох!..

– Чтоб тебе!.. Навались-толкай!

Выскочили из машины. Кричим. Хрипим. Скользим. Надрываемся. Жилы на шее дуем. Пупы развязываем. Машину стронуть не можем.

Молнии нас секут.

Гром кулаками молотит.

Водой пробирает до костей.

Ветром нещадным.

– Ребятушки, – суетится зыристый мужичок. – Вы чего? Не посидели, не поговорили...

– По-од-соби!..

Обежал кругом. Портфель под колесо кинул. Навалился плечом. Пошло-поехало через силу.

– Где баба?! – кричит мой друг. – Где соха? Где все?!..

Мокрые и заляпаные. Злые и напуганные. Земля раскисает на глазах. Молнии без конца. Вот-вот вдарит колуном, развалит надвое.

Катим неизвестно куда.

– У меня дети! – кричит мужичок. – Жена на сносях!

Овдовеют-осиротеют...

– Не овдовеют, – сиплю с натугой. – Молния праведников выбирает.

А он – плаксиво:

– Ты почём знаешь?

– Знает, – сипит мой друг. – Чего не надо, он всё знает.

Сказал – обидел.

Небо провисшее. Земля раскисшая. Щель посередке, хоть ползком ползи. И мрака-непотребства в избытке.

А мужичок осмелел:

– Решайте, – говорит. – Только по-быстрому. Не то тут останетесь. До весны.

– Это еще почему?

– Провалюсь скоро. Кто вас выведет?

– Кто-никто.

Толкаем дальше. Но уже без охоты.

– Имейте в виду, – торопит. – У нас очередь. Наплыв желающих. Не вы одни. Стал бы возиться, да прикипел к вам.

– Откипай давай.

И посвистели чуток. Складно да ладно.

Напоследок хоть покуражиться.

Забежал вперед. Встал на пути. Руки раскинул.

– Вы же видели. Вы всё видели: ничего не утаил... Нет разницы между чертовщиной и жизнью. Без вас нет и нас. Но без нас и вы полиняете. Так стоит ли держаться за бессмертную душу? Я вас спрашиваю: стоит или не стоит?! Отвечайте немедленно!

Замедлили. Плечом поддаем без пользы. Раскисаем в сомнении.

Тут хлебом пахну́ло.

Гордо и торжествующе. Широко и победно.

Через заговоры, блаз, мороку, сухоту, порчу, изурочанье.

Будто насовсем откинули заслонку, поддели его на лопату, да и пошли кидать на стол, на холстинные полотенца, каравай за караваем, что радость за радостью. Пышные. Темные. Пропеченные. Густо запашистые. Хлеб на стол, и стол престол...

Туча уходила.

Гроза утихала.

Гром выдыхался.

Молнии не доставали до земли.

И полегчало заметно, будто пошло под уклон.

– Я вас в последний раз спрашиваю! – срывался на визг зыристый мужичок и отступал задом. – Стоит ли держаться за бессмертную душу при всеобщем непотребстве? – И закончил патетически: – Нет, граждане, не стоит!

– Шишига прав, – сказал на это мой сокрушенный друг.

– Прав, – говорю. – Куда денешься?

– Раз-два, взяли!

И мы переехали сердешного...

Глава пятая

КТО ВЕТРОМ СЛУЖИТ, ТОМУ ДЫМОМ ПЛАТЯТ

1

Вот начинал я рассказ, – осилю ли?

Вот продирался с трудом, – а надо ли?

Вот подступаю к концу, – а не грустно ли?

Рассказ ли это? Я ли? Жизнь ли моя?

Тишь в миру.

Благодать.

Покой безбрежный.

Рассвет пугливый.

Прогал в облаках.

Мы шли по дороге, ободранец с обшарпанцем, – воглые, сырые, иззябшие, в ботинках хлюпает, под рубахой мокро, – и волокни на лямках, по-бурлацки, бесполезную теперь машину. Стекла нету. Колесо спущено. Капот промят. Бока исцарапаны колючками. Внутри плещется вода. И парок курился от наших голов: просыхали на холодке.

– Это кто же тащит, – говорю ехидно, – да чью же машину?

А он – грубо:

– Ишь, фря какая! Еще дражнится... Пришел не зван, поди не гнан.

– Ах, – говорю, – ах-ах! Озаботили мы вас, хозяюшка, своим присутствием. Нынче уж недолго осталось: потерпите чуток.

– Вот я его чукну, – погрозился, – и концы в воду.

– Чукни, – говорю. – Чукни, милый. Нашелся, наконец, человек, который меня ненавидит. Вот радость-то!

И присвистнул горестно.

Тогда и он присвистнул: погорестнее моего.

Поёжился. Покрутил головою. Постыдился заметно.

– Куда идем? – говорю помягче. – Куда заворачиваем?

– Иду туда, – отвечает устало, – куда голова перевесила.

– А там чего?

– А там ничего. Встать, главное, пораньше да шагнуть подальше. Зуд утишить. От себя оторваться.

– Дудки, – говорю, – мужчина. Не будьте ребенком.

И посвистел в пол-охоты.

Тогда и он посвистел, плечом наддал посильнее.

В ответ и я наддал.

Свистим, заливаемся, трели выводим, тянем одну лямку.

– Нам, – говорю, – с тобою на одном колу вертеться.

– Не скажи, – отвечает. – У всякого свой кол. – И бормотнул в ясновидении: – И низойде в годину овую поветрие зельно на челоцеы страны тоя и погибоша и умроша людие, аки злак дольный, лезвием серпа усековенный... Но это уже не для тебя.

Тянем дружно.

Свистим согласно.

Бегучей слезой обливаемся.

Всяк по себе плачет...

Светало заметно по кромке. Лес просветился по макушкам. Мокрые колосья у дороги прогнуло до земли. Охолодало с ночи, осень пришла за грозой: жди заморозков. Будут на рассвете ломкие травы, седина на листе, пленочка льдистая, паутинка остекленелая, грибы встанут к утру упругие и промерзшие, солдатами на ночном посту. Клюква созреет, рябина осядет, налетят сытые снегири, станут поклевывать лениво, с выбором. Но это уже не для меня.

– Стоп! – сказал мой озабоченный друг, и машина накатилась на наши пятки. – Проверка. На вход в деревню. Старица Софья три года сохла. Попрошу продолжить.

– Не пила, – говорю, – не ела, все на небо смотрела.

– Отгадка, – сказали хором. – Труба на крыше.

И впряглись снова.

Мы входили в деревню, в ее широкую, травой проросшую улицу, как в раскидистые объятия. Лужи стояли с ночи. Куры копошились брезгливо. Собака гавкнула несмело и поджала хвост. Голубь дорогу уступил. Вкатили машину, встали, сбросили с плеча лямку.

– Чуешь? – спросил мой озабоченный друг и округлил глаза.

– Чего?

– Да хоть чего.

Прикинул:

– Не...

– И я не чую... Нету напряжения!

Тогда и я округлил.

Избы редкие. Палисады цветущие. Яблоки повисли на яблонях. Корчаги на плетнях. Бабы выгоняли коров в стадо, истово шептали вслед: «чтоб со двора шли-играли, а с поля шли-скакали...», а те выступали важно, вперевалку, каждая звякала боталом. Бабка глядела из

ближнего окна, подперев рукой голову, поздоровалась первой. И запах хлебный, крутой, торжествующий, так и пёр на нас отовсюду: стеной сытости.

– Бабуля, – говорим, – хлебца не дашь?

А сами дрожим в сырости.

– Дам, – говорит. – Чего ж не дать? В избу идите.

Упрашивать не надо.

Пол выметен. Половики вычищены. Стекла протерты. Занавески постираны. Печь побелена. Изба протоплена. Кровать в покрывале. Герань в горшках. Лук под потолком в связках, от стены к стене, золотыми ёлочными шарами. И на столе, покрытые полотенцами, лежат караваи, один в один, сытыми поросятами, крутые бока выпячивают с краев.

– Раздевайтесь, – велит. – Всё сымайте. Сушить буду.

Уговаривать не надо.

Сбросили мокрое, сырое, заскорузлое: переминаясь в трусах.

А она уж тащит с печи: каждому штаны, каждому – телогрейку, валенки прогретые – каждому.

Натянули, запахнулись, ноги вдели в тепло. У него – руки торчат из рукавов, у меня – штаны под горлом крепятся. Благодать Божья!

– Ах, – говорим, – ублажила, бабуля! Утешила и обогрела. Хлебца теперь давай.

И к караваю тянемся.

А у нее – губы поджатые. То ли сердится, то ли обижается, то ли фасон держит.

– Цыть, – говорит, – басурмане! Руки ополосните прежде. Хлеб, небось, – не помой.

Побежали. Ополоснулись. Сели за стол чинно. А руки сами тянутся – обломить корочку.

– Молитву, – говорит, – знаете?

– Не...

– А чего знаете?

– Чего... – говорим. – Ничего не знаем. Таблицу умножения, и ту с трудом.

– Я уж за вас.

Взяла каравай в руки, качнула на весу с почтением, сказала строго:

– Бог на стене, хлеб на столе.

Потом нам протянула:

– Просим нашего хлеба есть.

Дальше было тихо. Только на зубах пицало да за ушами трещало. Мякишем давимся, корочкой хрустим, рвем, обрываем, с двух кусков кусаем. Теплый, пышный, ноздреватый: голову ведет от запаха.

А у нее опять – губы поджатые.

– Цыть, нехристи! Хлеб-то уважьте.

Отняла каравай, пошла за ножом, а мы глядим жадно, с испугом: не отдаст еще.

– Конечно, – говорю печально, – всем сытым быть, так и хлеба не станет.

А друг мой – еще печальнее:

– Каков ни есть, а хлеб хочет есть.

Положила на дощечку, на ломти развалила, нам пододвинула:

– Ешьте. Матушка рожь всем дуракам сплошь.

– Ай да бабуля! Ай да красавица!

Мы и заработали зубами. Один ломоть кусаем, другой про запас держим, на третий глаз кладем: перехватить поскорее.

– Хлебушек! – повело моего друга. – Ситничек! Пирование, столование, толстотрапезная гостьба! Бабуля, молочка не дашь?

Сходила за молоком. Принесла кринку. Разлила по стаканам.

Жизнь райская

– Бабуля, открой секрет! Как хлебы печешь?

А она – строго:

– Дом приberi. Порядок наведи. Свету напусти.

Хлеб из печи, что младенец у роженицы: в чистую избу идет.

– Всё, – сказал на это мой озабоченный друг. – Остаюсь здесь. Навечно. Куда мы бежим, граждане хорошие? Чего ищем? Всё есть тут.

– И я, – говорю, – остаюсь. И я. Много ли мне надо? Каравай на день да молока кринку.

– Не, – и локтем огородился. – Тебе не тут.

Подмолотили каравай, на другой косимся.

– Передохните, – говорит бабка. – Не повредило бы?

А мы – твердо:

– Не повредит.

Мой озабоченный друг подхватил хлеб, качнул на весу, сказал с почтением:

– Хлеб выкормит, вода вымоет.

И распластал на ломти.

Этот мы уже не осилили. На половине застряли. Жуем с трудом, запиваем через силу: на сон потянуло.

Встали.

Поклонились в пояс.

– Матушка-государыня, спасибо.

На печь полезли.

Пихаем друг друга. Дожевываем лениво. А она веселится вослед.

– Хлеб-то оставьте.

– Не... Пусть будет.

Камень теплый.

Живот полный.

Потолок близкий.

Ломоть пахучий.

Так и заснули: с куском во рту...

Два глаза глядели на меня.

Два глаза: из глубин чьей-то души в глубины моей.

Глядели – не смаргивали, как считывали тайны мои, сокровенные помыслы, парения духа и мусть на донышке.

Тянуло исповедаться этим глазам, оправдаться, найти убедительные причины собственной непричастности, смиренно молить о снисхождении, которого ты, безусловно, не заслуживаешь.

И я принялся молить, и убеждать, и доказывать, – но они были беспощадны, эти глаза, они требовали признания, полного и немедленного, и тяжесть уже навалилась на грудь – могильной плитой наказания...

– Ах, – подумал тогда я, – это же мои глаза! Это я гляжу сам в себя, я с себя считываю, – прекратить немедленно!..

И сморгнул наваждение.

Тогда и они сморгнули.

Сузились. Сложились в щелки. Опушились ресницами. Задрали торчком усы и разинули пасть.

Чтоб тебе!

Кошка – избной зверь...

– Поди прочь, – сказал я с омерзением. – Не то шваркну об пол.

Руки не поднять. Пальцем не шелохнуть. Воздуха не вдохнуть. Кошку не согнать. Погибаю бесславно на теплых кирпичках в тесноте и сытости.

– По-хорошему просят, – заныл. – Будь другом, уйди сама...

Ноль внимания.

Опять уставилась на меня – совестью разбуженной.

Тогда я перевалил голову на бок, чтобы ее не видеть...

Два глаза глядели от стены.

Два глаза: из глубин их души в глубины моей.

– Сгинь, нечистая сила! – заорал я, и кошка улетела с моей груди по крутой баллистической траектории.

А глаза остались.

И оттуда, от стены, – иступленно и навзрыд:

– Избу надо купить. Сейчас же! Чтобы своё было. Огородное. Амбарное. Подпольное. Запасное – не покупное. Не желаю быть дачником. Владельцем – желаю быть!

Стоим на четвереньках, голова к голове, бормочем второпях, перебиваем сами себя:

– Чтобы печь была...

– И валенки теплые...

– И одежда сухая...

– И хлеб с молоком...

– И лук – связками...

– И кошка, – черт с ней...

– Бабуля, – кричит вниз мой озабоченный друг, – избу не продашь?!

Аж осела с перепугу:

– Ты что... Что ты! Скажет такое...

Спрыгнули с печи.

Поскидали ее одежды.

Понадевали свои, сухие да прогретые.

– Бабуля, сколько с нас?

Не поняла:

– Это еще за что?

– За хлеб. За молоко. За печь теплую.

Опять губы поджала. То ли плакать собралась, то ли сердиться.

– Хлеб у меня не продажный. Молоко у меня не покупное. Печь у меня деньги не берет. Одарить бы вас чем?..

Теперь уж мы не поняли:

– За что это?

– Хлебца моего поели. В доме моем погостили.

Одной-то как стыло: поминать вас буду.

И на табуретку полезла.

– Луку, – сказала. – По низочке. Крепкий да сладкий: такого и в городе нету.

– Не возьмем, – твердо сказали мы.

Снова губы поджала.

– Возьмем, возьмем!

Мы шли по улице, по самой ее середине, и на шее у нас висели связки до пояса, золотыми, крупными цыбулями.

– Хлебом кормят, – блажил мой друг. – Молоком поят. Луком дарят. Сытеем, братцы!

Тут он и объявился, этот человек, нам на удивление. Стояла изба, раскрытая поверху, как крышу сняла – поздороваться, и глядел на нас сверху, из-за стены, мужчина с топором, в фуражке наискось, глаз шурил тертый.

– Наше вам, – сказал бодро. – Чего припоздали?

Сунулся из-за стены другой мужичок – на голову пониже, на тело пожиже, глазок круглый, пуговичный, – спросил подозрительно:

– Кто такие?

– Кореша мои, – ответил первый. – Навестить приехали.

– Сергей! – заныл тот. – Изба раскрытая... Который месяц... Дождем зальет...

– Не зальет, – сказал авторитетно. – Небось. Дождя нонче не будет.

– Сергей! Залило ночью... Плаваем ужо...

– Совесть у тебя есть? – возмутился Сергей. – Люди из города едут. За сто верст. Друга проведать. Почитай, с Отчественной не видались. А ты?!

Засомневался:

– Молоды больно...

– Мальчонки были, – пояснил Сергей. – Сиротки. К роте прибились. Я им портки стирал. Я им носы подтирал. Я их с пулемету учил стрелять. Тот – первый номер, тот – второй.

Мужичок колыхнулся в раздумьи:

– Может, подсобят? Вчетвером-то – как ладно...

Аж подпрыгнул:

– Да чтоб я! Да фронтовиков! Да вкалывать!! Ах, Петя, Петя, никудышная твоя душа...

– Сергей! – взвизгнул в отчаянии. – Отсырели! Размокропогодились! Покрой, Христа ради...

А этот – как маленькому:

– Отсырели – просохнем. Ты пойми, дур-человек: нельзя нынче крыть. Наше дело плотницкое: в дождь избу не кроют, а в ведро и сама не каплет. Верно я говорю, ребята? День в день, а топор в пень.

Воткнул его в брус и полез вниз.

– Ну, – говорю, – чего делать будем?

– Уходить надо, – отвечает мой друг. – Не то загудим.

Куда там!

Вывалился из избы, покатился к нам, как собаки за ним гнались, на бегу руку тянул: одна нога целая, другая – колесом.

– Сергей, – кричал, – Михалыч! По кличке – облапоха! Пулеметчик, плотник, пасечник, несчастный в любви человек! Деньги у вас есть?

– Какие у нас деньги? – затемнились. – Так, копеечки...

Пришагал из избы Петя, дур-человек, оскорбленно встал в стороне, а Сергей – деловито и категорически:

– План такой. Сначала гуляем на ваши. Потом на мои. Потом на Петины. Магазин открыт. Закуска есть.

И щелкнул ногтем по цыбуле.

– Да мы, – сказал мой озабоченный друг, – избу намылились купить.

– А надо?

– Надо, – вздохнули. – Ой, надо!

– Петя, – велел тут же. – Продай им свою. Я те потом другую срублю.

– Не надо другую, – сказал Петя. – Ты мне эту покрой.

– Дур-человек! – закричал. – На кой тебе эта?!
Отступись! Гниль-труха! Пущай лучше люди купят.

Задумался:

– А быстро срубишь?

– До снега станет. И крышу покрыть не надо.

Как укололо:

– Сергей! Вымерзнем! Бога побойся!..

– На печи-то? – сказал Сергей с пониманием. – На печи не вымерзнешь, хоть и без крыши. Пошли, что ли?

– Куда это? – спросили мы.

– Избу покупать. Заодно и обмоем.

И побежал вперекачку.

Мы за ним.

Дур-человек за нами.

– Чтoб те ежа против шерсти родить!...

Крыша крышей, а погулять всякому охота...

3

Мы бежали гуськом по улице, как догоняли кого-то, связки с луком бестолково мотались по шее, и бабки прилипали к стеклам, оглядывая с прищуром, сторожко и любопытно.

– Вам какую избу? – через плечо кричал Сергей. – Четырехстенку? Пятистенку? С амбаром, с горенкой, с подполом, с садом-огородом?

– А какие есть?

– А какие хошь, – кричал весело. – Молодые уходят. Старики домирают. Полдеревни заколочено. Детей и собак нету. Выбирай – не хочу!

– Хочу, – говорю. – Я тоже хочу. Нам – две избы.

– Одну, – говорит мой друг. – Нам – одну. И хорошую.

– Тогда эту.

Споткнулись:

– Как... эту?

– А так. Чем нехороша?

– И крыша целая, – с завистью сказал Петя. – Везет дуракам.

Забоялись.

Отступили на шаг.

Оглядели с сомнением.

– Шутите...

– Какие шутки! – закричал Сергей. – Входи и живи.

Еще отступили.

Забор вокруг – частым штакетником. Ворота глухие – не прошибешь. Калитка доской заколочена. И оттуда, из-за забора, – изба грузная, бревна тяжелые, окна светлые, наличники резные, крыльцо с пузатыми столбиками да дверь под замком.

– А хозяева где? – осторожно спросил мой друг.

– Нету хозяев, – ответил радостно. – Померли оба. Дочка в городе осталась, ей и заплатишь.

– Ну, – говорю другу, – игра закончилась. Это уже всерьез: входи и живи.

– Да у меня, – оробел, – и денег таких нету...

– Потом отдашь, – беспечно сказал Сергей и принялся отдирать доску от калитки.

– Сергей! – тут же заблажила бабка от ближней избы. – Безобразник! Ты чё делаешь?

– Чё надо, – ответил с натугой и ногой уперся. – Городские приехали. Избу купить.

– Да не твоя жа! Кто те просил, облапоха окаянный?!

– Продам – так спасибо скажут.

И выдрал доску вместе с гвоздями, дыры оставил глубокие, щепу отколол долгую.

– Полегче бы, – сказал вдруг с неудовольствием мой озабоченный друг. – Калитку мне попортишь...

– Я те другую собью, – пообещал Сергей. – Завтра же.

– Сергей! – заверещал дур-человек. – А крышу?!

– Подождет твоя крыша, – сурово сказал Сергей, и мы вошли во двор.

Мы шли к крыльцу, как нашкодившие подростки, притихшие и беспокойные, и ждали оклика, брани, топота ног за спиной и лая собак.

Половик лежал на крыльце.

Веничек в углу.

Скребок в полу – от грязи осенней.

Будто вышли хозяева по делам, дверь за собой замкнули, воротятся вот-вот.

– Заперто, – сказал с облегчением мой озабоченный друг. – В другой теперь раз...

– Заперто – отопрем.

И полез за ключом в потайное место.

– Сергей! – заблажила бабка через улицу. – Игрец тебя изломай! Ужо мужиков кликну!..

– Кликни, кликни, – бормотал Сергей, отмыкая тугой замок. – Так они и придут, твои мужики, – с того света, что ли? Полтора мужика на деревне: дур-человек да я...

И распахнул дверь.

– Ноги вытирайте, – сказал ворчливо мой озабоченный друг, и мы потеряли их о скребок.

Изба была пустая, чистая, сухая, светлая. Печь беленая. Стол с лавками. Божница с иконами. Чугуны, кринки, ведра, кочерга с ухватом. Под потолком висели пучки сушеных трав, и запах наплывал от них – легкий, дразнящий, полынно-шалфейный.

– Годится? – спросил Сергей.

Мой озабоченный друг так и пристыл на месте, руки приложив к горлу, медленно влажнел глазами, жилкой подрагивал на виске.

– Годится, – сказал наконец.

– Гони задаток.

Сергей сгрел деньги, не считая, в карман, сказал деловито от дверей:

– Я побег. Я мигом. В магазин и обратно. Тут недалёко: взад-назад десять верст.

– Стой, – говорю, умирая от зависти. – А мне? И мне бы такую...

– Сделаем, – заорал. – Вон их кругом сколько! Готовь гроши.

И покотил по дороге: одна нога целая, другая колесом.

А дур-человек остался.

– Может, махнемся? – сказал между прочим. – Время мочливое, а я – без крыши.

– Не махнемся, – сурово ответил мой друг. – Мне – зимовать тут.

Он и пошел с обидой.

– Стой, – говорю и дорогу загородил. – Тут кто жил прежде?

– Тебе зачем?

– Знать хочу.

– Жили... – затемнился. – Люди Божьи, кто еще?

– Знаю, – говорю с нажимом. – Баба Настя жила. Дед ее жил. Куда деда девали?

– Эва, – говорит. – Хватился! Схоронили давно.

– Да он по полям гуляет! Он по Насте тоскует! Утешения ищет!!

– А кто его не ищет? – сказал дур-человек да и пошел себе с грустью.

Тогда уж я прижал руки к горлу, жилкой задергал на виске.

– Не разоряй, – говорю другу. – Уйди отсюда. Тебе Бог не простит.

А он:

– Я тут музей сделаю.

А сам глаза прячет...

Развесили лук по избе.

Картошку нашли в подполе.

За водой сбегали.

Машину во двор закатали.

Из багажника вынули две банки тушёнки – неприкосновенный запас.

И всё молчком, как чужие.

Будто не шли дружно, не свистели согласно, не тянули одну лямку.

– Тебе не понять, – сказал наконец мой друг. – Я в этой избе, может, родился. Может, я в ней всегда жил. Умру, может, в ней.

– А я?

– А ты нет.

– Где нам... – говорю.

И присвистнул для проверки – вдруг откликнется?

– Не свисти, – строго сказал он. – От свиста дом пустеет.

И я пошел за дровами.

4

Горели поленья в печи.

Гуд шел ровный.

Теплом дышало наружу.

Горьким дымком.

Картошкой из чугуна.

Березовые поленья сгорали, как напоказ, дружно и весело, постреливая и пофыркивая с торцов, во славу огня и света.

Мой озабоченный друг бродил где-то по участку, осматривая и учитывая обретенные владения, а я сидел на табуретке посреди избы и глядел в огонь.

Легко. Грустно. Одиноко.

Печь топлю. Картошку варю. Мысли коплю.

При сухом и сыром горит.

Господи! Господи мой милый! Мне так хорошо в этом месте, в этом моем возрасте, в этих ощущениях и отношениях с миром, – так зачем же мне отсюда уходить куда-то? Где и место будет иное, и возраст иной, и ощущения с отношениями. Не хочу лучшего, не прошу разного, не желаю меняться, Господи! Оставь меня тут, теперь, одного, в тишости и благодати, а они пусть уходят,

все пусть уходят, – лишь бы дрова горели, да картошка варилась, да табурет стоял посреди избы. Уходите уже, уходите! Я остаюсь один: здесь, теперь, такой.

Но дверь уже закрипела, отворяясь...

– Идем, – сказал с порога мой озабоченный друг. – На чердак полезем.

Я дрогнул.

Дрова прогорели. Картошка уварилась. Угли пошли тускнеть и рассыпаться в золу.

– Лезь сам, – сказал я недружелюбно.

– Да я лез! – закричал. – Глаза порошит.

– Закрывай!

– Да я закрывал! Ноги заплетает.

– Расплетай.

– Да я расплетал! Лестницу отпихивает.

– Кто? – говорю.

А он – шепотом:

– Домовик...

Встал. Вытащил чугунок из печи. Слил воду. Растолок картошку. Вывалил туда тушёнку – обе банки. Умял старательно. Крышкой прикрыл. Претё поставил к углям. Заслонку задвинул. На друга взглянул.

– Пошли, – говорит. – Двоих не тронет.

– Пошли, – говорю.

Вышли в сени.

Примерились.

Полезли по приставной лестнице.

Головы сунули на чердак.

Свет из окна. Воздух прогретый. Сушь пороховая. Пол на уровне глаз. Пыль. Стружка. Помет мелкокрупчатый.

– Видал?

– Это, – говорю, – мышиный.

А он – шепотом и с почтением:

– Как сказать...

Вылезли на чердак – и обомлели.

Богатство! Старинушка! Диво дивное!!

Бегали. Вскрикивали. Рылись. Ворошили. Отодвигали и переворачивали. Головы теряли от находок.

Прялку нашли – киноварную, в розах. Самовар конусом – без краника, но с медалями. Дугу упряжную, расписную. Сундук в обручах. Светец под лучину. Фонарь под свечу. Лампу под керосин. Улей, из колоды рубленый: лётка – ртом разинутым. Кузовок, ботало, короб из луба, ведерко берестяное. Замок амбарный, литой, размеров устрашающих, с крышечкой на ключевине. Ключ к нему, как от завоеванной крепости.

– Ах! – закричал мой друг. – Ах-ах! В город свезу. На стены повешу. По углам расставляю. Хвастаться буду!!

Как ветерок шелестнул понизу.

Пылью сыпнуло в глаза.

– Не! – закричал. – Тут оставлю. С места не трону. Как есть, так и будет!

Библию нашли, мышами погрызанную. Рамочки узорные, без фотографий. Пузатое стекло ламповое – с вензелями. Иконку, к брусу прислоненную. Складни медные с ликами затертыми. Вязочку старых документов: с гербовыми печатями и завитушками писарей. Фотографии: строем, навтыжку, вытарашенными глазами на нас, похитителей.

– Это моё, – сказал расслабленно мой ублаженный друг и уселся на пол посреди богатства. – Это я всё купил. Вместе с избой.

– А никто и не спорит, – говорю с обидой.

И к окну отошел. К заговоренному.

Стою, стыну, тоской наливаюсь, лбом липну к прогретому стеклу.

Как путь свой увидел: теперь и надолго.

Поле на километры – увалистой желтизной.

Дорогу от деревни – увилистой лентой.

Через лес. Через реку. Через пространства непролазные. В дальние дали, за закругления земли.

Зовите меня – Пришей-Пристебай.

Зовите меня – Ваша Невезучесть.

Человек, Перед Которым Закрываются Двери – так теперь зовите меня.

Не мне и не моё.

– Я тут теперь спать буду, – сказал счастливо мой убаженный друг. – Проснусь, погляжу, рукой трону, – дальше засну.

Спустился по лестнице.

Вышел со двора.

Прошел по улице пяток домов, до чьей-то калитки заколоченной.

На лавочке напротив сидел мальчонка в картузе, внимательно глядел в миску с водой.

Перешел дорогу. Сел рядом. В миску заглянул.

На дне лежала сырая картошка.

– Ты чего это? – говорю.

Не отвечает. Разглядывает терпеливо. Дышит затаённо.

Глянула из окна женщина – вида городского, поздоровалась, сказала со смешком:

– Срук не сходит. Намучалась. Сиди, говорю, жди, когда картошка всплывет. Он и сидит смирно.

– Вы, – говорю, – кто? Дачники?

– Не, – говорит. – Мы тут дом купили.

Сидим вместе: я и мальчонка. Он глядит в воду, я – на дом напротив, пустой, заколоченный, под продажу готовый. Амбар при доме. Хлев. Скворешник на шесте. Яблони с грушами. Дров – поленница. Подсолнух у забора голову опустил, как задумался. Пойди да купи.

Мальчонка сидит, и я сижу.

Зачарованные.

Завороженные.

Когда же она всплывет, наша долгожданная картошка?!

Встал. Перешел дорогу. Приподнял подсолнух.

Всё поклевано птицами...

Бежал по деревне Сергей-облапоха, волок на отлете тяжеленную канистру с промятыми боками.

– Я мигом! – кричал. – Я бёгом! В Грибановке водки не было! Я – в Анашкино. И там нету! Я в Шурино, я в Сосновку, я в Глубокое – на пивзавод. Взад-назад – двадцать верст. Вот он я, туточки, – залил по горлышко!

– А канистра откуда?

– Из-под бензину. Мужики дали. Но я сполоснул... Запах гулял по избе.

Смачный, мясной, уваристый.

Запах притомившейся картошки с говяжьей тушонкой.

Живот подтянуло к ребрам. Слюну выжало. Кишки перекутило узлом.

– Дразнится... – сказал Сергей и потянул носом. – Я мигом! Я за гостинцами.

И убежал куда-то.

А я стол вытер. Табурет придвинул. Тарелки сыскал с ложками. Сел с уголка.

Спустился с чердака мой ублаженный друг, босиком, рубаха поверх штанов, сглотнул с удовольствием:

– Много едим. День нынче обжорный. Это хорошо.

Но я не ответил.

– Картошки запасу. Капусты квашеной. Масла постного. Дрова есть. Соль-спички куплю. Чего еще надо?

И опять я не ответил, только задышал шумно.

Спыхватился:

– Ты ко мне приезжать будешь. Кой-когда. По большим праздникам.

– Не буду я к тебе приезжать, – сказал я с обидой. – Я себе свою куплю. Почисти этой.

Изумился:

– Тебе-то на кой?!..

И уязвил до слез.

Прибежал Сергей: гостинцами полны руки.

Белая рубаха под пиджаком. У воротничка уголки вместе. Волосы намочены и приглажены на сторону.

– Вот он я, мужики!

Сели. Помолчали. Стол оценили.

Канистра с пивом. Чугун с картошкой. Лук хрупчатый. Огурцы. Грибки – рыжики. Меду – миска. Можно начинать.

– А пить из чего?

Огляделись.

– А из кринок.

Сдвинули. Разлили. Чмокнули в предвкушении.

– Это по какому же праву вы тут гуляете? – с угрозой спросил от порога дур-человек.

Был он теперь при шляпе. С топором. Глаз щурил официально. Для устрашения и солидности.

– Садитесь, – говорим. – Присоединяйтесь. Вот и вам кринка.

– Не нуждаемся, – говорит. – Избу чужую заняли и гуляют. Будет доложено куда надо.

– Петя, – по-доброму попросил Сергей. – Не лупись, Петя. Сядь лучше за стол, выпей с народом.

– У народа, – ответил оскорбленно, – крыши над головой нету. Народ от дождей страдает.

И вышел из избы.

– Чтоб те дождю, – пожелал Сергей, – да в толстую вожжу!

С тем и выпили.

Хорошее пиво, свежее, пахучее, хмельное: в городе такого нету. И картошечка не хуже: сочная, разваристая, с жирком да с парком, – на газу так не уварить. И огурчики малосольные. И грибочки хрустящие. И компания что надо.

– Медку покушайте.

Покушали и медку.

– Зря вы так, – сказал благодушно мой утешенный друг. – Без крыши всякому плохо.

– Да я! – вскинулся Сергей. – Да с радостью! Всея деревне перекрывал! Лучше меня и плотника нету! Я тебе честно скажу: руки отпали, душа не лежит. Изба у него – гниль-тля расщелястая, венцы сопрели, брус спарился, – на дрова раскатать, и только... – Огляделся, сказал мечтательно: – Твою бы я покрыл... Хоть теперь.

– Не надо, – быстро сказал мой друг.

– Тебе не надо, – буркнуло за окном, – другим надо. Вот я на вас в милицию пожалуюсь. Приедут – заберут.

– Давай, – беспечно сказал Сергей. – Заодно и избу покروют.

Отошел с ворчанием.

Выпили по второй кринке.

В животах затяжелело, в головах полегчало.

– Петя, – позвали. – Приди, выкушай по-хорошему.

– Еще проверить надо, – ответил из невидимости, – откуда у вас деньги такие.

И топором по стене пристукнул.

Картошечка шла – лучше не надо. И огурцы с грибами: только подкладывай. Чмокали, хрустели, отхлебывали из кринок, получали удовольствие от жизни.

– Ой, – говорю, – смотрит!

Дур-человек прилип к окну, глядел страдательно на богатый стол, провожал взглядом каждый кусок.

– Обижаете, – сказал оскорбленно и исчез снова.

Налили кринку до краев, навалили картошки в тарелку, открыли окно, поставили ему на подоконник, луковицу добавили.

– Не нуждаемся, – гордо сказали оттуда. – Заदेशево не купишь.

И кринка исчезла с окна.

Зачмокало, засосало с жадностью: теленком у поила.

– Сергей, – сказал, отдуваясь, – пять тебе минут на сборы. Иначе хуже будет.

И картошка исчезла с окна. За ней луковица.

– Хуже не будет, – хвастливо сказал Сергей. – Хуже уже было. Меня немец поклевал из пулемета – тебе, Петя, и не снилось.

– Слыхали, – сказал без почтения невидимый Петя, давясь обильной пищей. – Что было, то было. А за теперешнее – ответишь. Нету такого права – народ без крыши держать.

И тогда Сергей побурел, встал во весь рост, снял пиджак, рубаху через голову потянул, шов показал страшный, глубокий, от бедра к плечу, как наискосок прострочено.

– Двадцать три пули, – сказал гордо. – Доктора не поверили. Всем госпиталем считали. Ну да я их тоже поклевал, фрицев этих, всласть из пулемета.

И сел к столу так, без рубахи.

– А не страшно было, – спросил мой друг, – людей убивать?

– Так я же не видал вблизи, – ответил обстоятельно. – Метров с восьми сот, не меньше. Как пойдешь строчить, они и лежат.

– И сколько их было?

– За войну-то? Да пару, пожалуй, сотен...

Мы дрогнули. Поглядели на него внимательно.

– Я рази хотел? – сказал он на это. – Чего он на меня бежал? Сидел бы себе дома, пиво пил, картошкой закусывал...

– Сергей! – вскрикнуло за окном. – Заосеняло! Мокреть развело! Как дома сидеть?!

И посуду на окно выставил – за добавкой.

– Сделаю я тебе крышу, – сказал Сергей без удовольствия. – Зубы стисну – и сделаю.

– А когда стиснешь?

– Скоро уже. Дай пиво допить.

И разлил по-новой из полегчавшей канистры.

– Скоро уже, – повторил с сожалением дур-человек. – Половину опростали.

И присосался с шумом к литровой кринке.

Цыбулей захрупал.

Позудел чего-то – не разобрать.

– Можно еще сбегать, – предложил Сергей. – В Глубокое, на пивзавод. Я хоть сейчас.

– Чтоб тебе другую ногу колесом согнуло, – пожелал от души невидимый Петя. – Бегать тогда не станешь.

– Я быстрый, – похвастался. – Я затажной. Прихвачусь – и пошел! В покосы, бывало, парнишечкой, за тридцать верст к девке бегал. Косой намахаешься, водичей ополоснешься – и побег, на всю ночь. А она уж стоит, выглядывает, груди от ожидания ходуном ходят. Покурлыкали, поиграли – и назад, еще тридцать верст. Пока добежал – утро, время опять косить. Я и не спал ни чуточки.

Затуманился.

Слезой в пиво капнул.

– Вы видите перед собой несчастного в любви человека. Батя узнал, велел тутошнюю брать, из деревни. Сорок лет грызет, без передыху. Идешь домой, а она уж стоит, выглядывает, пузом от злости трясет.

– Так тебе и надо, – без жалости сказал Петя и кринку возвратил на место. – В другой раз не побежишь.

– Где он у меня, другой раз?

И разлил всем по-быстрому, остатки разложил из чугуна.

Выпили. Доели. Ложки облизали. Петя позудел за окном басовито и недовольно, потревоженной синей мухой, а там и он затих.

Тишь по деревне. Теплынь несмелая. Покой глупинный. Закат в облаках.

Сидим. Млеем. Дремотой наливаемся.

Тут зашумело вдруг поверху, над головой, сапогами затопало по крыше.

– Эй, ты чего?

А Петя оттуда – торжественно и злорадно:

– Сергей, – говорит. – Ты меня на обман взял. Теперь мой черед. Вот я вам избу раскрою, чтобы неподводно было. Пускай всех замочит.

И застучал топором.

– Раскрой, раскрой, – беспечально разрешил Сергей. – Раскроешь – им и покрывать буду. Не тебе первому.

Петя взвизгнул.

Топор пролетел мимо окна и врубился в землю.

За топором спланировала шляпа.

Потом мы увидели, как он забегал по двору, ногой пинал деревья, стены, машину, вымещал неутоленную злость.

– Безобразие, – сказал с задержкой мой ублаженный друг и сполз с лавки на пол. – Дом портят. Убытки приносят. Хозяйство разоряют.

Был он уже пьян – от пива и от переживаний.

Лежал на спине, раскинув широко руки, кричал чванливо в потолок:

– Это кто же лежит? Да на чем же полу? Да посреди чьей же избы?!..

И заснул тут же – головою под лавку.

– Всё, – сказал Сергей. – Слетел с копыток.

Разлил теперь на троих, поровну, перевернул канистру, постукал ладонью по гулкому боку.

И тогда Петя натянул шляпу по уши, подошел решительно к окну, выпил махом свою порцию, сказал сурово и официально:

– Нож дайте.

– Какой тебе нож?

– Консервный. Я вашу машину вскрою: нехай протекёт. Как мне, так и всем.

– Вскрой, вскрой, – разрешил Сергей. – Я ее тёсом покрою. Тёс-то почище железа, его ржа не берет.

И Петя пошел со двора, несчастный, посрамлённый, опустив поникшие плечи.

– погоди! Дур-человек! Шучу жа!..

Но тот не обернулся.

– Ладно, – говорю. – И без него хорошо.

– Ты что! – всколыхнулся. – Ты кто?! Вы завтра умотаете отсюда, – с кем пить-то буду? Полтора мужика на деревне: помрет ненароком – осиротею, облапошить некого...

И покатил из избы.

Я – за ним.

Догнал на улице, попридержал у калитки.

– Эй, – говорю, – а со мной как? Покупать избу или не надо?

– Которую?

– Да хоть эту.

Поглядел на меня прямо, неотрывисто, сказал потом без утайки:

– Я тебе честно скажу, чуж-человек... Тухлое это дело. Тебя домовик не примет. Он тут капризнай! – не приведи Господь.

– А в другом доме?

– И в другом не примет. Станет прокудить – сам из избы уйдешь.

И попылил следом за Петей.

Одна нога целая, другая – колесом.

А я на месте остался.

6

Гнали по домам стадо.

Пастух кнутом щелкал.

Коровы пыхтели, отдувались, пахли травой.

Женщины стояли у ворот, окликали певуче, по имени, а те мычали в ответ, густо, напоённо, важно кивали головой, как соглашались милостиво.

Одна прошла рядом, боком меня огладила, глазом
осмотрела в упор.

Я и пошел за нею...

Мальчонки на лавке уже не было.

Миска стояла с водою, но без картошки на дне.

Уж не всплыла ли часом?..

Сунулся лицом в щель заборную, дом оглядел зако-
лоченный, свой уж почти что, заблажил вдруг в голос:
душа на ладони, сердце на языке.

– Дедушка! Дедушка-домовик, прими! Я к тебе с
почтением, я к тебе с пониманием. Станем вдвоем веко-
вать: ты хозяин, я квартирант. Чердак – тебе, амбар –
тебе, хлев с подполом – тоже тебе. Дозволь в сторонке,
дозволь с краешка: у окна сидеть, печь топить, кар-
тошку варить, в огонь глядеть. Дедушка, не гони!
Может, и я пригожусь! В лес пойду, сухостою нарублю,
стану приносить домой по лесине. В поле пойду, трав
наберу духовитых, насушу, разложу по лавкам. К речке
схожу, песку нагребу, чистого, крупного, полы ототру
до чистоты дерева. Дедушка-домовик, пусти! Вот он я,
дедушка! Весь тут!!

Поддуло фырчливо понизу.

Дослепу запорошило глаза.

Без жалости отворотило от забора.

– Ах, дедушка, дедушка...

Позакрывались ворота по деревне.

Позажигались огни.

Затенькало проворно по подойникам.

Запахло варевом.

Потянуло ветерком.

Я шел обратно в закатных смерканиях, задавлен-
ный и порушенный, ноги волочил за собой.

Пришел в избу, зажег свет, без сил привалился к
двери.

Запахи кислые. Обьедки скользкие. Канистра
боком. Разор на столе.

Мой убаженный друг стоял на коленях посреди избы, качался, лбом стучался об пол:

– Дедушка-соседушка! Батюшка-хозяйюшка! Прости великодушно!..

– Надо же, – говорю. – Что пиво с человеком делает.

Поглядел на меня кротко да отвечает:

– Рубаха у него красная. Борода у него серая. Ладони у него мохнатые. Брови густые. Ноги кривые. Голос глухой. Рукавицы на веревочке, через шею, чтобы не потерять. Домовик – тот же леший, только что обрусел.

– Ты почему знаешь?

– Беседовали, – говорит. – Как с тобою.

– И что?

– Лютовал. Ногой топал. Щипался. Синяков мне наставил. Не чванься. Не строй из себя. Не пакости в доброй избе. Угощенье оставляй дедушке. Купил дом – так и с домовым.

Обошел вокруг, оглядел с пристрастием.

Не плывет, не парит, не бурлит и не взмывает, не выигрывает чувствами, не воркует из забытья, не взвывается от восторгов из глубин опьянения.

Холодный и рассудительный.

– Уходить тебе, – сказал буднично. – До ночи чтоб не было. Так и припечатал.

– А тебе?

– Мне – оставаться. На испытательный срок. Умолил еле. Зарок дал. Кару наложил. Дедушка-соседушка, не гневись!

Сел на лавку. Канистру отодвинул. На друга поглядел.

– Тебе, – говорю, – не прижиться. Не подладиться. Не срастись по сколу.

А он:

– Приноровлюсь. Прикиплю. Проживу и с трещиной.

- А я?
- Ты для них – с души тёмен.

Помолчали.

- Машину дашь?
- Зачем тебе машина?
- До дома доехать.
- Она же не заводится.
- Подтолкнете – заведусь.

– Не дам тебе машину, – сказал твердо. – Я из нее конуру сделаю. Кобеля посажу. Посторонних отваживать.

Посидели. Друг на друга поглядели. Расходимся – навсегда, может, а сказать нечего.

– Имей, – говорю, – в виду. Нынче – повышенный спрос на покой. На это нас и берут. На это покупают. Душа, – говорю, – при тебе?

- Тебе на что?
- Интересуюсь.

Затемнился:

– Какая нынче душа?.. Нету никакой души. Позакрывали вместе с церквями.

Говорить не о чем.

- Проводишь?
- Куда?
- До околицы.

Помолчал.

- Не велел он.

Я вышел на улицу, потоптался, оглянулся на дом.

Мой единственный друг глядел на меня с чердака в последних закатных отблесках, слабо белел лицом.

Тут, внизу, была уже ночь, залитая поверх голов – не вынырнешь, там, наверху, у заговоренного окна, можно еще было на что-то рассчитывать.

- Привет, – говорю.

Молчит.

Присвистываю.

Не отвечает.

Кидаю затравку:

– Мне не спится, не ложится, всё по милому грустится...

На игру не идет.

Беру на интерес:

– Буду в Италии, буду и далее. Буду в Париже, буду и ближе...

Беру на жалость:

– Я в пустыню удаляюсь от прекрасных здешних мест...

Беру на обиду:

– Сумел меня взять, сумей удержать...

Молчит. Глядит. Не откликается.

Его игра кончилась.

Пошел по деревне. В обратную дорогу. По сторонам не гляжу.

Уныл я пред Богом своим...

Топот сзади.

Дыхание запалённое.

Бренчание странное.

– Стой! – кричит.

Набежал.

Руку тянет.

На ладони – ботало.

Листовое, с окалиной, размером с яблоко, в кузне сработанное, с лепестками понизу и железякой внутри.

Качнешь – брякнет.

– Это тебе, – сказал грустно мой единственный друг. – Брякнешь – услышу. Знать буду, где ты.

И назад пошел.

Разошлись – руки не подали.

Постеснялись, что ли?..

Двое приникли на лавочке. Рядком. В темноте. Забиженными сиротками. Перед избой без крыши. Тянули густо, тягуче, без передыху, как звездам жались. Сергей начинал, Петя подхватывал.

Я уж куда отшагал, за край поля, во тьму-тьмучую,
а их всё слышно.

Гудение нутряное.

...бывалыча гости, бывалыча гости...

...были совестнаи, были совестнаи...

...а теперича гости, а теперича гости...

...всё бессовестнаи, всё бессовестнаи...

7

На станции густела толпа.

Ждали поезда.

Опытные люди уверяли, что откроют всего лишь
один вагон, а какой – знать этого не дано.

Волновались.

Строили предположения.

Перебирали от нетерпения ногами.

Самые хитрованы – по одним им известным призна-
кам – держались сторонкой у заветного места.

Набежал тепловоз.

Покатили запертые вагоны.

Проплыл поверху важный проводник с фонарем в
единственной раскрытой двери.

– Вон! Эвон!..

И все рванули наперегонки.

Лезли. Давились. Тискались. Пихались локтями и
коленками. Наступали без пощады на ноги. Какой-то
мужик перекрутил над головой кошелку с бидонами, и
оттуда текла на головы густая, тягучая жижа.

Нюхнул – варенье.

Вишневое.

С косточками.

С боем пробились в вагон, похватили места, огляде-
лись затравленно.

Кресла мягкие. Подлокотники удобные. Подголов-
ники чистые. Мест свободных полно. Кати – не хочу.

И мы покатали.

Липкие. Засахаренные. В вишневом варенье.

Вагон был состыкован с тепловозом задом наперед, и нас уносило в ночь, на сумасшедшей скорости, с посвистом разбойничьим: лицами в прошлое, затылками в будущее...

Сидели через проход двое доходяг, разламывали на колене плавленный сырок «Дружба», разливали по стопочкам одеколон «Цветочный».

Увидели мои глаза.

Перешепнулись.

Поколебались самую малость.

– Отлить?

– Отлейте.

Зажал нос.

Попридержал дыхание.

И залпом снял напряжение всей прожитой жизни...

ЭПИЛОГ

Осталось досказать немного...

Веня-каженник, мечтатель владимирский, нежный лирик, загульная, тоскующая душа, – это он сказал как-то ночью, в избе у дьякона, на исходе ведерной канистры с пивом: «Сталин-то... Слыхали, как помирал? Надел форму генералиссимуса, приколот ордена-знаки до пояса, лег на кушетку, руки сложил на груди и помер». А дьякон, человек крестьянский, затаенной в работе, истовый в вере, ласковый с детьми, подтвердил со знанием: «Всё так. Верно говоришь. Только позвал прежде священника и причастился перед смертью». А жена дьякона, рыхлая, одышистая, замученная детьми да хозяйством, добавила тут же, с восторгом и невпопад: «Видали? По телевизору... Я тучка, тучка, тучка, говорит, а вовсе не медведь...» Это Веня-каженник сказал мне ночью, возле избы дьякона, глядя на мелкие звезды и

облегчаясь после пива: «У него хоть вера есть. А у нас чего?..»

Веня-каженник умер с перепоею, сорока еще не было.

Сергей Михалыч – пулеметчик, облапоха переславский, водил нас в порушенную церковь посреди деревни, откуда он самолично уволок когда-то мебель из алтаря. Провел на колокольню, бухнул в одинокий колокол, и изо всех изб посыпались на двор старухи, клюшками загрозили в небо, заругались на непутевого. В колокол бьют нынче, когда умирают, – других причин нету. Руки имел золотые, прикладистые, но работать уже не хотел, потому как нагорбатился в колхозе забесплатно и вкус к работе потерял. Закатывался с нами по своякам, на полный день, из деревни в деревню: везде ставили угощение. Непомерную сковороду с яичницей. Картошки жареной. Грибков соленых. Огурцов с помидорами – по сезону. Хлеба магазинного. Непременную бутылку. Мяса нигде не было. Колбасы – и не нюхали. Колбасу мы привозили с собой, по батону на избу: царский дарили подарок. Друг мой упивался тут же, я не пил – за рулем нельзя, а Сергей Михалыч за долгую гостьбу принимал самогону под два литра, да пару бутылок магазинной, да напоследок еще останавливал нас у сельпо, брал деньги, шустро бежал за красненьким, чтобы было чем закончить вечер...

Сергей Михалыч слег в параличе, может, и не жив теперь.

Баба Настя, красавица суздальская, нас не дождалась. Висел портрет в избе, с довоенных еще времен: лик чистый, овал нежный, благородство с пригожеством, и взгляд изнутри такой, как душа наружу просится. Таких глаз я нигде больше не встречал, да и не встречу, наверно, уже никогда. «Как умерла, – сказал дед, – я ее к стенке отворотил. Чтоб не глядела...» И заплакал текучей слезой. Дед жил один. В просевшей избе. В бедности и запустении. Дочь у него маялась в городе, убор-

щицей при больнице, с детьми, с мужем-выпивохой, помочь отцу не могла, Да он, верно, и не просил. Дед кончал на заре века приходскую школу, малярничал с отцом в Москве, вкалывал в колхозе, потом в совхозе, сорок почти что лет, пенсию получал по старости – четырнадцать целых рублей. Было у него зато две курицы. Яйцами кормился да еще огородом. Картошку сажал – ползком по гряде. Ползком ее и собирал. Рад был нам, яиц наварил к столу, водочки нашей хлебнул, мягчел на глазах: «Вроде, опять жить захотелось...» Деду мы оставили на прощание весь свой мясной запас. Развздыхался, брать не хотел, перекрестил напоследок с порога. Дом его помню. Деревню. Лужу на дороге. А имя позабыл. Так и оставаться ему – безымянным. Дед суждальский, муж бабы Насти.

Коля-пенек, механизатор калязинский, так и работает, должно быть, на комбайне, добывает всё то же поле, если уже не добил. Это у него в хлеву валялись дохлые, окаменелые с мороза бараны, списанные в колхозе, собака на цепи грызла лениво ближнего из них да отплевывалась шерстью, а в углу стояла доска со шпонкой, привораживала глаз. Отвернули ее от стены – и хлев осветило. Праздники. Клейма. Четы-Минеи. Календарь живописный. Обилие подробностей. Густота фигур. Монахи. Цари. Воины и юродивые. Тонкое письмо. Чудное разноцветье. Жар изнутри. И только края скисли в сырости, заершились уже шелушинками. «Последняя, – сказал Коля. – Забирайте, пока не пожег». И ухмыльнулся снисходительно на двух дураков. А трактор стучал без передыху под окнами: он его и не глушил вовсе. Не уверен даже, глушил ли он его на ночь.

Степа-позорник, дребезга рязанская, подался в зятя к утешенной вдовушке, терпеть покорно тычки-попреки. Это он водил нас в сельсовет, к председателю, отхлопотать пенсию побольше. «Я людей из Москвы вызвал, – говорил важно. – От службы оторвал...» А председатель глядел тускло на двух столичных штучек,

мятых, драных, трепаных, с ружьями за спиной, соображал туго: то ли милицию звать, то ли шапку ломать.

Старшины-сверхсрочники, души смазные, попались нам в плоскодонке, ночью, на разливе Оки. Лодочник пьяный. Мотор скис. Борта вровень с водой. Народу в лодке битком. Куда ехать – неизвестно. Ноги мокрые. Вещи отсырелые. Ветер пронзительный. Судорога по воде. Потонем – и знать не будут. Помню еще, наварили мы с ними ведро картошки, истолкли с тушёнкой, хозяин принес с погреба мятые соленые огурцы, авоську с бутылками пододвинули. Старшинам мы не показали: мало пили, много закусывали.

Бабка с хлебами жила под Угличем. Лампа висела посреди избы, с потолка и до пола, медная, керосиновая, надраенная до яркости, невозможных размеров и красоты. Словно Жар-птица хвост свесила. Попросили продать – внуку обещано. Попросили хлебушка – накормила досыта. Подарила зато иконку – деньги грех брать. Подарила стекло ламповое, старинное, с вензелями поверху. Так и шли потом по деревне: у одного икона в руках, у другого – стекло от лампы. «Блаженные», – умилялись из окон старухи. А может, это было не под Угличем? Может, это была Колокша? Теперь не припомнить.

Сеня-обмылок, каличь борисоглебская, проскакал мимо нас на кожаной подушке, ухоженный, умытый, обстиранный, и даже подушка была надраена до блеска, должно быть, кремом для обуви. Шла возле него нестарая еще женщина, строго глядела перед собой, голову не воротила на липучие взгляды, руку держала на его голове. Поворотили за угол, сгнули, зацепились в памяти.

Кто еще?

Терешечка, гуляющий детинка с озера Мстино, год получил за бродяжничество.

Вася-биток, производитель вышневолоцкий, работал шофером в доме отдыха, не оскудевал силой.

Петя, дур-человек калужский, позабылся в подробностях, как и не существовал вовсе. Это он сказал вроде: «У нас тут две церкви: Георгия на Верху да Клары Цеткин». А может, и не он.

Избу мою, облюбованную, из села Покровского, продали кому-то: я еще там был, ждал разрешение на выезд, – застонал, как сказали.

Друга не увидеть.

В деревню не съездить.

Хлеба не поесть.

Остался складень, медный, литой, лики на нем за-тертые кирпичом толченым: их умывали под праздни-ки.

Складень не выпустила таможня.

Остался казак на коне, из крашеного дерева: неле-пый, длиннолицый, долгоносый и густобровый, с ружьем за плечом, с кожаной уздечкой, прибитой гвоз-диком к лошадиной морде.

Казака провез обманом.

Осталась Библия с чердака, мышами прогрызан-ная. Библию отреставрировали за мой счет, листы подклеили папиросной бумагой, одели в переплет.

При выезде оценили ее в двадцать пять рублей.

– За что? – говорю. – Она же моя.

– Вашего тут ничего нет, – ответили сурово.

– Да она бы сгнула на чердаке! Это я ее спас!!

– Гражданин, не нарушайте естественный процесс.

Пошел. Заплатил. Вывез.

На таможе их было пятеро.

Кожедёр, Сучий Потрох, Худой, Дранный и Пасть-порванский.

– Это зачем? – и брякнули боталом.

– Корове, – говорю, – привешивать.

– У вас там будет корова?

– Как знать...

Посомневались. Посовещались. Кликнули началь-ника. Зыристого мужичка с пузатым портфелем.

– Так, так, – сказал укоризненно. – Лежал, лежал, сорвался да побежал. Попрошу отгадку на выезд.

– Не знаю, – говорю. – Я, что ли?

– Снег, – хохотнул. – После зимы. А ботало мы вам не выпустим. Железяку прежде вынем. Не положено по правилам, чтобы в багаже брякало.

Отогнули лепесток, вынули железяку, и ботало замолчало.

Лежит у меня на полке, не бренчит больше, сколько его ни качай.

Будто голос потеряло при переезде.

И друг мой уже не узнает, где же теперь я...

И е р у с а л и м
1982–1983

Несломленная Польша на страницах «Русской мысли»

I

(Декабрь 1981 – декабрь 1982)

Сост. Наталья Горбаневская

Париж, 1984. Издание «Русской мысли». 276 стр. Цена 30 фр. фр.

Первый выпуск – первый год «польско-ярузельской войны»

Сжатое воспроизведение еженедельных обзоров польских событий, основные аналитические статьи, тексты из польской подпольной прессы.

Малый формат и тонкая бумага позволяют этой книге стать лучшим подарком для ваших друзей на родине.

Заказы направлять в редакцию:

La Pensée Russe, 217 rue Fb.-St. Honoré, 75008 Paris.

«СКОРО ОСЕНЬ...»

* *
*

Начало октября. Начало Страшных дней*.
Тем, кто не молится, должно быть одиноко.
Невыносимо душно. Марев. Сирокко.
Скучает Рок. Балует суховей.

Пустые улицы – как вылизала тать.
Из синагог распахнутых назойливое пенье.
Все нарастает, крепнет, требует прощенья.
А я – один. И братства мне не знать.

Как талый снег белеет вдалеке
Созревший хлопок. Поднимаюсь в горы.
Там, за ручьем, меж елей, в тупике,
Краду любовь. Свободны только воры.

Вся жизнь – побег. Лечу на всех парах!
Но неподвижен замок у подножья.
Любовь – предубежденье. Совесть – страх.
А жалость неразрывна с ложью.

Все ж выше – легче. Наполняю грудь
Врывающимся воздухом бездомным.
Начало октября всегда приносит грусть
С тяжелым, пыльным ветром переломным.

* Страшные дни – дни в еврейском календаре от Нового года до Судного дня.

* * *

*

Паруса на горизонте,
Клубы пушечного дыма
Из игрушечных фрегатов
На батальном полотне...

Или вдруг засемили
С гор овечьи отары,
Грязно-белый и кудрявый
Тонкорунный молодняк...

Это небо пробудилось
Наконец от синей спячки,
И навязчивые грезы
О летучих облаках

Стали явью. Слава Богу,
Скоро осень...

* * *

*

Передают: в Шомроне выпал снег.
Взбесилось небо – тучи, громы, ветры.
А мы на радостях мотаем километры,
Все репетируем – в который раз – побег.

Нависла тьма, как злоба божества.
Бессильная, далекая, пустая.
И радостная, тускло-золотая
Блестит на солнце мокрая листва.

Вот-вот потоп. Час страха и любви.
По полю, по траве промчалось дуновение.

И я почувствовал, что вот оно, мгновенье!
А после – хоть часы останови.

Дождь бьется об стекло, как пойманный птенец,
Тревожит, дразнит небылью и былью.
Начала нет – не страшен и конец.
И пахнет счастьем, холодом и гнилью.

* *
 *
 *

В деревне нашей нынче Судный день.
Все на собрании. Подводятся итоги.
Вон старичок со шляпой набекрень
Засеменил к соседней синагоге.

Обрыдли карты. Сука-скука. Лень.
Детишки с камушками вышли на дороги.
На этот счет тут строги, очень строги.
Так что не рыпайся, милоч, соси жень-шень.

А день хорош. Пожру вот и пройдусь.
Уже пора осенняя настала,
Пробилась рыжина. Напоминает Русь...
Чего хихикаешь, свинины не видала?

ВАЙМАН Наум – родился в 1947 году в Москве. В 1970 окончил Московский электромеханический институт. С 1978 года в Израиле. Публиковался в журналах «22» и «Сион», а также в различных израильских еженедельниках. Автор сборника стихов «Из осени в осень» (1981 г.).

В ЗАЩИТУ ПОЭТА ВЛАДИСЛАВА ЛЁНА

В Москве 18 июля 1984 г. на квартире известного русского поэта и ученого, редактора альманаха «Новая русская литература» Владислава Лёна в очередной раз был произведен сотрудниками КГБ *обыск*: были изъяты стихи Владислава Лёна, проза, научные работы, большая часть его литературного и научного архива, все книги, изданные за рубежом на английском, немецком, французском языках, все книги стихов, в том числе – поэтов XIX века.

Преследование поэта Владислава Лёна продолжается уже 12-й год – в 1973 г. при обыске в одном Московском учебном институте КГБ изъял машинописную книгу стихов Владислава Лёна «Крест» и, хотя двойная экспертиза Института мировой литературы АН СССР и Института истории искусств Министерства культуры СССР квалифицировала ее как аполитичную, чисто лирическую книгу стихов, Владислав Лён был уволен из академического института, где он успешно занимался проблемами экологии и литоэкологии, защитил вначале кандидатскую, а затем докторскую диссертации, опубликовал на родине более 70 научных работ. В 1981 г. Владислав Лён был вновь уволен с работы, он обвинялся в редактировании альманаха «Новая русская литература», который является чисто литературным журналом, без какого-либо касательства политики, что подтвердила даже внутренняя экспертиза КГБ (эксперт – майор Георгий Иванович Борисов). Тем не менее, и в 1984 году, «году Орвелла» преследование большого деятеля русской культуры, которая в 1988 году готовится отметить свое 1000-летие, Владислава Лёна продолжается.

Владислав Лён является автором семи книг стихов, двух романов, пяти пьес, нескольких крупных исследований по экологии, методологии науки и системному подходу, по методологии и теории поэтики.

(Получено от друзей В. Лёна)

Россия и действительность

Эдуард Кузнецов

О ТОМ, КАК МЕНЯ САХАРОВ ОБОГРЕЛ

«Неужели Ты погубишь, и не пощадишь места сего ради пятидесяти праведников в нем?.. Он сказал: не истреблю ради десяти». – Бытие, 18 : 24, 32.

Вот, например, Ахматова в двухтомнике Л. Чуковской. Кому – новые смыслы, иные прочтения известных строк, а другому – не только это. «Анна Андреевна жила, замороженная застенком, требующая от себя и от других неотступной памяти о нем, презирующая тех, кто вел себя так, будто его и нету»*. По мне, это ставит Ахматову в очень особый ряд, и слова Мандельштама о поэзии ее – «символ величия России» – обретают первичный смысл – нравственный.

Так, склонен думать, по-разному чтут святого румяный служитель культа и доходяга-прокаженный. Одному агиография лучится деяниями во славу и укрепление церкви, другому житие – тлеющее надеждой повествование об исцелении язв. И хотя вполне прав только третий – синтетик, которому все значимо, – я все же говорю: то, что Сахаров – ученый, для меня не суть важно. Ученых полно... По лагерному присловью: народу много, да людей мало.

* Л. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Т. 1, стр. 9.

А теперь – о голодовке.

*Начальнику лагеря майору Рукосуеву
з/к Горемыкин*

Объявляю смертельную голодовку, потому как без сапог пропавши.

Всем дали сапоги, мне не дали сапоги, прошу выдать сапоги. Заявление.

Другой объявляет голодовку, требуя срочно изменить конституцию или, там, демонтировать все советские ракеты.

«Голодай, голодай, – ободряют ключники. – Скопытишься – никто и не почешется». Это верно, как правило. Но – где логика, и – где отчаяние? До нее ли, когда иссякли запасы терпения?

Лагерная неволя многолика, и каждый лик ее клыкаст на свой лад. Я сейчас о том, который грозит душе распадом и смертью.

Ежечасно, изо дня в день, годами и годами зэка пребывает во всеильной начальственной длани – то слегка придавит его, то отпустит на малый миг, чтобы потом ущемить еще больнее, а восхочет, так и вовсе расплющит, раздробит в мелкие дребезги, размажет в слякоть... И, думается, в этом один из первейших начальственных уроков стране, изрядная часть населения которой так или иначе пропущена через лагерную душедробилку-душегубку. Власть затем безоглядно цинична, что чем безоглядней, тем скорее должна перед ней преклониться в трепете всякая душа, осознать себя ничтожным прахом. И, заметил я, это работает.

Но голодовка, чем бы формально она ни мотивировалась, зачастую – отчаянный побег от начальственного всевластия, крепость, в которой на время укрывается измочаленная до смерти душа: отлежаться, зализать раны, укрепиться в самости своей. И начальники с начальничками нутром чуют эту побегушную суть голо-

довки. Хоть и не устают поощрять тебя («Давай, давай – быстрее коньки откинешь»), но это скорее инерционный бормот, к каковому положение обязывает, – глаза же их сочатся тайным раздражением: раб вдруг выпал из рабства, перестал дрожать, отказался от первейшего лагерного пряника – хлеба, – и сам подставился под главный лагерный кнут – голод. И... как с ним быть? Если глух к зову пряника и не страшится кнута (хоть на самую малую толику времени), то... как же так? Вся чекистская вселенная начинает опасно крениться... Впрочем, как для Пифагора «нет ничего без своего числа», так для чекиста нет никого без своего страха – и скоро он, вместо кнута голода, прибегает к другому. К холоду, например.

«Всем дали сапоги, мне не дали сапоги, прошу выдать сапоги. Заявление».

И через тройку недель, а то и через пару месяцев выносят бедолагу из голодовочной одиночки без сапог. Но это не суть важно – он выиграл более значительную битву. Тем более, что если не сапоги, так башмаки он все-таки имеет шанс через какое-то время получить: начальство отчаянному давлению порой уступает, пятится – хоть и не вмиг, и не совсем в том направлении, в котором на него давят. Но, опять же, это для моего голодаря не суть важно. А важно, что, укрывшись в крепости голодовки, он спасся от чувства бессилия, отчаяния и связанной с ними разъедающей душу ненависти не только к врагам своим, но и – через них – чуть ли не ко всему миру, такому холодному, когда глядишь на него из-за проволоки.

Так и я на исходе 77-го года объявил голодовку, потому что – хоть в петлю. Правда, я не сапог требовал, а всего лишь всеобщей амнистии. А почему бы и нет?

Мне несказанно повезло: тут у Алика Мурженко случилось свидание, и как-то он исхитрился намекнуть, что я бросился в голодовку не просто так. Жена же его

потом через Москву возвращалась и – к Сахарову. Я, разумеется, обо всем этом и знать не знал, поскольку моя одиночка – два метра в длину, метр в ширину – не только за двойными дверьми, но и в самом углу ниши, отрезанной от общего коридора решеткой.

К голоду я довольно скоро притерпелся – к концу второй недели организм, как известно, перестраивается на самопоедание, и желудок уже не вопит о пище. Зато меня холод донимал – декабрь стоял, за двадцатые перевалило, и мороз тоже за двадцатку сигал. Начальство, как и с голодом, со стужей всегда в сговоре – знает, что тощего холод куда сильнее когтит, и потому печка моя – не теплее покойника. Одежонка лагерная и без того сквозистая, а тут у меня и вовсе всякую лишнюю тряпицу изъяли. Выручал чайник с кипятком – дважды в день. Я грел о него руки, потом укутывал одеялом и прилаживал к покатым его бокам ноги. Только когда он вконец остывал, прикладывался к оловянному носику – теплая водица отдавала вкусом отчаяния.

Ближе к полудню в карцерном закутке брякала решетчатая дверь, и начиналось обнадеживающее шевеление возле печки.

– Эй ты, – надрывался я через двери, – чего не греешь, как надо?

Отвечал не истопник, а нависший над ним надзиратель:

– По норме топит – восемь кэгэ на рыло.

Мне не впервой, знаю: полпуда дров – не Бог весть что, но все же хоть на пару-то часиков, а можно печку натеплить. А тут...

Только позже я узнал, как оно все обстояло, – от истопника, нашего же брата, но угодливого, поклончивого, давно и навеки испуганного, из тех, что всю жизнь сидит, желтея лицом при виде погон. Ему и в самом деле выдавали полупудовую вязанку, но не из штабеля под навесом, а всякого осинистого дрянца. Главное же, не пускали поколдовать возле печи, пока дрова займутся, а

так – разжег и пошел вон. Потом решетку в закуток – на ключ, и больше к печи не подступиться. Дровишки потлеют-потлеют и увянут.

Бывало, под вечер, когда надежды на вторичное появление истопника вконец испарялись, я выплескивал чайник в парашу и давай колотить им о решетку – уши закладывало от железного гула. Спустя изрядное время являлся дежурный офицер. Беседы наши не блистали разнообразием. Я ему, норовя выровнять дыхание: «Замерзаю»; он мне, язвительно: «Топим по норме». Иной, если не ленивый, даже заходил в мою конуру и прикладывал ладонь к печному кожуху, чтобы тут же отдернуть ее, как бы обжегшись.

Но как-то совсем утром коридорная решетка скрипнула странно, послышались вороватые шажки, откинулась кормушка и в ней – пьяненькая физия надзирателя. Из тех, что не то чтобы записной добряк, но и не сволочь, главное же – знавший меня лет 15, чуть ли не с первого моего бушлатного года. И – шепотком-шепотком – поведал, что у лагерных ворот – вот уже пятый день – Сахаров с женой, требуют свидания. И «голоса» кричат...

Время ползло к полудню, когда в камеру не без труда просунулся бравый подполковник Романов – главный чекист в системе мордовских лагерей. Румянец в полщеки, простодушно разляпистый нос, однако глазок острый, сильно хитрый, подмигивающий, уклончивый...

И впервые, вместо традиционного: «Давай, давай голодай», прозвучали слова уговора.

(Еще бы: с приездом Сахарова голодовка – уже не местное событие, и московское начальство рявкнуло со своих высот: «Прекратить!» Ему ведь – высокому-то начальству – и на меня и на Романова равно плевать – лишь бы шум закордонный унялся. Будет ли оно с каким-то там захолустным подполковником церемонить-

ся, если он оплошает и дело не уладит? А тут еще Сахаров – нет чтобы в «Доме колхозника» мирно чаек попивать, с клопами воевать – по поселку шастает, разговоры с туземцами разговаривает, – выходит, за каждым кустом тихушника сажай, да что ни вечер рапорт в Москву строчи. И сынок этой Боннэр зачем-то вдруг мелькнул. Не привез ли чего и какое поручение увез с собой в Москву? Сильней же всего сосет – угадать, зачем это все? Не может же, ну никак не может того быть, чтобы сам Сахаров прикатил в задрипанную Мордовию просто так – ободрить, дескать, какого-то там зэка... Не-ет, тут что-то не то, неспроста все это...

Оно, конечно, по-своему лестно и даже обещающе местному чекисту мелькать рапортами перед московскими боссами, ну а вдруг чего не так, да и вина за всю эту шумиху, как ни крути, на нем лежит – голодарь-то его епархии...

А Сахаров с женой все бродили да бродили по сугробам вокруг лагерной зоны – целых десять дней. Свидания со мной им, разумеется, не дали. Да они и с самого начала знали, что не дадут.)

Я – Романову: какие, мол, разговоры, когда зуб на зуб не попадает. И вообще – чуть-чуть блефанул я, – чем вы ко мне хуже (хоть бы и с холодом этим), тем злость моя круче – одна она и держит меня. И глаз нарочно заузил, заострил – ненависти подпустил.

Подполковник удалился. Вскоре брякнула, пропуская истопника, коридорная решетка, громыхнули и рассыпались по полу сухие дрова, и еще раз, и третий...

А потом в кормушку всунулась все та же хмельная физия:

- Сколько он еще пробудет?
- Кто?
- Сахаров.
- А я откуда знаю?

Он кольнул недоверчивым глазом.

– А тебе-то что? – ответно полыхнуло во мне подозрение.

– Да я в том смысле, что в магазин вон шамовку забросили – перед Сахаровым выставляются.

(Так ли, не совсем ли так оно было, но позже мне случилось слышать от «вольняшек», что вот пришли Сахаровы в сельпо, а там, известное дело, шаром покати. Они и давай названивать в Москву, чтобы им кто-нибудь из родных или друзей привез съестное. Начальство всполошилось, и на другой или третий день в сельпо завезли молоко и масло... на радость местному народу.)

Я голодал еще довольно долго – в общей сложности шесть недель, – но теперь уже не только не мерз, но и форточку напрягался приоткрыть. Однако тщетно – заколочена намертво и зимой и летом: свежему воздуху втекать запрещено.

Печка моя дышала запредельным жаром – даже оконная наледь истончилась, обнажив овальной формы проем. Если встать на нары, сильно перегнуться вправо, выкрутив шею еще правее и вверх, – проем совпадет с щелью в оконном наморднике: за паутиной колючей проволоки над дощатым забором виднеется грязный рубец железнодорожной насыпи. Вот прокатил, закутанный в белесое облако, тупорылый паровичок – чуть слышно, раздельно стучат по стыкам ленивые колеса. Если еще и еще поднапрячься и взять правее – клок поля: под невеселым солнцем голубовато поблескивает колючий снег – словно декорация к злой сказке. Меж снежных холмиков – серый изгиб колдобистой тропинки, редкие фигуры в неуклюжем, черном спешат, оскальзываясь, напряженно горбатятся на ходу. Вон один, вполне высокий. Но, конечно, это не он. Он уже уехал. Да и не может он вот так суетливо перебирать ногами и горбатиться. Он прямо ходит...

Не-ет, ничего... ничего... Жить все-таки можно. Не так уж все оно и безысходно.

К печке не притронуться – хоть блины на коже пеки.

Ноябрь 1984

Единственная ежедневная русская газета
за рубежом

«НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

выходит в Нью-Йорке, США, с 1910 г.

Главный редактор **Андрей Садох**

«Новое русское слово» регулярно печатает документы самиздата, протесты из СССР, произведения лучших эмигрантских писателей, публицистику и прочее.

Подписная цена 70 долларов в год,
35 дол. — 6 месяцев

Воскресное издание — только 35 дол. в год

Годовая подписка воздушной почтой
(пачками по 6 номеров) — 150 долларов в год

Подписку с платой направлять по адресу:

519 Eight Avenue, 5th floor, NEW YORK CITY, N. Y. 10018 USA.
NOVOE RUSSKOYE SLOVO

ПОЧЕМУ Я НЕ ВЕРНУСЬ В СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

Я хочу вернуться в Россию, но я никогда не вернусь туда. Многие видят в этом противоречие. Но никакого противоречия тут нет. В русском языке слово «хочу» имеет смысл абстрактного желания и конкретного намерения сделать что-то. Можно хотеть сделать что-то, не имея намерения делать это и даже имея намерение не делать это. У меня нет намерения возвращаться. Более того, у меня есть твердое намерение не возвращаться, хотя у меня есть страстное, мучительное желание вернуться. И дело тут не в логических двусмысленностях и тонкостях нашего русского языка. Дело тут в реальной однозначности и грубости нашей русской жизненной ситуации. Дело в том, что возвращаться некуда, возвращаться незачем, возвращаться нечему.

Зачем возвращаться домой, если я и здесь чувствую себя как дома? Судите сами! В Москве мои правоверные советские друзья и коллеги делали на меня доносы во все инстанции и усиленно создавали мне репутацию антисоветчика и порою даже американского шпиона. Я не был ни тем, ни другим, и это знали все. И все же клеветнические доносы коллег и друзей сделали свое дело. Они задолго до того, как я написал «Зияющие высоты», оборвали мою научную деятельность в Советском Союзе и сделали мою жизнь там практически невозможной. То же самое я переживаю здесь на Западе, только с обратным знаком: люди, которые, казалось бы, должны были бы быть соратниками и друзьями, обвиняют меня в том, что я – апологет советского общества и даже советский агент на Западе. Цвет клеветы другой, а сущность та же. Московским клеветникам потребовалось

около десяти лет, чтобы задушить меня как ученого. Сколько лет потребуется клеветникам, живущим здесь, на Западе, чтобы задушить меня как писателя? Здесь демократия. Здесь это можно сделать быстрее.

Возвращаться домой – какая это чудовищная нелепость в применении к такому случаю, как мой! Думать о возвращении, будучи на сто процентов уверенным в том, что тебя туда не пустят или что тебя туда пустят на таких условиях, на какие ты не пойдешь никогда и ни при каких обстоятельствах!?!.. Пережить страшную историческую трагедию, прожить жизнь, которая тебе самому теперь кажется кошмарным вымыслом, и после этого разменять все это на мелкие житейские расчеты и помыслы!?!.. Да и в этом ли дело, чтобы покинуть родину или вернуться на родину?!.. Я принадлежу к поколению, которое было порождено революцией и убито ее последствиями. Мы впитали в себя самые светлые идеалы революции, пережив самое жестокое разочарование в мрачной реальности этих идеалов. Для таких, как я, нет проблемы расставания с родиной, как нет проблемы возвращения на родину. Даже покинув родину физически, мы душою остаемся там. Но, живя на родине или возвращаясь на родину телом, мы остаемся там все равно чужими душой. Наше положение безвыходное. Мы суть отщепенцы истории, волею случая зажившиеся на земле. Наша ситуация есть явление историческое, а не географическое, не прагматическое и даже не политическое. Повторяю и подчеркиваю: возвращаться нам некуда, возвращаться незачем, возвращаться нечему. Той России, куда мы могли бы вернуться, просто нет на земле. И нас самих давно уже нет, есть лишь призрак существования и ожидание исполнения лишь отсроченного приговора истории. И все то, что придавало смысл нашей жизни, давно исчерпало себя, испарилось в ничто, уступив место всему тому, что было чуждо нам по условиям нашего появле-

ния в человеческой истории, и останется чуждым до полного нашего исчезновения.

Куда бежать и куда возвращаться, если все то, что породило нас и создало в нас иллюзию духовного богатства, было оплевано, испоганено, изуродовано и оклеветано как тут, так и там?!

Я знаю, что я останусь непонятым и на этот раз. Я знаю, что и эти мои слова будут истолкованы в духе современного способа мышления, на редкость поверхностного, хаотичного, безответственного. Меня это не пугает, я к этому давно привык. Но все же я не могу сейчас обойти молчанием главный вопрос моей жизни: что мы такое есть? Семнадцатилетним мальчишкой, голодным, оборванным, преследуемым, как затравленный волчонок, всесильными «органами», я дал себе клятву всю жизнь посвятить раскрытию сущности реального коммунизма, – моего родного и враждебного, породившего меня и убившего меня, единственно приемлемого и ненавистного коммунистического дома. Теперь, прожив долгую и нелегкую жизнь, я могу сказать о себе: я свою клятву сдержал, несмотря ни на что. Сдержал во многом благодаря тому, что я покинул свой дом, вернее – был выброшен из него помимо своей воли. Я не предал тем свою Россию. Совесть моя чиста. Наоборот, лишь таким путем я смог остаться верным ей. Россия сама предала меня, как и многих других своих верных сынов. Она породила меня именно таким, каким хотела, но беспощадно расправилась со мною именно за то, что я искренне и серьезно воспринял ее намерения. Когда я понял, что эти намерения были лицемерны, было уже поздно. Я уже не смог бы превратиться в обычного советского прохвоста, если бы даже захотел. Возвращение в Россию сейчас возможно лишь при условии отказа от всего того, чему была посвящена вся моя жизнь. Именно это было бы предательством по отношению к самому себе и по отношению к моей исторической роди-

не. Я не вернусь в Россию еще и потому, что не хочу заканчивать свою жизнь предательством.

Я употребил выше выражение «историческая родина», а не просто родина. Это не случайно. Новым поколениям может быть трудно это понять, ибо такое явление характерно лишь для эпохи непосредственно после революционной. Для многих представителей моего поколения Родина неразрывно срослась с Эпохой, причем Эпоха заслонила собою Родину и оттеснила ее на задний план. Мы – дети трагической Эпохи, мы несли и несем (те, кто случайно уцелел) эту трагедию в себе самих. А из трагедии нельзя убежать. И трагедия не имеет счастливого конца. Куда бы судьба ни заносила нас, мы намертво привязаны к нашей эпохе, а не к месту в пространстве. Пространство осталось, а эпоха ушла в прошлое. Убежать из прошлого нельзя. Но вернуться в него тоже невозможно. Возвращаться некуда. Возвращение иллюзорно, как и побег. То, что называют возвращением, может быть лишь случайной развязкой закономерной гибели. У случайно уцелевших осколков истории нет никакого будущего.

Дело, повторяю, не столько в РОДИНЕ, сколько в ЭПОХЕ. Для нас Родина настолько срослась с Эпохой, что в своем доме мы оказались чужими. И мы покинули его. Вернувшись назад, мы у себя дома почувствовали бы себя еще более чужими, чем на чуждом нам Западе. Выхода нет. Наша настоящая Родина исчезла вместе с нашей Эпохой. Тут мало сказать, что мы переживаем ностальгию по нашей юности, – юности у нас фактически не было. Тут надо говорить об историческом отчаянии. Если это – ностальгия, то ностальгия по тому, что должно было бы быть, но не состоялось.

Вернуться в Россию, домой, – что еще может быть соблазнительнее для человека, для которого чужд любой Запад с любыми его благами, который был рожден в ненавистном коммунизме, был приучен жить в нем и был волею обстоятельств обречен на безнадеж-

ную борьбу против него, оставаясь в нем?! Но куда вернуться? И зачем? Сегодняшняя Москва – это не то, откуда нас выбросили или откуда мы бежали сами. Хрущевские годы, вследствие которых мы оказались на Западе, были годами массового осмысления пережитой нами эпохи. И результатом их явилось еще более массовое разочарование в будущем. Хрущевская эпоха лишь сорвала покровы с того сооружения, которое построили в сталинские годы. Стало ясно, что оно построено на века, и мы уже ничего не можем в нем перестроить. Брежневская эпоха смела тех, кто ужаснулся построенному. В Москве для нас осталась лишь серая и унылая трясина жизни, но уже без тех, кто осознавал ее как трясины и хотел хоть как-то взбаламутить ее хотя бы из личного протеста против всего на свете. Возвращаться, повторяю, некуда. У нас не осталось корней в нашем собственном доме. Надо родиться заново и пережить что-то иное, очень значительное, чтобы осознать себя там своим.

Для нас, детей нашей жуткой и беспрецедентной Эпохи, нет места здесь, на Западе, – мы не можем играть чуждые нам роли в чуждом нам историческом спектакле. Но и возвращение в Москву для нас есть на самом деле отдаление от нее в бесконечность и навечно.

Возвращаться некуда, возвращаться незачем, и уже не осталось ничего такого в тебе самом, что способно возвратиться.

ВНИМАНИЮ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ИЗДАНИЙ ЗАРУБЕЖЬЯ!

В последнее время участились случаи перепечатки в русскоязычных изданиях Зарубежья материалов «Континента» без всякой ссылки на источник.

В связи с этим, редакция считает своим долгом предупредить столь бесцеремонных публикаторов, что отныне мы закрепляем за собой право пресекать подобную практику в соответствии с существующими в каждой отдельной стране законами.

Право требовать морального или судебного удовлетворения на местах предоставляется нами нашим официальным представителям, имена которых обозначены на второй странице обложки журнала.

Напоминаем также, что «Континент» разрешает всем русскоязычным изданиям Зарубежья безвозмездные перепечатки из «Континента» только с условием обязательной ссылки на источник.

РЕДАКЦИЯ

Восточноевропейский диалог

Ян Литынский

МЫ И ОНИ

От редакции: Статья Яна Литынского написана в декабре 1984 года, накануне судебного процесса над убийцами о. Ежи Попелушко. Результаты процесса: как вынесенный убийцам приговор, так и редкие «откровения», прозвучавшие – вероятнее всего, в согласии с заранее установленным сценарием – во время судебного заседания, наверняка не заставили автора статьи хоть в чем-то изменить изложенные им взгляды. Статья, по существу – и по замыслу автора, – выходит за рамки «одного, отдельно взятого преступления». В ней не произнесено слово «дезинформация», но именно дезинформации, вольной и невольной, посвящена ее значительная часть. И в этом отношении она, будем надеяться, раз навсегда расправляется с целым рядом ложных воззрений, в частности, концепций о постоянной борьбе «голубей» и «ястребов» во всех политбюро социалистического лагеря.

Статья напечатана в «Тыгоднике Мазовше» № 110 с сокращениями (к сожалению, мы не располагаем полным текстом) и с подзаголовками, данными редакцией, которые мы воспроизводим.

Меня раздражает выслушивание сложных рассуждений о причинах недавних событий. И я удивляюсь, когда мой друг¹ в интервью, в целом интересном, итальянскому журналу утверждает, что покушение на о. Ежи Попелушко было направлено против Кищака². Я опасюсь, что в изощренных построениях потеряется смысл того, что произошло, исчезнет столь отчетливо очерчивающаяся граница. Две категории: мы и они – создают сегодня барьер, разделяющий нацию.

Несоветологические рассуждения

Меня можно обвинить в упрощении, в том, что я высказываю взгляды, противоречащие тому, что я говорил прежде, доказывая, как опасен для мысли и дей-

ствия примитивный образ мира, где схематическое полярное разделение заслоняет сложную действительность. Но смерть о. Ежи разделила поляков на тех, кто его любил, кто переживает горе утраты, и тех, кто его ненавидел, кто теперь, независимо от извергаемых ими потоками слов, испытывает облегчение после ликвидации опасного противника.

Убийство пастыря «Солидарности» относится к событиям, не частым в истории, когда человеческие чувства делят нацию по ясной и прямой линии. Дело в том, что существует сфера, где многозначность истории исчезает – и остаются общие всем н а м и чуждые и м чувства. Именно против нас шли части Красной Армии, вторгаясь на земли Речи Посполитой, в нас стреляли в Катыни и на шахте «Вуек», нас прогоняли по «тропинкам здоровья»³ в Радоме и Урсусе. И к нам приезжал Иоанн-Павел II, и нашей надеждой была «Солидарность».

Всякие рассуждения – не только о недавних событиях – имеют смысл лишь тогда, когда помнишь о самой главной границе. Самой главной, ибо она определяется простейшими категориями добра и зла. Тогда-то и видно, как мало значат внутренние интриги в ПОРП и извлеченные из них теории о провокациях – мартовской в 1968 году или декабрьской в 1970-м, когда волнения якобы были вызваны фракциями, желавшими подняться на вершины партийной иерархии. Уже много раз демонстрация подлинности общественных движений доказывала слабость подобных рассуждений. Однако они вновь и вновь возвращаются, становясь – во имя того, чтобы не облегчать хитро рассчитанных действий противника, – аргументом за прекращение деятельности.

Обнаруживать везде закулисную игру – типичный рефлекс бессильного человека, который не может или не хочет влиять на действительность. Поэтому он готов признать, что событиями управляют таинственные

силы, с которыми не справиться. Смириться с образом мира как мафии – это одновременно признать бессилие общества по отношению к власти. Если бы августовская забастовка закончилась поражением рабочих при одновременной смене партийного руководства, сегодня было бы полно логических рассуждений о том, что имела место провокация, организованная Каней против Герека.

Я отвергаю такие рассуждения по мотивам познавательным и этическим. Познавательным, ибо, оперируя выдуманными, не поддающимися проверке фактами, эти рассуждения мало что прибавляют к описанию реальности. Этическим – ибо они отражают потерю собственной воли, притом что собственная немощность переносится на все общество.

Миф о либералах

Правда, что внутри коммунистической верхушки власти идет борьба, и нередко острая. Иногда она связана с тактическими разногласиями. Трудно не заметить, что Раковский и Сивак⁴ говорят по-разному и что разница тона отражает также стиль проведения политики, если можно назвать политикой поединок с обществом, который ведет партия. Однако внутрипартийные группировки возникают не на основе различных платформ, но в результате борьбы клик и компаний за высшие посты; и это не удивительно: мест мало – кандидатов изобилие. Различия связаны с темпераментом или характером конкурентов и в известной степени являются завесой главного конфликта: кто кого одолеет, кто заберется выше. Иногда появляются партийные реформаторы – и быстро, в интересах всего аппарата, оказываются выброшенными за борт партийной жизни, умножая собой число бывших коммунистов – людей, которые в разное время увидели преступность системы. Весьма сомнительно, чтобы ПОРП была в состоянии

выделить из себя группу, желающую хоть как-то договориться с обществом. Судьба Имре Надя или Александра Дубчека – предостережение для возможных подражателей. Сегодня, как справедливо утверждают представители власти, партия едина. Все конкуренты согласны между собой в фундаментальном вопросе борьбы с «Солидарностью».

Именно сегодня говорить о внутренних подразделениях значит больше маскировать, чем разъяснять действительность. Интересам правящих служат как официальный тезис о единстве, так и закулисные сведения о разногласиях. Не случайно именно из этих кругов расходятся сплетни о принципиальных программных расхождениях. Пытаясь получить поддержку, Ярузельский подмаргивает, указывая на Милевского или Ольшовского⁵ («они бы вам показали!»). Так в 60-е годы Мочар⁶ надевал маску «истинного патриота», а Герек в 70-е был прагматичным и умелым технократом. Такие мнения, укрепляемые благодаря нашептыванию их на ухо, подхватываются всеведущими знатоками политики и некоторыми жаждущими сенсаций западными журналистами. Так возникают мифы о либералах: Брежнев, Андропов, Гусак или Ярузельском, – защищающих весь мир и свои народы от кровожадных конкурентов из своего же лагеря. Этот метод используется много лет. Биограф кардинала Вышинского описывает, как это практиковалось в 1952 году: «Епископ Клепач высказывал мнение – возможно, целенаправленно ему подсказанное, – что существуют два направления поведения властей в отношении Церкви. Резкую линию якобы представляли Охаб, Замбровский и Юзьвяк, а умеренную – Берут, Берман и Минц⁷. Этим пытались внушить, что на самой верхушке партии находятся наиболее либеральные фигуры». В самом деле, трудно найти более удачные примеры либералов.

Программные различия, если они и существуют, никогда не выражаются в открытой форме и сводятся к

тонкостям, маловажным для граждан. Маски меняются, и так Ольшовский, «либеральничавший» в руководстве Герека, после августа 80-го превратился в «ястреба», и мы совершенно спокойно можем ожидать очередного преобразования. Точно так же «сторонники диалога» Ярузельский и Раковский с успехом осуществляют программу, в которой диалог раздается лишь в залах суда.

В интересах всего аппарата власти

Именно поэтому ответ на вопрос, чьими людьми были Гжегож Петровский и его соучастники, не особенно важен. Быть может, будущие исследователи, когда (поскорей бы уж) откроются архивы ЦК и МВД, реконструируют соотношение сил, обнаружат, кто отдал приказ о похищении и кто принял решение об убийстве. Но никакие исследования не изменят того простого факта, что бандитский отдел МВД действовал в правильно понимаемых интересах всего аппарата власти. Поэтому руководство ПОРП защищало и будет защищать акты бандитизма, и арест четырех сотрудников госбезопасности этому вовсе не противоречит. Возможно, они жертвы собственной неловкости, а возможно – международного или внутреннего положения. Так же, как некогда осужденный на 12 лет замминистра внутренних дел ген. Матыевский, они попали «в сквозняк», используя точное определение фракционных батальи, принадлежащее Стефану Киселевскому. Сквозняк исключительно морозный, и можно прибавить: ими пожертвовали во имя «высших целей» власти. Я далек от того, чтобы утверждать, что Ярузельский знал о планах похищения. Возможно даже, что ему не нравились методы «бравых парней» из СБ⁸ и что он не раз после очередных убийств делал им выговоры, а то и вступал в резкие споры с их начальниками. Но и у него, и у его оппонентов было сознание, что они «играют в одной команде».

В банде вовсе не обязательно господствует согласие на тему, следует ли противника попросту ликвидировать или же выгодней его подкупить либо запугать. Однако нет никакой причины, чтобы общество должно было стать на сторону какой-то группировки и с надеждой ожидать смены на посту «Крестного Отца». Пример, быть может, далеко лежащий: трудно сравнивать государственную власть, которая может действовать в ореоле закона, с поставленными вне общества преступниками. Поэтому вновь обратимся к событиям новейшей истории. В 1945 году Гомулка, тогдашний генеральный секретарь ППР, призывал своих товарищей соблюдать законность – с ведущих постов даже слетели сторонники последовательно революционной линии и деятельности вне рамок закона. Но и при этом УБ⁹ арестовывало и убивало политических противников, а министр госбезопасности Радкевич издавал секретные приказы о создании банд, задачей которых было ликвидировать оппозиционных деятелей, а убийства записать «на счет вооруженного подполья».

Сегодня мало кого, кроме специалистов, интересуется, кто лично отдавал приказы: Берут, Гомулка или Радкевич. Они боролись друг с другом жестоко, особенно в более поздний период, однако ни один из них не отрицал, что «УБ имеет большие заслуги перед коммунистической властью». Сегодня и СБ воздвигает постамент своего обелиска¹⁰. Аппарат власти затушевывает преступления, убирая защитный зонтик лишь в чрезвычайных случаях. Прокуроры, судьи и журналисты соревнуются в искусстве истолкования и сотворения действительности, как в постановлении прокурора Бяловича о прекращении следствия по делу о торунских похищениях¹¹: «Не удалось исключить и гипотезу о том, что похищения были предприняты нелегальными структурами «Солидарности» с целью проверки лояльности бывших членов организации».

В Торунский суд передано обвинительное заключе-

ние по делу убийц, однако – как говорится в коммюнике представителя Генеральной Прокуратуры по делам печати от 11 декабря – идут неустанные поиски вдохновителей преступления. Таким образом, следствие по делу об убийстве о. Ежи Попелушко продолжается. Чтобы понять его декоративный характер, достаточно вообразить себе, что болгарская госбезопасность обязуется обнаружить, кто вдохновил выстрелы на площади Св. Петра. Точно, как у Януша Шпотанского¹² в «Товарище Шматяке»: «Преследуя хозяйственные преступления, он впал в такой благородный пыл, что опомнился только тогда, когда самого себя схватил за руку» (перевод стихов дословный. – Пер.).

Для власти все ясно: она с самого начала торжествующе провозгласила, что преступление – провокация, направленная против политики соглашения¹³, хотя неизвестно, кто и по каким причинам в нее целился. Здесь объяснения обрываются и наступает неизменный поток обвинений и угроз по адресу КОРа, КНП¹⁴, экстремистов «Солидарности». И этот визг – достаточный ответ на вопрос, против кого действовали убийцы.

* * *

В мокоатовской тюрьме сейчас находятся активисты «Солидарности» и начальник отдела МВД Гжегож Петровский. В той же самой тюрьме некогда офицер Армии Крайовой Казимеж Мочарский¹⁵ и палач еврейского населения Варшавы Юрген Штрооп ожидали исполнения смертного приговора. Эти факты – нечто большее, чем унылая шутка истории.

ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА

¹ Видимо, имеется в виду Яцек Куронь. Мы не знаем, о каком итальянском журнале идет речь, но примерно такие выводы содержались в интервью Куроня, напечатанном во французской прессе.

² Генерал Чеслав Кищак – министр внутренних дел ПНР. В ПНР в настоящее время госбезопасность – под названием Служба безопасности (СБ) – входит в состав МВД, являясь, в согласии с принятым в 1983 г. «законом об МВД», его ведущей частью.

³ «Тропинками здоровья» на языке полицейского «юмора» называют в Польше прогон сквозь строй (две шеренги милиционеров с резиновыми дубинками), впервые широко примененный в 1976 г. после рабочих волнений в Радоме и варшавском рабочем поселке Урсус.

⁴ Мечислав Раковский – зам. премьер-министра, многолетний главный редактор еженедельника «Политика», партийный «интеллектуал». Альбин Сивак – до августа 80-го глава официальных профсоюзов, олицетворение партийной тупости.

⁵ Ген. Милевский – в момент убийства о. Ежи Попелушко член Политбюро, ответственный за работу органов и после убийства отстраненный от надзора за ними. Стефан Ольшовский – «рука Москвы» в Политбюро ЦК ПОРП, один из главарей партийного «бетона» (т. е. «твердолобых», или, на языке западных кремленологов, «ястребов»).

⁶ Мечислав Мочар – ныне полузабытый главарь фракции «партизан» в Политбюро ЦК ПОРП в 60-е годы, тогдашний министр внутренних дел. После падения Гомулки – председатель Комиссии партийного контроля.

⁷ Не будем даже пытаться точно указать, кто из этих шестерых какой пост тогда занимал. Отметим лишь, что Берут возглавлял партию и государство, а другой «умеренный», Берман, отвечал в Политбюро за органы.

⁸ СБ – см. прим. 2.

⁹ УБ – так называлась госбезопасность в первые годы «Народной Польши».

¹⁰ Автор имеет в виду, что памятник сотрудникам УБ и бойцам Войска Польского, «погибшим в боях за установление и укрепление народной власти», уже воздвигается.

¹¹ В Торуня в марте 1984 года произошло несколько случаев похищения активистов «Солидарности». Их хватали, вталкивали в машины, увозили за город (в частности, в местный дом отдыха МВД), подвергали допросам с избиениями и пытками, а затем чаще всего бросали в лесу, далеко от города. Следствие, начатое Торунской прокуратурой по жалобам потерпевших, прекращено, а один из свидетелей, опознавший среди похитителей сотрудников местной госбезопасности, в ноябре 1984 года... приговорен к полутора годам (правда, условно).

¹² Януш Шпотанский – известный поэт-сатирик. Еще в 1967 г. он был приговорен к трем годам тюрьмы за свое творчество. Стихи его, очень простые, соль которых чаще всего в неожиданной значащей рифме, с трудом поддаются переводу.

¹³ «Политика соглашения» – нынешний обрубок от провозглашавшейся в 1981 году «политики национального соглашения». В партийном понимании, «политика соглашения» – это не заключение соглашения между властью и обществом (и, разумеется, не исполнение властью подписанных ею в августе 80-го соглашений), но согласие, смирение общества с политикой властей.

¹⁴ КОР – при своем создании, в 1976 г., Комитет защиты рабочих (КОР – польское сокращение этого названия), затем, годом позже, преобразованный в Комитет общественной самозащиты КОР. В сентябре 1981 г. в Гданьске на съезде «Солидарности» Комитет общественной самозащиты КОР объявил о своем роспуске. Это не помещало властям в 1982 году открыть дело против нескольких членов бывшего КОРа. Их процесс, начавшийся 12 июля 1984 г., был отложен, а затем подсудимые были освобождены по амнистии. КНП – Конфедерация независимой Польши, партия, созданная в 1979 году. Лидеры КНП в 1982 году были приговорены к тюремному заключению (освобождены по амнистии 1984 года).

¹⁵ О Казимеже Мочарском см.: Анеля Стейнсбергова. Глазами защитника. – «Континент» № 12.

ЛИТЫНСКИЙ Ян – по образованию информатик, участник студенческих выступлений в марте 1968 г., один из главных обвиняемых на тогдашних процессах; отсидел два года. В 1976 г. был одним из создателей «Информационного бюллетеня», выпускавшегося членами КОРа, а затем создателем и главным редактором (по 1981 год) независимого журнала «Роботник» («Рабочий»). С самого начала сотрудничая с КОРом, он стал его членом осенью 1977 года. В декабре 1981 г. интернирован, находился в лагере интернирования, размещенном в тюрьме Бялолэнка, где в начале сентября 1982 г. ему так же, как Хенрику Вуецу, Яцеку Куроню и Адаму Михнику, был предъявлен ордер на арест. В мае 1983 г. был отпущен из тюрьмы на конфирмацию тяжело больной дочери – и в тюрьму уже не вернулся, уйдя в подполье, где действует и по сей день. С февраля 1985 г. – член Региональной исполнительной комиссии (подпольного руководства) «Солидарности» Мазовше.

ПАМЯТИ ЮЗЕФА МАЦКЕВИЧА

31 января 1985 года в Мюнхене скончался один из крупнейших польских писателей и публицистов нашего времени Юзеф (Иосиф) Мацкевич.

На одной из международных конференций, в которых он принимал участие, Юзеф Мацкевич, представляясь, сказал о себе: «Национальность – антикоммунист». Точнее определить невозможно.

Родившийся в Петербурге в 1902 году доброволец Польской армии в войне с большевиками 1920 года, в независимой Польше междувоенных лет он связал свою судьбу с Виленщиной – землей, населенной литовцами, поляками, белорусами, евреями, русскими, татарами, караимами. Уже тогда его деятельность писателя и журналиста была направлена против всякого – прежде всего отечественного, польского – национализма. Приход большевиков, кратковременная передача Вильнюса независимой Литве и вновь приход большевиков – за этот краткий период между сентябрем 1939 и июнем 1941 года Юзеф Мацкевич имел возможность наглядно убедиться, что нет врага опаснее коммунизма и что всякий национализм лишь отвлекает силы от борьбы с коммунизмом и расчищает для него почву.

Юзеф Мацкевич был прямым, резким, «неудобным» публицистом и писателем: он говорил о вещах, о которых говорить не принято (один из его романов называется «Об этом лучше промолчать»). Он был, вероятно, первым, если не единственным в мире писателем, написавшим роман о предательской выдаче казаков союзниками («Контра», 1957). Поляк и католик, в книге «Ватикан в тени красной звезды» Мацкевич резко критиковал послевоенную «восточную политику» Вселенской Католической Церкви.

Юзеф Мацкевич часто чувствовал себя одиноким в польской эмиграции, а на родине его имя было и остается под суровейшим цензурным запретом. Но в последние годы Юзеф Мацкевич нашел широчайшее признание в кругах антикоммунистически настроенной польской молодежи. Пять его книг изданы подпольными издательствами в Польше. В прошлом году за свое творчество в целом он был награжден литературной премией краковского подпольного журнала «Арка».

Одной из ведущих идей прозы и публицистики Юзефа Мацкевича было убеждение, весьма важное для польских читателей, что не русские люди, не русский народ, но международный коммунизм во всех его национальных и даже националистических вариантах – вот главный или даже единственный враг человечества в XX веке. Мацкевич бывал беспощаден и к своим русским единомышленникам, когда ему казалось, что они уклоняются в пути непримиримой праведной борьбы против этого единственного врага, и за его упреками, быть может, не всегда верными в частности, стояла некая высшая справедливость.

С глубокой горечью привыкаем мы к мысли о том, что Юзефа Мацкевича больше нет с нами, и выражаем глубокое сожаление его жене Барбаре Топорской, его друзьям и всем его читателям в Польше и других странах.

«КОНТИНЕНТ»

Запад – Восток

Томаш М я н о в и ч

МОЖНО ЛИ СПАСТИ ГЕРМАНИЮ?

1

Трудно не согласиться с диагнозом, который Жан-Франсуа Ревель поставил в начале 1984 года¹: Западная Германия – страна, самая непонятная для остальных европейцев. Парадоксально, но при этом о таких важных в ФРГ явлениях, как пацифизм и антиамериканизм, больше пишется в других западноевропейских странах, чем в самой Германии. Напряженность, связанная с решением о размещении «Першингов-II» и крылатых ракет, а также споры вокруг пацифистского движения заслонили, однако, более устойчивую и более тревожную проблему, по отношению к которой *Friedensbewegung** является только эманацией или одним из воплощений.

Причины того, что политическая ситуация в ФРГ выглядит такой неясной и запутанной, можно усматривать в постепенной деградации языка, первичная, коммуникативная функция которого оказалась подчинена вторичной функции психологического воздействия. Чтобы оставаться в пределах разумного, слово *Friedensbewegung* нужно бы ставить в кавычки или добавлять к нему «т. н.». Этимологическое и прямое значение слова «пацифизм» – «протест против войны, стремление к миру». Можно без особого труда показать, как это уже сделал В. Буковский в своей работе «Пацифисты против мира», что западногерманское *Friedensbewegung* уже продемонстрировало (и впредь будет демонстрировать) полнейшее равнодушие к действительно идущим войнам (военный конфликт между Ираном и Ираком, война в Афганистане, война в Чаде и ливийская интервенция, оккупация Камбоджи вьетнамскими войсками, китайско-вьетнамский пограничный конфликт – список можно было бы продолжить). Пацифисты в ФРГ, как и в других западных странах (где это явление не имеет, однако, подобного размаха), выступают против размещения американских ракет, а также – в подавляющем большинстве – против самого существования Североатлантического союза. Никто, однако, не доказал –

¹ *Allemagne: le rêve et la réalité.* – „Le Point“, 2.1.1984, Nr. 589.

* Движение сторонников мира (нем.). – Пер.

ибо доказать это просто невозможно, – что подобные Zielsetzungen* могли бы предотвратить какую бы то ни было войну (реальной угрозы войны в Европе, к тому же, просто не существует) или же ослабить международную политическую напряженность (осуществление целей, которые ставят пацифисты, могло бы привести только к прямо противоположному результату). Но – и необходимо это подчеркнуть – хотя Friedensbewegung и на словах и на деле направлено против американских ракет и НАТО, ни атомное оружие, ни существование Североатлантического союза не являются основной причиной его возникновения.

Западногерманский пацифизм – по существу, движение идеологическое, выросшее из сопротивления системе парламентарной демократии, которая на языке идеологии называется «капитализмом»². Этот факт, похоже, постоянно игнорируется критиками пацифизма как в ФРГ, так и в других странах (чтобы убедиться в этом, достаточно рассмотреть их доводы). Это можно объяснить, с одной стороны, сознательной мистификацией, которую проводят идеологи и активисты пацифизма, а с другой – тем, что средства массовой информации, управляющие общественным мнением, подчинены пропагандистским целям.

2

До сих пор не сделано – и, видно, уже не будет сделано – описание того, как средства массовой информации (в особенности телевидение), доводя до своеобразного массового психоза, занимались манипуляцией в период, предшествовавший голосованию в бундестаге по вопросу о Doppelbeschluss** Североатлантического союза. Западногерманское телевидение и наиболее влиятельные журналы и сейчас продолжают кампанию дезинформации, с той лишь разницей, что после решения бундестага и прибытия первых американских ракет пацифисты – потеряв свой главный козырь – занимают гораздо меньше места в телевизионных последних известиях и на обложках журналов. Это, однако, не мешает западногерманскому телевидению по-прежнему изображать президента Рейгана главным виновником международной напряженности, а в принадлежности ФРГ к НАТО

² Язык идеологии, имеющий чисто психологическую функцию (влиять на сознание людей), сводит к минимуму количество эмоционально нейтральных слов. «Капитализм» в этом языке имеет явно отрицательный оттенок.

* Постановка целей (во мн. ч., нем.). – Пер.

** «Двойное решение» (нем.), т. е. решение об установке американских ракет в Западной Европе как средства предупреждения возможного удара со стороны уже установленных советских ракет. – Пер.

обнаруживать основную причину конфликтов, с которыми Германия никак не может справиться.

Кульминация этого управляемого общественного возбуждения пришлась на осень 1983 года. Почти любой выпуск последних известий по радио и по телевидению начинался с подробных сообщений о пацифистских демонстрациях: многотысячные толпы, блокада военных объектов, Menschenketten* (часто показанные с высоты птичьего полета), старики и молодежь, женщины и дети, известные немецкие интеллектуалы, священники, профсоюзные деятели, видные политические деятели СДПГ и «зеленых»; плюс ко всему еще и наглядная агитация – транспаранты, черные модели ракет, куклы, изображающие Рейгана и Коля, демонстранты в костюмах, символизирующих человеческие скелеты. На улицах городов прохожего атаковали миллионы плакатов и демагогических лозунгов, сопровождаемых карикатурами на Рейгана.

Западная Германия выглядела страной, правительство которой, находясь в рабской зависимости от США, ведет какую-то ужасную войну, вопреки воле и желаниям своих граждан. Победа пацифистской пропаганды или, точнее, действий, направленных против Рейгана, ракет и НАТО, не вызывала никакого сомнения; это объясняется еще и тем, что традиционные политические партии (выступающие за осуществление решений Североатлантического союза), в отличие от вдохновителей «горячей осени», не прибегали к зрелищным акциям или психологическому террору, не организовывали Menschenketten, не захватывали общественных зданий, не избивали полицейских и не нападали на американских генералов.

Интересно, что антиамериканская пропаганда в ФРГ использует и более тонкие методы. Так, в тележурнале ARD во время чтения сообщений, касающихся США, в углу экрана почти всегда помещена одна и та же фотография Рейгана: лицо, застывшее в злобном напряжении. Мгновение – и появляется улыбающаяся физиономия Вилли Брандта, который выступает с очередным заявлением против размещения американских ракет. Известие о том, что Рейган выступил в Конгрессе с требованием увеличить расходы на оборону. Сразу же за этим – репортаж о пацифистской демонстрации в ФРГ и большие фрагменты из выступления Хорста Эмке, который говорит: «Соединенные Штаты за всю свою историю не имели такого агрессивного правительства, как сегодня». Сообщения из Центральной Америки чаще всего сопровождаются информацией о деятельности ЦРУ в этом регионе; о КГБ ни радио, ни телевидение почти не упоминают, как будто этой организации вообще не существует. В фильмах о ядерной угрозе показываются исключительно американские ракеты, что само по себе – даже если отвлечься от комментария – уже является вполне однозначной наглядной агитацией.

* Человеческие цепи (нем.). – Пер.

Осенью 1983 года в ФРГ мираж заслонил реальность, да и сегодня он не хочет сдавать позиций. Осуществление оборонных планов НАТО встретило на своем пути массу трудностей; против них демонстрировали миллионы, агитировали телевидение, интеллектуалы, социал-демократы и «зеленые». Угрозы советских ядерных ракет, нацеленных на Западную Европу, как будто бы и не существует.

Встает вопрос: каковы же мотивы участников *Friedensbewegung*? Почему миллионы людей считают, что американские ракеты, которые должны служить обороне ФРГ, опаснее советских, предназначенных для ее уничтожения?

В появлении подобных взглядов главную роль играют средства массовой информации, создающие образ «агрессивной политики США», а в отношении СССР чаще всего ограничивающиеся повторением официальной советской дезинформации. При этом факты истолковываются в соответствии с теорией: всё зло – в агрессивной политике Рейгана³.

Далее, на Западе существует нормальное распространение информации и свобода политической жизни, что полностью отсутствует в советском блоке. Участники «движения защиты мира» уверены – и не без оснований, – что они могут оказать влияние на решение западных правительств. Иное дело – Советский Союз, представление о котором весьма туманно и неверно; известно только, что на власти СССР прямо не повлияешь, можно только косвенно – разоружиться самим и подать таким образом «хороший пример». Тогда СССР, который тоже стремится к миру (ведь советские лидеры непрерывно это повторяют!), избавится от «комплекса осажденной крепости»⁴ и, следуя хорошему примеру, тоже разоружится. В этих благородных и даже вполне логичных рассуждениях есть лишь один недостаток: они исходят из совершенно ложного представления о Советском Союзе. Чтобы понять советскую систему, необходим высокий уровень абстракции, а от массовых движений такого ожидать трудно.

Итак, возникла парадоксальная ситуация: в общественном сознании советские ракеты стали совершенно отвлеченным понятием,

³ Например, в том, что над Сахалином был сбит южнокорейский пассажирский самолет, виноваты американцы: они-де, проводя шпионаж, заставляют СССР «нервничать». А через три дня после того, как Москва объявила о своем решении бойкотировать Олимпийские Игры в Лос-Анджелесе, западногерманское телевидение, признавая политический характер этого решения, все же заявило, что «американцы сами его спровоцировали».

⁴ О том, что этот психоз определяет политику советских властей, заявил – почему, понять не могу – и новый секретарь НАТО лорд Карингтон вскоре после своего вступления на пост.

в отличие от американских, которые без устали показывает телевидение, о которых говорят политики и интеллектуалы-проповедники. Страх перед атомной войной в процессе экстерниоризации должен был обратиться против чего-то реального, и демагогическая пропаганда указала угрозу в окружающей действительности: в открыто принятых решениях и размещаемых на Западе ракетах.

Жители стран советского блока, покрытых сетью ядерных ракетных установок и военных объектов, не протестуют, и не только потому, что они лишены свободы слова. В социалистическом обществе нет ощущения подобного рода угрозы (хоть пропаганда и пытается его создать в связи с решениями НАТО). Такое положение объясняется совершенно иными, чем на Западе, механизмами общественной жизни: с одной стороны, вся сфера вооружения засекречена, с другой – житель советского блока в своей повседневной жизни сталкивается с таким количеством бытовых, материальных и профессиональных проблем, что они просто не оставляют места никаким другим страхам и заботам. По сравнению с ним, западный человек живет в полном материальном и духовном комфорте (я отнюдь не хочу сказать, что в его жизни нет проблем, тревог и стрессов).

Х. Кениг, анализируя психологию участника пацифистского движения в рамках психоаналитической теории грез и аффектов, пишет:

«Мечта о покое, мире, если ее рассматривать психодинамически, часто проявляется как защитная реакция против подсознательных агрессивных или садистских импульсов. Патологическая готовность к страданию вытекает из потребности в наказании, основанной, главным образом, на страхе. Готовность пострадать у участников движения пацифистов имеет тенденцию к возрастанию, подчас принимая форму мечты о смерти – например, в виде *Liebestod** либо воображаемых картин убийства или самоубийства»⁵

Автор рассказывает о собрании пацифистов в Западном Берлине, где одна из участниц объявила, что хочет убить вначале своего ребенка, а затем и себя, так как угроза атомной войны для нее невыносима.

О том, что активисты идеологических движений могут утратить всякий «здравый смысл», свидетельствует выступление Барбары Хеннингес на симпозиуме Интернационала Сопротивления в июне этого года. Она сравнила положение противников строительства атомных электростанций в ФРГ с судьбой узников советского ГУЛага.

4

«Система обанкротилась», – так начинает свою книгу «Борьба за надежду» Петра Келли. Система западной демократии плоха, необхо-

⁵ Zur Psychologie der Friedensbewegung. – «Merkur», Apr. 1984, Nr. 423, S. 352.

* Смерть от любви (нем.). – Пер.

димо заменить ее другой, лучшей. Но идеологам пацифизма никогда не удалось бы, однако, поднять миллионы людей на борьбу против парламентской демократии. Это пытались сделать – результат известен – террористические группы, вдохновляемые левыми интеллектуалами. Теперь терроризм – в том виде, каким мы его помним по 70-м годам, – исчез, а те же самые интеллектуалы, что тайком поддерживали его, сегодня – в первых рядах *Friedensbewegung*. Установка американских ракет дала, таким образом, прекрасную возможность попытаться «мобилизовать массы» (обычный участник пацифистской демонстрации руководствуется соображениями своей безопасности, а вовсе не книжонкой Петры Келли).

К пацифистской мимикрии прибегла и коммунистическая партия: на последних выборах в Европейский Парламент вместо списка КПГ избирателям был предложен *Friedensliste*, «список мира», за который было подано 1,3% голосов – почти в шесть раз больше, чем удалось набрать коммунистам на выборах в бундестаг в 1983 году.

Верное наблюдение высказывает в своем «Письме из Германии» Иоахим Фест: «В последние годы было много разговоров об *Angst*^{*}, но этот Страх был лишь поводом поговорить о нем; страхи же были настоящими, бурными, неистовыми»⁶ (автор имеет в виду вспышки жестокости во время кампании за 35-часовую рабочую неделю).

Страх перед атомной войной раздувают идеологи, фильмы о ядерной катастрофе, телевидение. Однако насилие и психологический террор, к которым прибегают пацифисты (и которые, казалось бы, могли пугать конкретнее), и радио и телевидение обходят молчанием. Ни слова не было сказано о кампании телефонных угроз депутатам бундестага, которых перед голосованием о размещении ракет пытались заставить не явиться на заседание. (Не пробился на телевидение даже министр внутренних дел Циммерман, в своем заявлении для прессы сравнивший «телефонную акцию» с нацистскими методами и указавший, что устраивать заграждения у входа в общественные учреждения – типичная форма насилия.) То же самое повторилось и во время больших забастовок 1984 года: телевидение вновь обошло молчанием как многочисленные случаи физических расправ с теми, кто пытался выйти на работу, так и, более того, нападения на прохожих, оказавшихся вблизи пикетируемых предприятий.

Ошибочно было бы считать, что пацифизм – явление типично немецкое. Явление это типично западное. Лозунги типа: «Мы не хотим, чтобы третья мировая война началась на земле Германии!» – порождает пропаганда, а не политическая реальность.

Французскими пацифистами, приезжающими в ФРГ, чтобы принять участие в манифестациях и «блокадах», руководит не «комплекс

⁶ *Danger Signals*. – «Encounter», Sept.-Oct. 1984, Nr. 368, p. 25.

* Страх, ужас (нем.). – Пер.

вины» и не забота о безопасности Германии, но возможность влиться в ряды самого мощного антиамериканского движения в Европе.

Кризис демократических ценностей, усиленный марксистской мифологией «прогресса», дает о себе знать во всех западных странах. Он начался еще в 60-е годы, когда телевизионные репортажи о вьетнамской войне создавали односторонне отрицательный образ американской демократии, пытающейся бороться с коммунизмом. Тогда и начался упадок идейного престижа Соединенных Штатов, породивший сегодняшний антиамериканизм.

Идеологические движения, во главе с пацифизмом, непременно должны быть антиамериканскими, ибо Соединенные Штаты – как самая сильная страна свободного мира – воплощают и символизируют политическую и экономическую систему Запада⁷. Кто будет заседать в Белом Доме, какая политика будет проводиться – всё это не имеет никакого значения⁸.

В ФРГ движение против «капитализма», принявшее почтенный облик «борьбы за мир», создало атмосферу массового психоза. Способствовали этому и интеллектуалы, и в особенности opinion-makers («творцы общественного мнения») – никем не избранные, но всемогущие повелители людских помыслов. Важную роль сыграли и перемены в западногерманской социал-демократии. Провал на выборах, снявший с СДПГ всякую политическую ответственность, ускорил идеологизацию этой партии. В поисках будущих союзников СДПГ обратилась к пацифистам, дав этому движению новый толчок.

Действительность постепенно уступает место идеологии, которая, однако, действует в сфере реальной политики.

5

Успехи «зеленых» и пацифистов объясняются также политической и идейной слабостью их противников – я имею в виду партии правительственной коалиции. Бесспорно, они находятся в гораздо более трудном положении, учитывая одностороннюю направленность средств массовой информации и идеологический настрой в кругах, оказывающих влияние на общественное мнение. Однако я не знаю

⁷ В ФРГ большой популярностью пользуются наклейки «Мак-Дональд – спасибо, нет!» – это тоже одна из форм протеста против «американского империализма». (Мак-Дональд – фирма закусочных с американскими бутербродами. – П е р.).

⁸ В порядке пояснений добавлю: во время кампании по выдвижению кандидатов в президенты США любимцем западногерманских средств массовой информации был пастор Джексон. «Цветной правозащитник критикует политику Рейгана в Центральной Америке», – так начинались сообщения из США.

случая, чтобы какой-либо влиятельный политик из правящей коалиции вступил в спор с пацифизмом и отважился заявить, что идеологи пацифизма – не столько борцы за мир, сколько противники демократии. Примеров можно было бы привести немало – достаточно вспомнить симпатии зеленых к полковнику Каддафи или их участие (совместно с СДПГ) в праздновании юбилея установления сандинистской диктатуры, не говоря уже об эксцессах в парламенте. Вместо этого христианские демократы заверяют, что они тоже желают мира и именно поэтому устанавливают американские ракеты; таким образом, они решили разговаривать с противником на его же языке, давая пацифистам огромное идеологическое преимущество. Также и использование в политических дискуссиях «советского пугала», разоблачения, касающиеся тайной помощи КГБ пацифистам, – всё это не может принести успеха. Участники идеологических движений видят своего основного противника в самой западной системе, советская угроза для них – понятие абстрактное. К тому же, они упорно руководствуются навязанной марксизмом концепцией истории, которая движется только в одном направлении («социализм» более «прогрессивен», чем «капитализм»), или анализом положения «нейтральных» стран, т. е. стран, не принадлежащих к военным блокам и поэтому не имеющих тех проблем, с которыми приходится сталкиваться немцам. Тот, кто не понимает, что зло неотделимо от коммунизма, не увидит и опасности, которую он представляет, – поэтому ссылки на «советскую угрозу» ничего не дают.

Политика правительства христианских демократов и либералов направлена на то, чтоб не антагонизировать общество и избегать политических конфликтов, – но она обречена на провал, пока эта коалиция находится у власти. Смены боннского правительства желает не только оппозиция – это является и одной из главных стратегических задач Советского Союза в его борьбе с Западом. Беда в том, что западногерманская общественность не осознает стратегического конфликта между Востоком и Западом, а нынешняя правительственная коалиция как будто не понимает тактики Москвы.

Советы прекрасно видят, каким слабым звеном НАТО является ФРГ. Отсюда прямое, а иногда и неслыханно грубое вмешательство Москвы во внутренние дела ФРГ⁹. Отсюда и психологическая и пропагандная война во время дебатов вокруг двойного решения НАТО¹⁰. Именно в этот период Хонеккер выступил с предложением о «замораживании» ядерного вооружения на территории обеих Германий. С одной стороны, это предложение было брошено на благодатную

⁹ Я имею в виду знаменитое заявление Громыко перед последними выборами в бундестаг.

¹⁰ Изобретение атомного оружия опровергает тезис Ленина о неизбежности войны между коммунизмом и капитализмом. Поэтому Советы вынуждены усилить «мирную войну».

почву скрытого левацкого национализма (Э. Бар: «Безопасность ГДР – это и наша безопасность»), а с другой – ставило правительство, стремящееся нормализовать контакты с Восточным Берлином, в трудное положение по отношению к общественному мнению. Если бы предложение Хонеккера было принято, это привело бы только к тому, что в ФРГ не было бы установлено никаких новых ракет (с подобной же инициативой в то время выступил и «независимый» президент Румынии).

Кажется, что единственная цель боннского правительства – это облегчить задачу противника. Оно некритически приняло «восточную политику» Х. Шмидта и развивает ее, чтобы удовлетворить общественность, которой привиты миражи «разрядки», «международного сотрудничества» и, главное, «добрососедских отношений» с ГДР. Визит Хонеккера («главы правительства ГДР»; ни слова о том, что он же – глава коммунистической партии) ожидался как событие едва ли не самое важное в истории двух Германий. Хонеккера хвалили за то, что он независим от Москвы. Напряжение росло с каждым днем: придет? не придет? Вот что сказал один из прохожих телерепортеру: «Он должен приехать. Мы должны иметь лучшие отношения с ГДР, чем с США». Единственным, кто сохранил трезвую голову и попытался реально посмотреть на вещи («Наше будущее не зависит от того, удостоит ли нас господин Хонеккер своим визитом или нет»), был Альфред Дреггер, но его никто не слушал. И вдруг ужасающее известие: господин Хонеккер не придет! Виновато правительство канцлера Коля. Господин Живков тоже не придет. Виноват Коль и американские ракеты. Тем не менее, ясно, что решения о подобных визитах принимаются не в Восточном Берлине и не в Софии, а в Москве. Но западногерманское правительство уже давно делает вид, что ему это неизвестно.

Психоз, связанный с визитом Хонеккера, можно сравнить с «ракетным психозом» 1983 года (который повторился в меньших масштабах в период, предшествовавший учениям НАТО на территории ФРГ осенью 1984-го). Пацифисты, поддержанные СДПГ и средствами массовой информации, призвали к манифестациям и блокаде военных сооружений. Печать, радио и телевидение широко рекламировали эту кампанию, почти не уделяя внимания таким случаям (а их было около 500), когда демонстранты врывались на территории военных объектов и складов амуниции, уничтожали или приводили в негодность оборудование, транспортные средства и вооружение.

Обе эти ситуации хорошо иллюстрируют политический Zeitgeist* в Западной Германии. Общество хочет мира, разрядки, жизни без конфликтов. Реальная политика не может этого обеспечить. И тут на сцену выходят демагоги-идеологи, предлагающие универсальные решения всех проблем.

* Дух времени (нем.). – Пер.

В ФРГ стратегический конфликт между коммунизмом и западным миром исчезает за дымовой занавесой «конфликта сверхдержав», в котором видят причину всех остальных проблем. «Конфликт сверхдержав» – в основе всех бед Германии, к нему можно свести почти любое событие международной жизни, да и не только международной. Немецкое телевидение показало снятый американскими журналистами фильм о страданиях индейцев племени мискито, которых преследует сандинистский режим в Никарагуа. Заключение немецкого комментатора: «Индейцы мискито – жертвы политики сверхдержав».

В разговоре с Джин Киркпатрик Джордж Урбан назвал «ужасающей пародией» действия авторов передачи Би-Би-Си «Панорама», которые сравнили представителя Соединенных Штатов в ООН с гитлеровским палачом Клаусом Барбье¹¹. В ФРГ подобные случаи стали уже нормой. Один из самых известных немецких режиссеров Р.-В. Фассбиндер с упорством одержимого проводил в своих фильмах параллель между Гитлером и Аденауэром. Первые кадры «Замужества Марии Браун» – портрет Гитлера, разорванный взрывом бомбы. Последние – портрет Аденауэра.

Первостепенную роль играет всё же телевидение, действующее на зрителя более эффективно. В Советском Союзе словесная пропаганда не приносит успеха. Поэтому средства массовой информации орудуют косвенно – дезориентируя людей, уча их *не понимать окружающий мир*, осуществляя таким образом вторую стадию описанного Орвеллом процесса «потрошения сознания».

На Западе же действие масс-медиа в сфере передачи содержания – непосредственно, или, если можно так выразиться, дословно. Людей учат *ориентироваться в мире*, это третий этап орвелловского процесса – «фарширование» опустошенных мозгов.

Позволю себе привести еще один пример того, как работают средства массовой информации в ФРГ, – я уверен, что исследование их роли необходимо для понимания «духа времени» в современной Западной Германии.

Накануне годовщины начала Второй мировой войны баварское радио передало сводку последних известий, состоящую из пяти частей:

1. Москва обвинила ФРГ в том, что американские «Першинги», размещенные на ее территории, угрожают безопасности Советского Союза. Сообщение передано агентством ТАСС, которое, кроме этого, утверждает, что радиус действия ракет «Першинг» – 2000 км и что они могут достичь Москвы. Комментатор напоминает, что «зеленые» по этому же поводу обратились в бундестаг.

2. Советский Союз считает, что Соединенные Штаты и Великобритания виноваты в том, что разразилась вторая мировая война. Приводятся длинные цитаты из советского журнала «Новое время».

¹¹ American Foreign Policy in a Cold War Climate. – «Encounter», Nov. 1983, Nr. 359, p. 14.

3. Грузовое судно «Мон-Луи», которое затонуло возле Остенде, перевозило обогащенный уран; французский министр по делам охраны окружающей среды заявил об этом с большим опозданием.

4. ФРГ, Австрия и Швейцария приняли решение о проведении общих мероприятий по защите окружающей среды (дело идет о новом бензине, который меньше загрязняет атмосферу, и должен – правда, неизвестно когда – поступить в продажу).

5. Прогноз погоды.

Помимо того, что д о с л о в н о цитируются тексты советской пропаганды, они еще и преподносятся как информация; на Западе эта практика распространена повсеместно (так называемая «информация» Виктора Луи была передана всеми агентствами печати). Но самое интересное – это идеологическое содержание передачи. Первое и второе сообщения выдержаны в духе пацифизма и антиамериканизма. Обращение «зеленых» в бундестаг приводится как доказательство их заботы о ликвидации угрозы миру. В этот же день известный деятель ХДС Вайскирх заявил, что пакт, заключенный Гитлером и Сталиным, был причиной начала войны и раздела Польши. Но об этом баварское радио не говорит. Третье и четвертое сообщения пропитаны идеологией защиты окружающей среды и стимулируют «психоз угрозы» (ведь уран – радиоактивное топливо). Но и здесь не обходится без подтасовки: в то же самое время из газет можно было узнать, что настоящую опасность в истории с затонувшим кораблем представляло машинное топливо, которое могло вытечь в море*.

Единственное, чего не затронула идеология, – это прогноз погоды.

6

Часто сравнивают *Zeitgeist* в Западной Германии с атмосферой, царившей непосредственно перед падением Веймарской республики. Дух времени отражается в обычаях, искусстве, модах, манере мышления, и, на самом деле, можно найти более или менее близкое сходство. Но 50 лет назад влияние Советского Союза не распространялось до берегов Эльбы и до Центральной Америки. Не было ни атомного оружия, ни стратегических планов защиты Запада.

Происходящий сейчас в ФРГ процесс кажется мне опасным по двум причинам: система и политическая культура с ее нормами и иерархией ценностей находятся в состоянии глубокого кризиса; это, в свою очередь, может вызвать серьезные изменения в расстановке сил на европейском континенте. Североатлантический союз, понемногу расползающийся по швам (просоветская политика Греции, колебания Испании по поводу вступления в НАТО, нерешительность Голландии

* Кстати, еще одно умолчание: обогащенный уран шел из Франции... в Советский Союз. – Ред.

и Бельгии в вопросе об американских ракетах), в случае утраты такого ключевого звена, как Западная Германия, окажется перед лицом качественно нового советского преимущества в Европе. К тому же, «атомный психоз», в распространении которого во многом виноваты пацифисты, добирается и до других стратегических звеньев Запада – примером является оборонная политика нынешнего правительства Новой Зеландии.

Распад традиционного созвездия политических партий в ФРГ, начавшийся со входа «зеленых» в бундестаг, кажется неизбежным. Принимая во внимание демографический фактор (за «зеленых», пацифистов и «альтернативные группы» голосует, главным образом, молодежь), можно ожидать, что «движение в защиту мира» будет расширяться. В этой ситуации «условие 5%», которое должно обеспечить политическую стабильность страны, теряет свое значение. Многие социал-демократы хотели видеть в «зеленых» преходящее явление: они были слишком крикливы для парламентской оппозиции, и казалось маловероятным, чтобы они могли вписаться в традиционный политический уклад. Однако вскоре после ухода одного из своих лидеров, Герда Бастиана, который обвинил других депутатов своей партии в создании «диктатуры некомпетентности», «зеленые» одержали самую крупную победу на выборах. А в Европейском Парламенте они получили более 10% голосов (этот рекорд был побит в Тюбингене, городе, известном своим «прогрессивным» университетом, – 20,6%). Это доказывает, что для оценки возможностей идеологических движений традиционные методы анализа непригодны.

Выборы в Европейский Парламент, в ходе которых свободным демократам впервые не удалось преодолеть 5%-го барьера, кладут начало погружению их партии в политическое небытие.

Социал-демократы, в среде которых доминируют идеологи-доктринеры, не принимают уже не только «двойного решения» НАТО, но и стратегической концепции Запада вообще, поддерживая при этом антиамериканские заявления «зеленых» в бундестаге. Всё это сопровождается редкостным политическим лицемерием, призванным запутать общественное мнение. СДПГ заявила о своей верности Атлантическому союзу, выступая в то же время против «двойного решения» НАТО (Оскар Лафонтен даже бросил призыв ко всеобщей забастовке). Они и сейчас продолжают «пускать пыль в глаза». СДПГ призвала к демонстрациям против осенних маневров НАТО на территории ФРГ, одновременно повторяя свои заверения в поддержке Североатлантического союза. В то же время социал-демократы развивают интенсивные контакты с СЕПГ. Начало этому было положено участием официальной делегации СДПГ в юбилейных мероприятиях по поводу очередной годовщины со смерти Маркса в Восточном Берлине. В сентябре же военные эксперты обеих партий обсуждали проект создания зоны, свободной от химического оружия, на территории обоих немецких государств. СДПГ старается превзойти христианско-

либеральную коалицию с ее Deutschlandpolitik*, которая, кстати, приносит боннскому правительству больше неприятностей, чем реальных выгод. Рассчитывать, что улучшение отношений с ГДР может вызвать положительную реакцию в военных кругах западного блока, – преступная наивность. Ни для кого не секрет, что некий консервативный политик из Мюнхена, предоставляя Восточному Берлину миллиардные кредиты, полагал, что Хонеккер повлияет на Москву и тогда Советы окажутся сговорчивее в вопросах ядерного вооружения. Кредиты Хонеккер, конечно, взял, но в позициях Москвы никаких изменений не произошло, произошли же они в Мюнхене, где ХСС оказался в страшном кризисе. Стоит, однако, упомянуть об одном из результатов «германской политики» – это торговля людьми. Сейчас ФРГ выкупает только политических заключенных, а раньше ГДР продавала и обычных преступников.

Для партии «зеленых» проблемы оборонной стратегии вообще не существует. Она заменяется абсолютно бредовыми идеями. Например, в случае советской оккупации предлагается прибегнуть к «bürgerliche Ungehorsam» (гражданскому неповиновению) – нечто вроде всеобщей забастовки и бойкота распоряжений властей. Это, по мнению «зеленых», вынудит оккупантов отступить.

7

Проблема новой немецкой идеологии – это не только «борьба за мир». Протесты против загрязнения окружающей среды и уничтожения лесов, против строительства атомных электростанций и против средств для консервирования пищевых продуктов, против внедрения компьютеров и против введения новых удостоверений личности – всё это тоже идеология. Так же, как профсоюзы, движения феминисток и гомосексуалистов. Все эти движения и течения имеют одну общую черту – они направлены против «капитализма». Это капитализм размещает ракеты и отравляет своей индустрией окружающую среду, это буржуазная система ценностей не дает гомосексуалистам места в обществе, а капиталистическая экономика не в силах разрешить проблему безработицы. Именно мир капитализма виновен в нищете стран третьего мира – отсюда и «tiers-mondisme»¹² с его антизападной пропагандой.

Сюда же примыкает и движение протеста против экспериментов в магазинах с заменой традиционной наклейки цифровым кодом, содержащим, помимо символа товара, и его цену, что могло бы уско-

¹² Непереводимый неологизм (от слов «Третий мир». – Пер.), родившийся во Франции и имеющий английское соответствие «Third-Worldisme».

* Германская политика (нем.). – Пер.

ритель обслуживание и облегчить работу кассиров. Противники нововведения усмотрели в нем проявление тоталитаризма. Студенты одного из мюнхенских общежитий так отреагировали на объявление администрации о готовящейся дезинфекции: «Мы будем сопротивляться!» Во всем виновен капитализм и империалистическое государство. «Kampf gegen die US-NATO-Kriegspolitik und den BRD-Staat!»* – кричат надписи со стен университетов.

Идеологическому сдвигу способствует атмосфера нерешительности, искусственно нагнетаемых страхов, пассивная беспомощность правительства, открывающая поле деятельности для демагогов и пропагандистов. На политическую сцену вырвался идеологический фанатизм, вооруженный верительной грамотой, выданной ему левыми интеллектуалами. Из множества примеров приведу только два: один исключителен по своей абсурдности, а другой прекрасно характеризует левых интеллектуалов.

В сентябре прошлого года член парламента от партии «зеленых» Ф. Шальба-Хот, выполняя решение своей партии, облил своей собственной кровью, принесенной в бутылочке, генерала П. С. Вильямса, командующего 5 корпусом американской армии, крича при этом «Blood for bloody army»**. Произошло это в Висбадене, в помещении ландтага, во время официального приема, на который были приглашены американские офицеры и представители местных властей. На следующий день в ландтаге с пламенной речью, прославляющей поступок Шальба-Хота, выступил его товарищ по партии Р. Брюкнер. Висбаденский прокурор Герт приостановил дело против «зеленого» депутата, мотивировав свое решение тем, что дальнейшее ведение дела могло бы нанести вред интересам общества. Сейчас Шальба-Хот – депутат Европейского Парламента в Страсбурге.

В мае 1984 года суд в Штутгарте-Штамхайме приговорил к пожизненному заключению П.-И. Боока, члена террористической организации «Фракция Красной Армии». Он был признан виновным в убийстве банкира И. Понто, президента союза работодателей Х.-М. Шлейера и еще четырех человек, в подготовке нападения на здание верховной прокуратуры в Карлсруэ. Защитником Боока был Х. В. Штенедорф, один из редакторов журнала «Шпигель», а вскоре после процесса появилась статья с характерным названием «Месть в Штамхайме»¹³, написанная В. Д. Нарром, активным членом «Комитета защиты основных прав и демократии»¹⁴. Самое поразительное – то, что на тринадцати страницах текста Нарр совсем не осуждает Боока (за одним

¹³ «Merkur», июль 1984, №427, S. 498-510.

¹⁴ Комитет объединяет «сливки» западногерманских интеллектуалов и имеет пацифистскую и антиамериканскую направленность.

* Борьба против военной политики США и НАТО и государства ФРГ! (нем.). – Пер.

** Кровь для кровавой армии (англ.).

исключением, когда автор все же признаёт, что Бюк «ошибся» – «er handelte falsch»), зато щедро осыпает порицаниями и обвинениями судей, прокуратуру и охрану, а главное – общество, систему, жертвой которых является Бюк.

Раймон Арон, анализируя в своем «Пристрастном наблюдателе» («Le spectateur engagé») проблему выбора политических позиций, писал: «Этот выбор состоит в том, чтобы принять или отвергнуть организацию общества, в котором нам приходится жить. Либо мы революционеры, либо нет. Если мы отвергаем общество, в котором живем, мы должны выбрать насилие и авантюризм».

Итак, принять общество или отвергнуть, сказать ему «да» или «нет». Западногерманские интеллектуалы сегодня говорят «нет». Но за этим «нет» – не столько логический выбор или разумный анализ, сколько как раз их отсутствие. Среди интеллектуальной элиты ФРГ ширится иррационализм. Скептическое отношение к разуму вообще характерно для периодов интеллектуальных переломов. Первая звезда антиамериканских писательских кругов Гюнтер Грасс называет «учениками чародея» «научных работников, прямо или косвенно связанных с вооружением»¹⁵. Смелый анализ основ советской стратегии ядерного устрашения, произведенный в «Силе головокружения» Андре Глюксмана, встретил довольно холодный прием у западногерманской интеллигенции. Товарищи Глюксмана по баррикадам 68-го года вещают сегодня в западногерманских университетах о «структурном насилии общества» и о «власти капитализма», которым подчинены все сферы жизни отдельного гражданина.

Вопрос, вынесенный в заглавие этого эссе, можно сформулировать и иначе: что может сделать демократия перед лицом страха и тупости, охвативших свободный мир? Я говорю не о конкретных политических решениях, а просто о возможности лечения идеологической болезни.

Во время одной из «встреч за круглым столом» в Мюнхене на подобный же вопрос профессор Лабедз ответил – «принцип реальности». Да только «реальность» идеологии сильнее реальности фактов.

Откуда же взялся этот протест против демократии, против системы, которая, не являясь совершенной, обеспечивает всё же наибольшую свободу личности? Почему интеллектуалы отдают себя во власть идеологии, в то время как факты ни в малейшей степени не подтверждают их построений? (Исторический опыт доказал полную несостоятельность доктрины Маркса, а марксизм всё царит в западногерманских университетах.) Ответ на этот вопрос дал Великий Инквизитор: «Нет заботы непрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, перед кем преклониться».

Свобода – право человека, но в то же время и тяжелое бремя. И

¹⁵ Die Zauberlehrlinge. – In: Der Orwell-Kalender. 1984. Bund-Verlag, 1984, S. 23.

нужно обладать большим интеллектуальным мужеством, особенно в наш атомный век, чтобы встать на сторону свободы.

8

Чтение подпольной прессы моей страны, наблюдения за тем, как реагирует польская оппозиция на западноевропейский пацифизм, убеждают меня в том, что в Польше это движение почти неизвестно. Частично в этом виноваты западные радиостанции, вещающие на польском языке, так как их передачи о пацифистском движении поверхностны и не содержат анализа идеологического содержания, глубинных причин и настоящих намерений этого движения. Мне хотелось бы верить, что, попав в Польшу, это эссе послужит своего рода предупреждением.

Мы должны помнить, что в основе Friedensbewegung, движения «зеленых» или «альтернативных групп» лежит борьба против политической системы Запада. Контакты, которые могут возникнуть между «Солидарностью» или другими подпольными группами и пацифистами, могут дать последним ложное идеологическое алиби и, что еще хуже, подтвердить концепцию симметрии, столь сильно пропагандируемую на Западе («Солидарность» в Польше должна быть тем же, что пацифизм на Западе). Между тем, принципиальная разница заключается в том, что если идеологические течения на Западе ставят под вопрос законность государства (к тому же, демократического), то оппозиция в странах советского блока эту законность признает, требуя только уважения конституции и других обязанностей, лежащих на правительствах. (Даже «Солидарность» никогда не требовала ничего большего.)

Интересно явление пацифизма в ГДР. Кажется, никто не обращает внимания на то, что это движение скопировано с пацифизма ФРГ, а ведь в ГДР все смотрят западногерманское телевидение. Нечто подобное уже давно происходит и в Польше – заимствуются с Запада моды или разные контркультурные течения, причем забывается тот элементарный факт, что в Западной Европе эти течения возникли на совершенно иной почве. То, что пацифисты в ГДР преследуются, – это уже другое дело: в сверхполицейском государстве любое независимое движение представляет опасность для властей.

Необходимо также подчеркнуть, сколь опасен пацифизм для стратегической ситуации Запада. Создается впечатление, что в области анализа проблем стратегии и международной политики подпольная польская пресса не поднялась еще выше самого начального уровня.

Это, однако, не значит, что я рассматриваю контакты с «зелеными» или пацифистами как смертный грех. Условием этих контактов должно быть общее согласие относительно основных ценностей и принципов. Можно выделить две основных установки: 1) принятие

демократического строя со всеми его недостатками; 2) признание того факта, что единственным западным государством, способным проводить более или менее последовательную антисоветскую политику в мировом масштабе, являются Соединенные Штаты. Не признавать их политики (речь идет не только о союзе с пацифистами; достаточно вспомнить Примаса Глемпа или советников Валэнсы с их призывами отменить американские санкции) значило бы затягивать петлю на собственной шее.

Однако недостаточно использовать высокие слова миролюбивой риторики в документах польских профсоюзов и в выступлениях представителей «Солидарности» на Западе (типа «Нет мира без свободы»). Задача польской оппозиции (и не только в контактах с пацифистами) – поведать правду об идеологической тоталитарной системе и о той опасности, которую она представляет в мировом масштабе. Ибо именно в Польше «принцип реальности» бросает вызов идеологической утопии.

Сентябрь 1984 г.

Вышла в свет книга Е. Наклеушева «К единому знанию», подзаголовок: «Набросок метафилософии-метанауки-метарелигии». Цена книги 12, 5 долларов включая пересылку. Желающие могут направлять заказы по адресу: I. Nakleushev, 626 Water St., Apt. 6 E. N.Y., N.Y. 10002, USA.

Журнал «Ридерс Дайджест» начал кампанию в защиту Андрея Сахарова. Его первой акцией была пресс-конференция 24 октября, на которой Татьяна Янкелевич выступила со следующим заявлением:

Я прошу вас о помощи. Советские чиновники вышвырнули моих родителей в Горький. Я уверена, что они хотели бы похоронить их там заживо. Все советские заявления, сделанные в последние месяцы, когда моя мать была задержана, а отец объявил голодовку, были направлены на то, чтобы убедить мир, что в Горьком все обстоит прекрасно, что мои родители ведут нормальную жизнь. Но даже то небольшое, что мы знаем, – убеждает нас в обратном. Все советские заявления должны рассматриваться с чрезвычайной осторожностью. Опыт доказывает, что осторожный подход и есть самый правильный.

И все-таки пришло время решительных действий для простых людей всех стран. «Ридерс Дайджест» призывает своих читателей по всему миру направлять свои письма непосредственно советскому правительству. Я хотела бы присоединить свой голос к этому призыву. Я также призываю вас говорить со всеми, кого вы знаете, – с вашими друзьями, родственниками, коллегами, со всеми, с кем возможно. Просите их присоединить свои голоса к общей борьбе за Сахаровых.

Я убеждена в том, что если бы мои родители выступали здесь сегодня, прося вас оказать помощь каким-то другим жертвам нарушения прав человека, вы бы не отказали в ней. Но сегодня в вашей помощи нуждаются они сами. Эти замечательные люди, бесстрашные борцы за права человека, возвышавшие снова и снова свой голос в защиту столь многих, – сегодня нуждаются в нашей помощи. И если мы не поможем им, если наше вмешательство ничего не даст, то мы окажемся бессильными и в других случаях нарушения прав человека, которые, несомненно, будут иметь место в будущем. Пора дать понять советскому руководству, что создавшееся положение неприемлемо для всех честных людей в разных уголках мира. Я думаю, что в этом и состоит наш долг не только перед моими родителями, но и перед нами самими. Защищая их права, мы защищаем и нашу собственную свободу, и свободу тысяч других людей, чьи человеческие права ущемлены сегодня.

ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

Игнатий Шенфельд

НАСЛЕДНИК ИЗ КАЛЬКУТТЫ

Рассказчиков, которые на худой конец могли «тиснуть роман», было много, но достигших класса «звоняря» можно было сосчитать по пальцам. Я сам, грешным делом, порывался с переменным успехом дотянуться до этого уровня мастерства, пока, прослушав однажды захватывающий трезвон Роберта Александровича Штильмарка, не открестился от чрезмерных притязаний. Штильмарк был непревзойден как в пересказе, так и в импровизации. Слава о нем неслась по лагерям Крайнего Севера, как по кочевьям казахских степей летела слава великих акынов.

Мы с Робертом тесно сдружились, и от него я узнал, как рано он начал вникать в жизнь и изучать разные ее аспекты, что впоследствии помогло ему приспособиться к лагерной действительности и выжить.

Родился он в 1909 году в Москве, в семье обрусевших скандинавов. Его предки переселились в Россию еще в петровские времена и, как все добрые скандинавы, вели свой род чуть ли не от короля Олафа XIV века. «В выборе предков нельзя допускать опрометчивости», – твердил Роберт, когда разговор касался его происхождения. Семья была сугубо интеллигентская: дед – адвокат, отец – химик, непременно желавший, чтобы сын пошел его стезею. Роберт, однако, предпочел выбрать литературу. На этой почве возник семейный конфликт, и сыну пришлось рано стать самостоятельным. Поступил в ВЛХИ имени Брюсова, который потом реорганизовался в Высшие литературные курсы. Учился он на

вечернем отделении, а днем работал где попало: топографом-нивелировщиком на планировке Москвы, лектором, охотником, руководителем самодеятельности в клубах, даже тапером в кино, пока оно было немым.

Еще до окончания института стал заниматься журналистикой. В 1932 году выпустил первый сборник очерков. Затем долгое время служил референтом по Скандинавии во Всесоюзном обществе культурной связи с заграницей, благодаря чему он познакомился со многими выдающимися личностями нашего века. Ему приходилось беседовать и переписываться с Мартином Андерсеном Нексе, Карин Михаэлис, Рабиндрантом Тагором, Ромэном Ролланом, Бернардом Шоу. Незадолго до войны посвятил себя целиком преподавательской работе: читал курс русского языка и вел семинары в нескольких учебных заведениях.

С первых дней войны Роберт находился на переднем крае. После третьего ранения и тяжелой контузии в 1943 году его отправили на курсы усовершенствования офицерского состава, а затем в Военно-топографическое управление Генштаба для преподавательской и редакционной работы.

За месяц до конца войны, в апреле 1945 года, его арестовали. Ордер на арест подписал лично Берия. Воентрибунал не захотел рассматривать дело, и пришлось его провести через Особое Совещание, которое приговорило Штильмарка к восьми годам заключения.

В лагере он работал на общих и снискал себе известность среди товарищей по несчастью как лучший «звонарь». Благодаря феноменальной памяти, Штильмарк мог на протяжении многих часов и дней воссоздавать сюжетные линии шедевров таких классиков приключенческой литературы, как Томас Майн Рид, Генри Хаггард, Луи Буссенар, Эмиль Габорио и пр. Он хорошо помнил и лучшие детективные романы того времени. Особенным успехом пользовались авантюрные повести о ловких проделках преступников, одерживающих верх

над полицией и исправляющих ошибки правосудия, – всяких Рокамблей, «Красных валетов» или Соньки Золотой-Ручки.

В зависимости от состава слушателей Штильмарк приправлял свои повествования более или менее обильным вымыслом. Благодарность свою зэки выражали тем, что делились со своим «звонарем» последней закуркой и лишним куском хлеба. Лагерному начальству не было до этого никакого дела, для них Штильмарк был врагом народа, к которому надо было относиться без всяких поблажек.

На 33-ю колонну строительства №503 Роберт Штильмарк попал случайно. Весна 1950 года была на редкость холодна даже для Крайнего Севера. Лед в низовьях Енисея не хотел тронуться, а в мае свирепствовала еще ледяная пурга и все проходы были занесены снегом. Невзирая на это, в управлении, ведающем прокладкой новой железнодорожной трассы Игарка-Дудинка-Норильск, решили отправить несколько партий зэков, чтобы они основали новые лагпункты вдоль запроектированной магистрали. Сегодня всем уже известно, что из грандиозного плана Сталина связать железной дорогой Салехард с Норильском по Полярному кругу ничего не получилось и осталось в памяти только одно название – «Мертвая дорога». Мертвая не только потому, что недостроенные и заброшенные пути никуда не ведут, но и из-за сотен тысяч погибших здесь зэков, которые в условиях вечной мерзлоты, орудуя только топором, киркой и лопатой, должны были удивить мир размахом социалистического строительства.

В составе одной из партий, пробивающихся на север, находился и Штильмарк. Ему повезло. Когда Роберт, обессиленный, свалился с воспалением легких, конвой его не добил, а отвел в ближайший, только что организованный лагпункт – на 33-ю колонну. Это было

километров за сто от обжитых мест. Условия быта самые примитивные: электричества еще не было, воду возили из реки в бочках, срубленные на скорую руку бараки были сыры, не хватало всего необходимого. Порядки были там диковинные. Среди сталинских лагерей были и такие, где сотни людей отдавались фактически во власть одного человека из заключенных. На 33-й колонне таким был всемогущий нарядчик Василий Павлович Василевский, абсолютно неграмотный «бытовик» с большим уголовным прошлым, имевший за собой уже несколько судимостей. В энергии и предприимчивости ему нельзя было отказать. Мощные связи с органами выдвинули его на руководящую должность, и он быстро стал любимцем лагерного начальства и кумиром воров, которых всячески поощрял.

Когда через некоторое время Штильмарк выкарабкался из болезни, Василевский направил его на лесоповал. Иногда, когда в редкие свободные часы Роберт Александрович, уступая просьбам собригадников, начинал рассказывать, Василевский останавливался позади толпившихся слушателей, внимал свободному ходу повествования и что-то себе на ус наматывал.

Однажды позвал он Штильмарка к себе и долго расспрашивал о его прошлом. Затем спросил его прямо, мог ли бы он написать роман, настоящий оригинальный роман по его, Василевского, заказу. А заказ был таков: роман должен быть о «похищении ребенка, об охоте на льва, чтобы не было про Россию, и не ближе как сто двести лет назад».

Выслушав эту галиматью, которая должна была лечь в основу сюжета, Штильмарк растерялся, не зная, что делать – расхохотаться или рассердиться. Но Василевский тут же обещал перевести его на такие виды лагерных работ, которые оставят время для писания: дезинфектор в бане, сторож склада, рабочий топографического отряда. Кроме того, он обязался снабжать Штильмарка бумагой и табаком. Ничего удивительно-

го, что Штильмарк согласился. Ведь это был шанс на жизнь, и его нельзя было упустить.

Василевский же отнюдь не бескорыстно стремился помочь Штильмарку. Дело в том, что по советским местам заключения рассказывалась легенда, часто поддерживаемая следователями, что якобы за лагерный подвиг: полезное изобретение, рационализацию производства, научный труд или произведение искусства – можно добиться освобождения. Назидательным примером служило дело профессора Рамзина, который на процессе Промпартии в 1930 году был приговорен к длительному заключению и несколько лет спустя за техническое изобретение освобожден и возвращен на прежние должности. Это был прототип гитлеровского лозунга на воротах концлагерей: «Арбайт махт фрай!»

Роман нужен был Василевскому, чтобы выдать его за свой собственный и добиться от Сталина отмены своего 12-летнего срока заключения. Кроме того, он хотел повысить свой авторитет перед лагерной администрацией созданием исторического романа в таежных условиях.

Штильмарк принялся за работу. Писал на крошечных листках почтовой бумаги, на порезанных мешках из-под цемента, часто при светильнике собственной конструкции – жестяная банка с керосином, из которой торчал ватный фитиль (он называл ее «зов предков»). Не было никакой возможности посмотреть на карту мира, заглянуть в элементарный справочник, энциклопедию, словарь.

Работа захватила его целиком. Это было бегство от окружающего и в то же время осуществление давних, еще довоенных замыслов большого романа. Повествование быстро подвигалось, действие перебрасывалось с одного континента на другой, росло число действующих лиц, искусно переплетались и усложнялись интриги, множились коварные убийства, похищения, побеги из тюрем, акты отчаяния и жертвенности. Память и эруди-

ция позволили автору воссоздать на этих клочках бумаги вторую половину восемнадцатого века во всем его великолепии, с возвышенными свободолюбивыми стремлениями и небывалым развитием крупного английского капитала. Писал с увлечением, стараясь растянуть и продлить состояние творческой эйфории. Однако Василевский торопил его с выполнением заказа, и по истечении полутора лет шестьдесят авторских листов романа «Наследник из Калькутты» были готовы.

Теперь приступили к работе переписчики, тщательно отобранные Василевским среди квалифицированных фальшивомонетчиков. С усердием средневековых монахов-переписчиков из ордена бенедиктинцев покрывали они листы специально выписанной бумаги четким каллиграфическим рондо, украшая каждую страницу виньетками. На титульном листе трехтомной рукописи, переплетенной в синий шелк из отнятой у эстонцев рубашки, Василевский велел поставить свое имя. Лагерный художник сделал карандашный портрет мнимого автора, который был вклеен перед титульным листом.

На соседнем лагпункте работал прорабом один старый зэк, бывший когда-то литературным критиком. Василевский послал ему «свой» роман для отзыва и получил восторженный ответ. Но в то же время старый дока высказал свое сомнение в том, поверят ли высшие инстанции в авторство Василевского. И тот, опасаясь, что ему придется где-то отвечать на вопросы по существу написанного, чего он, конечно, по малограмотности сделать не мог, решил все-таки добавить мельчайшими буквами имя своего «соавтора».

Некоторое время спустя «шестерка» Василевского, пылкий поклонник таланта «звонаря», тайком предупредил Штильмарка, что Василевский решил избавиться от невыгодного «соавтора» и договаривается с несколькими уголовниками об его убийстве. Хорошо

зная, как легко можно в лагере инсценировать «несчастный случай» или просто придушить человека, Штильмарк побежал на вахту и заявил надзирателям, что он не останется в зоне, где его жизнь подвергнута опасности. Не подействовали ни угрозы, ни увещевания – Штильмарк настоял на своем, и его включили в отправляющийся наутро небольшой этап. Таким образом Роберт Александрович Штильмарк оказался вне власти Василевского.

Время летело, Сталин умер, Берию ликвидировали, а Штильмарк, отбыв свой срок, попал в ссылку в Енисейск. Там судьба свела его со своей бывшей ученицей из Московского педагогического института. Она вышла за него замуж и тут же была уволена с преподавательской работы за связь со ссыльным. Когда они переселились в близлежащее Маклаково, где Роберт стал работать топографом, я заходил к ним, и разговор часто переключался на пропавший где-то в недрах ГУЛага роман «Наследник из Калькутты». В 1955 году, когда уже началась хрущевская оттепель, Роберт написал своему проживающему в Москве сыну, чтобы тот попытался узнать в ГУЛаге, какова судьба Василевского. Вскоре выяснилось, что Василевский попал под амнистию 1953 года и проживает теперь в Ульяновске. Даже адрес был приложен.

Скрепя сердце, Роберт отправил ему любезное письмо и получил ответ, что рукопись лежит в архивах ГУЛага. Началась оживленная переписка, в результате которой Василевский согласился подписать доверенность на получение Робертом рукописи и управление издательскими делами.

Рукопись вернулась к автору, и он стал заниматься редакционной обработкой своего романа. Сократил объем с шестидесяти до сорока трех авторских листов, проверил точность исторических дат и географических данных, отбросил некоторые эпизоды, добавил новые,

не нарушая, однако, ни композиции произведения, ни сюжетных линий. Ему хотелось побыстрее отправить рукопись в издательство.

Кончался год 1955, и неожиданно комендант поселка сообщил, что я свободен и могу возвращаться в Польшу. Я собрался, попрощался с друзьями, в том числе с Робертом и Маргаритой Штильмарк.

В Варшаве я быстро включился в нормальную жизнь, стараясь поскорее забыть тринадцать лет скитаний по тюрьмам, лагерям и ссылкам, и ушел с головой в литературные дела.

Летом 1958 года открылась в Варшаве большая выставка советских литературных новинок. В надежде, что наткнусь на что-либо интересное, я обходил стенды с книгами, и вдруг мой скучающий взор остановился на толстой книге в зеленом коленкоровом переплете с изображением на обложке горбоносого джентльмена в треуголке, в узорчатом сюртуке с кружевным жабо, при шпаге и с пистолетом в каждой руке. Повеяло от той обложки пороховым запахом приключенческих романов викторианской эпохи – Стивенсона, Саббатини, Коллинза. Я взял книгу в руки и прочел название «Наследник из Калькутты». Мое сердце дрогнуло от радости, которая тут же погасла, когда я увидел фамилии авторов: Р. Штильмарк и В. Василевский.

Я купил книгу и придя домой углубился в чтение предисловия «От авторов»:

«Мы начали работать над романом в экспедиционно-полевой обстановке, двигаясь по зимней заполярной тайге с первыми строительными партиями, следом за изыскателями. Каждый грамм поклажи означал лишний расход сил, поэтому беллетристических книг брали с собой очень мало. Тем острее наш первоначальный коллектив испытывал потребность во всех средствах культурного отдыха, хотя часы этого отдыха на первых порах были, конечно, недолги.

Среди рабочих первых изыскательских и строительных партий было много смелой и веселой комсомольской молодежи. После напряженного трудового дня молодежь собиралась у «огонька», пела песни

и читала взятые с собой книжки. Они были быстро прочитаны, новых поступлений ждать пока не приходилось, и наш «кружок у костра» стал, так сказать, ареной проявления всех самодеятельных талантов.

Наш коллектив принес с собой в Заполярье чувство товарищества, комсомольский задор...»

Я перевел дыхание и прервал чтение. Ведь это опять старая мистификация и очковтирательство. Мне вспомнилось, как в 1946 году на строительство гидроэлектростанции на реке Косье на Северном Урале приехали кинооператоры, чтобы заснять пару кадров для кинохроники. С эков сняли лохмотья, переодели в приличную спецодежду и велели улыбаться в объектив. Спустя некоторое время лагерная передвижка демонстрировала у нас в клубе репортаж с комсомольской стройки на Урале. Во вдохновленных решениями партии строителях эки узнавали себя самих.

Я читал дальше:

«...И вот однажды зашла речь о том, как же раньше, в другие времена и в других странах осваивались новые земли, как возникали поселения людей, приходивших из-за моря на другие материки, какие цели ставили перед собою. Вот тогда-то и возник у нас замысел этого романа, ибо готовой литературы, освещающей эту тему, не оказалось.

Оба автора по годам были старшими членами описанного дружного коллектива. Вместе с техническими специальностями мы принесли с собой в этот коллектив некоторый литературный опыт, любовь к исторической теме, острую ненависть к живучему мифу о добром старом времени капитализма. И мы решили попробовать свои силы на поприще устного «самодеятельного творчества» в качестве романистов-рассказчиков у костра. Повествование наше слушалось у костров, в палатках и бараках с неослабевающим интересом. И вот, учитывая, что любая аудитория рассказчика все же поневоле ограничена, мы решили взяться за перо, чтобы превратить наш устный роман в книгу...»

В таком духе были написаны все десять страниц этого авторского предисловия. Как же могли заставить бедного «звонаря» участвовать в такой липе и терпеть имя Василевского рядом со своим?

Я раздобыл адрес Роберта и написал ему, что в силу своего положения я готов содействовать переводу ро-

мана на польский, а затем изданию его, но, зная истинное положение вещей, не соглашусь на «соавтора» и на лживое предисловие.

Через какое-то время поступил ответ:

Купавна, 18 сентября 58 г.

Дорогой друг!

Письмо твое доставило мне и Маргарите Дмитриевне большую радость, только, к сожалению, оно очень долго до меня шло, так как адрес был указан не совсем точно. Пока позволь мне поблагодарить тебя за внимание к моей книге, которую ты имел возможность видеть в рукописи и своеобразная история создания которой тебе известна. Это письмо прошу рассматривать как предварительное, с единственной целью подтвердить, что мы помним и любим вас обоих (теперь троим!) и очень рады возобновлению нашего контакта. О личном мы, надеюсь, еще успеем обменяться письмами, а пока разреши кратко ответить на те несколько замечаний насчет моего «Наследника», которые ты делаешь в своем письме...

Зная тебя просто как моего доброго друга, столько раз помогавшего мне своим оптимизмом и добрым словом в незаслуженно трудные годы, я рискую поставить тебя в известность о некоем конфликте, который ты поймешь, как никто другой... Итак, ты прекрасно осведомлен об истории «Наследника». Одним из первых знаешь, что такое Василевский. Человек этот одно время сильно облегчил мне жизнь своим заказом на «роман», исполнение которого и дальнейшая судьба тебе известны.

Я получал все время от него очередные доверенности на ведение всех дел издания (иначе я не мог, ведь в ГУЛаге рукопись лежала в соответствии с его заказом от его имени, и лишь как второе лицо к рукописи было под конец подклеено мое) и на получение денег. Это было формальностью, ибо он всегда подчеркивал свою незаинтересованность в деньгах.

Теперь он терпеливо дождался, когда я выпустил книгу (тираж – 90 тысяч), и получил от меня большие деньги – 27 500 рублей, нашел, что этого мало, и решил меня шантажировать (в точности и абсолютно так, как ты это дословно предсказывал, почему я и пишу именно тебе об этом) и, угрожая наложить арест на мой текущий счет и взять обратно доверенность, требует не больше и не меньше, как половину гонорара (у меня же денег больше не осталось, как ты понимаешь).

Этого можно было ожидать. Я не думаю, чтобы у него что-нибудь получилось с шантажом (а каков мерзавец-то, а?), но во всем этом деле есть одна ахиллесова пята: почему я, после моей полной судебной реабилитации, после восстановления меня в армии, чинах, званиях и т. д., после компенсации мне имущества, присуждения московской квартиры, восстановления во всех правах – почему я не сказал в Детгизе, что Василевский – чисто формальный соавтор и сомнительная личность. Скажу тебе откровенно – не сделал я этого потому, что издание книги висело на волоске: у нее были враги в самом издательстве, находившие ее несвоевременной, у нее были враги-завистники, интриговавшие против нее даже в печати, пока она еще не родилась, у нее было мало доброжелателей и много недругов. Поэтому-то я и поостерегся еще и тень бросить на своего соавтора, надеясь, что он поймет, какова была его роль и моя в этом героическом продвижении книги до читателя. А всего четыре дня назад он потребовал от меня письменно, чтобы я платил ему пятьдесят процентов, иначе он подаст на меня в суд.

Так вот, из-за его перехода к враждебным действиям хочу тебя спросить, не мог бы ты мне помочь в этом справедливом деле защиты от шантажиста и мошенника? Ты-то давно знаешь, что не только «идеи», «замыслы» и т. д. я у него не использовал, а что он по своему черному невежеству и не смог бы создать ничего похожего на «замысел». О том, что он в написании не участвовал, он пока что сам сознавался. Его единственный аргумент: какое ваше дело, кто что писал? Имеется договор и моя доверенность – и дело с концом: деньги – на бочку! Недаром я списал с него Джакомо Грелли, в этом смысле – он действительно соавтор! Вернее, прототип героя.

Нужно потихоньку готовить Детгиз к неприятной неожиданности, что один из «авторов» – жулик. Так вот, не следовало бы тебе, например, написать или лично сказать, скажем, Касселю (зам. главного редактора издательства. – И. Ш.) или с кем ты там имеешь дела, что был неподалеку от места рождения книги, где всем было широко известно, что она написана только одним автором – Штильмарком (можно его при этом охарактеризовать в той милой форме, которую ты для этого неоднократно избирал, когда говорил обо мне с твоими друзьями) и что ты недоумеваешь, при чем здесь гражданин Василевский, о котором было широко известно, что он поддерживал автора в трудное время, но сам к книге никакого отношения не имеет.

Так как в Детгизе народ не очень решительный, то это будет, вероятно, воспринято не совсем положительно. Тебе что-то скажут, а

может быть, и вообще смолчат, но меня пригласят и спросят, в чем дело. И тут-то мне придется держать суровый ответ. Я, однако, надеюсь, что сумею объяснить товарищам, что выбирал я в соавторы только одного из двух кандидатов – мадам Смерть или месье Василевского, так что выбор был нетруден. Причину, по которой я оставил в силе старую ложь после моего ренессанса, – я пояснил выше. Надеюсь, что ко мне не будут слишком строги!

Я уверен, что ты правильно меня понял, ибо я не интриган и всегда был неплохим товарищем, а сейчас – в угрожающем положении со стороны грязного подлеца.

Что касается моего полного эмфиаза и эвфемизмов предисловия к роману, то ты, наверное, понимаешь, что тогда, задолго до XX съезда партии, я не мог написать предисловие так, как написал бы его сейчас. В сложившейся обстановке я должен был подчиниться требованиям издательства. Это было условие *sine qua non* и коль скоро мы при латыни, добавлю: *sapienti sat!*

Крепко тебя обнимаю и целую, с понятным нетерпением жду твоего письма. Я не знаю обстановку у вас, и, может быть, все это делать для тебя нецелесообразно. Книга у нас имеет очень большой успех.

Искренне твой

Роберт.

Я постарался помочь моему другу, свидетельствовал, где надо, теребил членов президиума Союза писателей, и там я узнал, что Василевский обращался в приемную комиссию с просьбой о зачислении его в ряды писателей. Когда ему предложили тут же написать свою автобиографию, он вышел и никогда больше не возвращался.

В конце февраля 1959 года я получил письмо, в котором Роберт писал:

«Инцидент с „соавторством“ благополучно исчерпан. Ты буквально предвосхитил события: в установленном законом порядке я признан единоличным автором; второе имя согласно постановлению суда от 9 февраля 1959 года не будет впредь упоминаться на книге, в договорах и т. д. У меня с плеч упала большая тяжесть с тех пор, как окончился этот несколько искусственный симбиоз. В соответствии с этим определением роман в этом же году еще будет выпущен массовым тиражом (225 тысяч) под одной фамилией, так что имя

моего бывшего партнера сохранится лишь как курьез на титуле первого издания».

Книга выдержала очень много изданий, была переведена на многие языки, ее причисляют к классике советской приключенческой литературы. Автор написал еще несколько книг, но ни одна из них не достигла даже частичного успеха «Наследника». Штильмарк остался автором одной книги, у которой необыкновенная история. Поистине, *habent sua fata libelli*.

В 1963 году я приехал в Москву, и мы с Юрием Осиповичем Домбровским решили навестить Роберта, «товарища по музам и судьбам», как говорил Юрий. По Горьковской железной дороге мы доехали до поселка Купавна, где у Роберта уютная дача.

Когда уже было много съедено и еще больше выпито, я обратился к хозяину с просьбой показать Юрию свою литературную реликвию – рукопись «Наследника из Калькутты».

Роберт сразу погрузился, развел руками и тихо сказал:

– Да ее у меня нет. Года два тому назад Василевский подстерг, когда здесь, в доме, никого не было, вломился и утащил все три фолианта.

ШЕНФЕЛЬД Игнатий – родился в 1915 г. во Львове, где изучал славистику и ориенталистику. Начал печататься в 1935 г. как поэт и переводчик. В июне 1941 г. эвакуировался в Ташкент, где в январе 1943 г. был арестован и решением ОСО приговорен к 10 годам заключения. В тюрьмах и лагерях сблизился с многими репрессированными русскими писателями. После трехлетней ссылки в Красноярском крае в 1956 г. возвратился в Варшаву, где занялся издательской и литературной деятельностью. Переводил на польский язык поэзию Ахматовой, Асеева, Ходасевича, Окуджавы, Вознесенского, Горбаневской, прозу Артема Веселого, Мандельштама, Юрия Домбровского, Солженицына и др. В 1969 г. эмигрировал в Париж. С 1971 г. живет в Германии и занимается литературоведением. Публикуемый рассказ входит в книгу, которую автор готовит параллельно на польском и русском языке.

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН
Alexander Solzhenitsyn



ЧИТАЕТ
Reading

"ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА"
"One Day In The Life Of Ivan Denisovitch"

ЗАПИСЬ РУССКОЙ СЛУЖБЫ БИ - БИ - СИ
Recorded For The BBC Russian Service

ПРОДАЕТСЯ ЗДЕСЬ
Available Here

ORDER FORM

Please send me the three cassettes of the BBC Russian Service Recording of
"One Day in the Life of Ivan Denisovitch".

I enclose my cheque/postal order/international money order for £12 including VAT,
Postage and Packing.

Name

Address

Send to:

BBC External Business and Development Group, Room 913 N.E. Wing, Bush House, London WC2

ЗАМОЛЧАННЫЙ МАРКС

Эта статья открывалась редакционным поздравлением автору – известному публицисту и общественному деятелю Русского Зарубежья, – в этом году ему исполнялось восемьдесят лет. Номер уже был в печати, когда мы с глубокой скорбью узнали о наступившей 6 марта с. г. кончине Николая Ивановича Ульянова.

«Континент»

В личности и в учении апостола коммунизма есть глава, про которую нельзя сказать, что ее скрывают; относящиеся к ней материалы опубликованы, но широкий читатель их не знает. Если «Капитал», «Коммунистический Манифест», «Анти-Дюринг» и прочие «богослужебные» книги выпускаются огромными тиражами и прямо-таки навязываются публике, то для ознакомления со статьями из «Новой Рейнской Газеты» надо обращаться к малораспространенным и редко встречающимся изданиям, вроде штуттгартского «Aus dem literarischen Nachlass von K. Marx, F. Engels und F. Lassal». Так же трудно доступны письма, касающиеся темы, о которой собираемся здесь говорить. Нужен особый исследовательский интерес, чтобы из нескольких томов «Briefwechsel», изданных трудами Ф. Меринга, Бебеля, Каутского, Бернштейна, извлечь необходимые тексты¹. Такой труд, конечно, не для массового читателя. Последователи же Маркса и марксоведы отнюдь не ста-

¹ Из журнала «Возрождение» № 201 за 1968 год. Перепечатывается с незначительными сокращениями.

вят задачей облегчение знакомства с ними. Если им и приходится порой касаться пикантного материала, они почти всегда сглаживают его одиозность, дают ему толкование, благоприятное для Маркса. Даже Эдуард Бернштейн, «ревизионист», первый посягнувший на культ непогрешимости учителя, старается оправдывать самые дикие его высказывания.

Только политические противники Маркса, вроде Джемса Гийома, давно отметили их «дикость», но их одинокие голоса заглушены дружным хором марксистов. Из русских «полу-марксистов», едва ли не единственным, обратившим внимание на ересь вождей, был В. М. Чернов – лидер партии эсеров. В парижской газете «Жизнь» он напечатал в 1915 г. серию статей, под псевдонимом Гарденин, которая появилась через год в Петрограде на страницах «Русского Богатства», озаглавленная «Марксизм и славянство», а летом 1917 г. под тем же заглавием вышла в Петрограде отдельной брошюрой. В буре тех дней она вряд ли привлекла к себе внимание; с приходом же к власти большевиков поднятая в ней тема попала в разряд запретных и пребывает таковой до сего дня.

Между тем, никогда за все 150 лет, протекших со дня рождения создателя «научного социализма», не было более удачного момента, чем сейчас, чтобы припомнить такие его высказывания, о которых ортодоксальные марксисты стараются не говорить, как о секретной болезни. Именно сейчас, когда мировая революция делает ставку на национальные противоречия, когда ни «пролетариат», ни «революционное крестьянство», ни даже «трудящиеся» не фигурируют в революционном словаре, уступив место «народам», «сегрегациям», «расовым дискриминациям», полезно открыть запечатанную книгу и посмотреть, что писал о «расах» тот, кто призывал пролетариев всех стран соединиться и кто считается создателем современного учения о политическом расширении национальной проблемы. Говорю «счита-

ется», потому что на самом деле это учение создано не им, а его эпигонами в эпоху II Интернационала. Когда покойный Р. А. Абрамович, лет 20 тому назад, поместил в «Социалистическом Вестнике» три больших статьи² с изложением социал-демократической точки зрения на национальный вопрос, там совсем не оказалось ссылок на основоположников марксизма. Перечислялись труды Карла Реннера, Бруно Бауэра, Каутского, Медема, всех представителей так. наз. австро-марксистской школы, но ни Маркса и Энгельса, ни лиц из ближайшего их окружения не упоминалось. И это не случайно. Между теоретиками II Интернационала и Марксом – глубокая пропасть в воззрениях на национальный вопрос.

Чтобы не перечислять всех противоречий, коснемся знаменитого права нации на самоопределение, сделавшегося важнейшим лозунгом II Интернационала. Его нет у Маркса. Самое слово «самоопределение» берется часто в иронические кавычки. Если он и требовал иногда свободы и независимого государственного существования для какого-нибудь народа (ирландцев, поляков, итальянцев), то не в силу права и справедливости, а по сугубо утилитарным соображениям. Независимости Ирландии хотел не для самой Ирландии, а для ускорения государственного переворота в Англии. Потребовал на международном конгрессе в Женеве (1866 г.) самоопределения национальностей Российской Империи, но слышать не хотел о таком же самоопределении австрийских и турецких славян. Скорейшей гибели и уничтожения – вот чего желал он этим наиболее угнетенным народам Европы. Внимание же его к российским народам он откровенно объяснял намерением разрушить Империю.

Он никогда не понимал «самоценности» права на самоопределение.

В революционном 1848 году поднялись венгры и чехи. Оба восстания имели одну и ту же цель – вырвать

свою страну и народ из-под австрийской власти. Но все симпатии Маркса-Энгельса принадлежали только одному из них – венгерскому; другое, чешское, упоминается не иначе, как с величайшей злобой, оно объявлено «реакционным», и чехам грозят за него мстостью.

Современному читателю трудно примирить такие высказывания с укоренившимся представлением о Марксе – глашатае интернационализма и руководителе I Интернационала. Исторические факты не дают ни малейшего права делать различия в природе венгерского и чешского восстаний. Но Маркс не исходил из фактов. Он руководствовался отвлеченной исторической доктриной. В молодости оба они с Энгельсом были гегельянами и многое из гегелевского учения тяготело над ними всю жизнь, особенно популярное в те времена деление народов на исторические и неисторические.

У Гегеля оно основывалось на идее саморазвития мирового духа, Маркс и Энгельс подвели под него свой собственный базис в виде учения об экономическом прогрессе. Историческими народами были для них те, которые преуспевали в смысле материального процветания и на его основе создали крепкую государственность и культуру. Они – носители прогресса, хозяева истории. Им позволено устранять со своего пути народы отсталые, забирать их земли, богатства и самих уничтожать. «Народы, никогда не имевшие собственной истории, подпавшие с момента достижения ими первой грубой ступени цивилизации под чужое господство, такие народы не имеют никакой жизнеспособности и никогда не достигнут никакой самостоятельности». Американцам не ставят в вину захват Техаса и Калифорнии, вырванных «из рук ленивых мексиканцев». Мексиканцы не знали, что с этими землями делать, а вот янки за короткий срок развили там кипучую деятельность, насадили промышленность, построили города, принесли цивилизацию на берега Тихого океана. «Быть может, – пишет Маркс, – «независимость» некоторого числа испанских

калифорнийцев и тексасцев потерпела от этого; быть может, «справедливость» и другие моральные принципы были нарушены там и сям при этом случае, но что значат эти нарушения против таких всемирно-исторических фактов?» Надо ли говорить, что оправданием захвата Техаса и Калифорнии оправдывался и захват Египта, Конго, южной и северной Африки и все колониальные захваты времен Дизраэли, Жюлья Ферри, Бисмарка, Бюлова, Леопольда II... Что сказал бы Маркс своим теперешним последователям, выбросившим лозунг «антиколониализма»?

В одной из корреспонденций в «Нью-Йорк дейли трибюн» он описывал хозяйничанье англичан в Индии. Ему прекрасно были известны их хищнические приемы, беспощадный грабеж, следствием чего были систематические голодовки и неслыханное по размерам вымирание индусов. Но все прощается англичанам за их роль разрушителей патриархального хозяйственного уклада и быта туземцев, за внедрение в индусскую экономику капиталистических начал. Он уподобляет это социальной революции. «Совершая эту социальную революцию в Индостане, Англия, конечно, руководилась исключительно низменными интересами и действовала грубо, желая добиться своего. Но дело не в этом. Весь вопрос в следующем: может ли человечество выполнить свое назначение без коренной социальной революции в Азии? Если оно этого не может, то Англия, каковы бы ни были ее преступления, при совершении этой революции была лишь невольным орудием истории».

Как примирить все это с социалистическим учением?

Автор «Капитала» вышел из положения гениально. Он объявил неисторические народы реакционными – врагами прогресса и революции. «Нет такой страны в Европе, которая не обладала бы в том или другом уголке обломками одной или нескольких народностей, представляющих остатки прежнего населения, затес-

ненного и угнетенного тою народностью, которая стала потом носителем исторического развития. Эти остатки племен, безжалостно растоптанных ходом истории, как выражался где-то Гегель, становятся и остаются вплоть до их полного угасания или денационализации фанатическими приверженцами и слугами контрреволюции, так как уже все их существование представляет вообще протест против великой исторической революции». Напротив, история экономически и государственно сильных национальностей священна, как история избранных народов.

В Австрии существуют, по мнению Маркса, только три таких носителя прогресса, принимавших деятельное участие в истории и сохранивших свою жизнеспособность: немцы, венгры и поляки. И потому они революционны. «Миссия всех других крупных и мелких племен заключается, прежде всего, в том, чтобы погибнуть в революционной мировой буре. И потому-то они теперь контрреволюционны»...⁴ «Все эти маленькие тупоупрямые (*stierkoerfigen*) национальности будут сброшены, устранены революцией с исторической дороги».

Нет нужды распространяться о том, как звучат подобные речи для современного уха, воспитанного на идее национальной терпимости и на осуждении расовой ненависти. Но нельзя не удивляться, что это изуверство вот уже сто лет не встречает слова осуждения со стороны последователей коммунистического пророка и не наложило на ореол его святости ни малейшего пятна. И это в то время, когда его именем разрушаются колониальные империи и создаются государства среди людоедских племен.

Сколько раз и в статьях, и в переписке Маркса-Энгельса мы встречаемся с утверждением, будто реакционность славян объясняется не одним их участием как солдат в подавлении немецких и венгерских восстаний; она им присуща «от природы». Славяне и тысячу лет тому назад были контрреволюционны, подобно тому

как немцы и мадьяры были революционерами еще при Карлах Великих, при Фридрихах Барбароссах. Энгельс так и говорит: «В Австрии, за исключением Польши и Италии, немцы и мадьяры в 1848 г., как и вообще в продолжение последнего тысячелетия, взяли историческую инициативу в свои руки. Они – представители революции. Южные славяне, уже тысячу лет тому назад взятые на буксир немцами и мадьярами, только для того поднялись в 1848 г. на борьбу за восстановление своей национальной независимости, чтобы тем самым одновременно подавить немецко-венгерскую революцию. Они – представители контрреволюции». Их с одинаковым возмущением упрекали в двух взаимно исключающих друг друга грехах: в том, что они стоят не за революцию, а за Габсбургов, и в том, что устраивают восстания против Австрийской империи. Читателям так и не объясняют, каким образом можно соединить верность Габсбургам со стремлением выйти из-под их власти. Не объясняют и другое: почему венгры, захотевшие отделиться от Австрии, сохранили репутацию революционеров, а славяне за такое же точно намерение предаются анафеме. С ними обещают свести счеты после революции. «Кровавой мезью отплатит славянским варварам, – грозит Энгельс, имея в виду победу революционной стихии, – всеобщая война, которая тогда вспыхнет, рассеет этот славянский Зондербунд и сотрет с лица земли даже имя этих упрямых маленьких наций».

Когда Чернов-Гарденин в 1915 году с возмущением говорил об идее деления народов на революционные и контрреволюционные, Ленин горячо вступился за своего учителя. «Мы, марксисты, – заявил он, – всегда стояли и стоим за революционную войну против контрреволюционных народов. Например, если социализм победит в Америке или в Европе в 1920 году, а Япония с Китаем, допустим, двинут тогда против нас, сначала хотя бы дипломатически, своих Бисмарков, мы будем за наступательную революционную войну с ними».

Правда, по Ленину, Китай и Япония контрреволюционны лишь в том случае, если двинут своих Бисмарков, по Марксу же они будут контрреволюционны и в том случае, если не двинут их.

Англичане беспощадно подавляли ирландские восстания, пруссаки подавили дрезденское восстание, австрийцы задушили освободительные восстания чехов, итальянцев, венгров, тем не менее, ни англичане, ни обожаемые немцы не отнесены к нациям реакционным. Маркс-Энгельс могли поругивать Виндишгреца, Радецкого, но состоявших под их командой немцев ни в одном контрреволюционном грехе не заподозрили. Чехи же, хотя и подняли восстание и героически сражались на баррикадах, – реакционны. Реакционны как раз потому, что восстали, ибо восстали против немцев – избранного революционного народа. В те самые дни, когда на улицах Праги лилась кровь, оба друга писали в «Новой Рейнской газете»⁵, что хотя им по-человечески и жаль чехов, но «победят они или потерпят поражение, их национальная гибель во всяком случае неизбежна». По их словам, в той великой борьбе между реакционным Востоком и революционным Западом Европы, что должна разразиться всего, может быть, через несколько недель, восстание чехов против немцев ставит их на сторону русских – на сторону деспотизма против революции. «Но революция победит, – угрожали они, – и чехи окажутся первыми жертвами угнетения с ее стороны». Чехам, таким образом, нет спасения: если их не добьет и не достреляет князь Виндишгрец, то добьет и достреляет Карл Маркс на другой день после победы революции. Они обязаны исчезнуть как национальность, потому что имели несчастье попасть в разряд народов «неисторических»*.

* Bertman D. Wolfe в своем труде «Le marksisme, une doktrine centenaire» пишет:

«О «славянской сволочи» (Lumpengesindel) Маркс писал уже в своей статье, подводившей итоги революционного 1848 года. Немного

Марксу не принято приписывать националистических страстей. Даже Чернов, квалифицировавший образ его мыслей как шовинизм, дал этому шовинизму эпитет «революционный», что в достаточной степени бессмысленно, так как шовинизм категория национальная и в другой план не переносима. Но как объяснить несомненную и ярко выраженную неприязнь к целому ряду народов? Допустим, что авторы «Коммунистического Манифеста», в самом деле, ничем, кроме социализма, не горели, – это не спасает их от упрека. Горение на манер вышеописанного не делает чести ни им, ни социализму. Неужели надо предположить не «революционный», а самый настоящий шовинизм? В таком случае, чьим шовинистом мог быть Маркс? Еврейским, поскольку он еврей? Но он и о евреях писал столь неласково, что существуют печатные работы, обвиняющие его в антисемитизме. Значит, немецким? Как ни странно звучит сейчас такой вопрос, отбросить его не так просто. То, что почти не встречается в наши дни, было сравнительно частым явлением во дни Маркса. Стоит вспомнить Дизраэли – вдохновителя английского джингоизма. В той же Германии до самого прихода Гитлера было немало евреев, называвших себя немцами иудейского вероисповедания. А Маркс, несмотря на большое количество предков-раввинов, не принадлежал к иудейству. Уже отец его был протестант; сам же он, хотя и сделался в юношеском возрасте атеистом,

позже, в феврале 1849 г., ту же тему развил Энгельс, заявляя, что судьба западных славянских народов – «дело уже конченное». «Их завоевание совершилось в интересах цивилизации... Разве же это было «преступление» со стороны немцев и венгров, что они объединили в великой империи эти бессильные, расслабленные, мелкие народишки (Nationchen) и позволили им участвовать в историческом развитии, которое иначе... осталось бы им чуждым?!».

воспитан с детства в протестантизме, а мать и старшая сестра Софи являли типы настоящих протестантских фанатичек. Все это – не в пользу его еврейства. Если прибавить женитьбу на Женни фон Вестфален и постоянное вращение в немецких кругах и семьях, то нетрудно понять его германизацию. К тому же, как это рисует в своей книге Б. Николаевский⁶, нигде, быть может, не существовало более удачных условий для ассимиляции евреев, чем в Германии. Особенно ухаживали за интеллигенцией. На Маркса, как на в высшей степени одаренного человека, не могла не оказать влияния и культура страны, особенно великая немецкая философия. Едва ли не Гегель, чьим поклонником он был в молодости, привел его к германизму. Ведь конечным пунктом всемирного развития и наивысшим воплощением мирового духа, по Гегелю, было прусское государство Фридриха-Вильгельма III. Раз сам мировой дух был пруссаком, то почему бы не идти по его стопам Карлу Марксу? От еврейства он мог усвоить темперамент, психический склад, но по умонастроению был совершенным немцем. После войны 1870 г., когда в «Интернационале» его пангерманизм стал вызывать толки, он с гордостью отвечал – да, я немец и хороший немец (*von Haus aus ein Deutscher*)⁷.

Что марксизм вылупился из немецкого гегельянства, это знают все, но что «революционная нетерпимость» Маркса родилась из немецкой национальной нетерпимости и высокомерия, этого знать не хочет ни один марксист. Гегель был, по-видимому, главным виновником того, что немецкий народ для Маркса имел все права на первенство. Достаточно беглого просмотра его сочинений и переписки, чтобы заметить особый тон всякий раз, когда речь заходит о немцах. Это ничего, что он и Энгельс частенько поругивают Бисмарка, Фридриха-Вильгельма, Вильгельма I, прусских юнкеров. Однажды они похвастались тем, что неоднократно выступали против всяких проявлений национальной

ограниченности немцев, но тут же оговорились: «В отличие от некоторых других лиц, мы не ругали все немецкое зря и с чужих слов». Критика была семейная. Но во всех высказываниях, касавшихся общего взгляда на германский мир, у них неизменно звучали фанфары. Они ведь родились и выросли в эпоху шумного превознесения германского гения и сознания превосходства всего германского. Порой они давали образцы настоящего юнкерского патриотизма, как это было во время франко-прусской войны 1870 г. Победы пруссаков они называли в своей интимной переписке «нашими блестящими победами». Тут они не далеко ушли от Лассалья, мечтавшего «дожить до времени, когда турецкое наследство достанется Германии и когда немецкие полки солдат или работников будут стоять на Босфоре».

Но патриотизм Маркса сказался в специальной области. Его национальная гордость состояла в том, чтобы не где-нибудь, а именно в Германии восторжествовало то дело, которому он посвятил жизнь. Честь открытия новой эры в истории должна принадлежать умнейшей и образованнейшей стране, породившей его – Маркса. В первое же десятилетие своей политической деятельности он до такой степени выявил эту тенденцию, что один из наблюдательных испанских парламентариев, Донозо Кортез, в 1850 г. заметил: «У социализма существуют три великие арены: во Франции находятся ученики и только ученики, в Италии – исполнители чужих преступных замыслов и только исполнители; в Германии же – жрецы и учителя». *Ex Germania lux!* Статьи Маркса-Энгельса в «Новой Рейнской газете» свидетельствуют, что для этих людей все, совершившееся в 1848 г. в Европе, вершится вокруг одного стержня, одного имени, и это имя – Германия. Ожидая решающих для Европы событий, они и в мыслях не держат, будто разыграются они где-то во Франции, в Англии, в любой другой развитой промышленной стране. Где бы они ни начались, главной ареной будет Германия, и три-

умфальный парад победных революционных армий состоится не в Париже и Лондоне, а в Берлине. Позднее, когда образовался Интернационал и Маркс добился в нем руководящей роли, всякие сомнения в великом провиденциальном назначении Германии отпали. Обращаю на это внимание не для того, чтобы колоть глаза человеку, объявившему национальные страсти отсталыми, недостойными социалиста-революционера и жестоко бичевавшему их в других, но для вскрытия таких пружин его мысли и деятельности, которые либо отрицались, либо скрывались его последователями.

Ради этих национальных страстей он уже в 1848 г. пошел на компромисс со своей теоретической совестью. Объявив немцев, в противоположность славянам, народом революционным, он погрешил против своей собственной теории прогресса, согласно которой никакая страна не может мечтать о революции, не имея к тому предпосылок в виде развитой промышленности и особого «радикального класса, связанного радикальными целями» – пролетариата. Его еще не было тогда в Германии, Энгельс в письме Вейдемейеру от 12 апреля 1853 года с грустью писал, что «в такой отсталой стране, как Германия, в которой имеется передовая партия, втянутая в передовую революцию, вместе с такой передовой страной, как Франция», – эта партия оказывается в трагическом положении. В случае серьезного конфликта она не имеет шансов очутиться у власти, как это полагалось бы; стремление к власти для нее было бы преждевременным по причине общей отсталости страны и немногочисленности пролетариата. Маркс настойчиво вменял в обязанность Германии – создание собственного пролетариата. В 1865 году он жаловался Энгельсу на невозможность «далеко уехать» по пути революции на немногочисленном немецком рабочем классе.

Значит, по сравнению с англичанами и французами, немцы имели столько же прав на звание передового

революционного народа, сколько и презируемые Марксом «неисторические» славянские народы. Но славян он заклинает сгннуть с лица земли, а немцев всячески выводит в люди. Придумывает для них любопытный прием: «В Германии все дело будет зависеть от возможности поддержать пролетарскую революцию каким-либо вторым изданием крестьянской войны». На простом языке это значит: если пролетариат в Германии слаб и ничтожен, так это ничего – сделаем пролетарскую революцию крестьянскими руками; если наша «передовая партия» висит в воздухе, не имея социального базиса, – неважно! – лишь бы добраться до власти. Подхватывая тему захвата власти, Энгельс предлагает уже заранее подготовить в нашей партийной литературе историческое оправдание нашей партии на тот случай, «если это действительно произойдет».

Не звучит ли в этих рассуждениях что-то до ужаса нам знакомое? Не ленинская ли это постановка вопроса о пролетарской революции в России, где не обязательны ни развитая индустрия, ни многочисленный пролетариат, но обязательна и необходима «передовая партия» для совершения переворота любыми средствами? В 1848 г. в Германии и в 1917 г. в России революция готовилась не по марксистской теории, а вопреки ей.

Германия до самой смерти Маркса оставалась наименее индустриальной из всех великих стран Запада, но, невзирая на это, Маркс считал ее очагом прогресса и гегемоном пролетарского международного движения. Вся деятельность его направлена была на перенесение центра этого движения в Германию.

Сохранилось замечательное письмо его Энгельсу от 20 июля 1870 г. – перед самым началом франко-прусской войны. Пересылая своему другу выпуск «Réveil» со статьей старика Делеклюза, будущего героя Парижской Коммуны, Маркс рвет и мечет по поводу одной фразы в этой статье: «Франция – единственная страна идей». «Это чистейший шовинизм! – восклицает он. –

Французов надо вздуть (die Franzosen brauchen Pruegel). Если прусаки победят, то централизация государственной мощности будет использована для централизации германского рабочего класса. Кроме того, преобладание немцев перенесет центр тяжести европейского рабочего движения из Франции в Германию. Достаточно сравнить движение в этих двух странах с 1866 г. до настоящего времени, чтобы видеть, что германский рабочий класс выше французского, как с точки зрения теоретической, так и организационно. Преобладание на мировой арене немецкого пролетариата над французским будет в то же время преобладанием нашей теории над теорией Прудона»⁸.

В этой «нешовинистической» тираде что ни слово, то смертный приговор революционно-интернационалистической репутации Маркса. До более тесной зависимости германской социал-демократии от успехов германского оружия не доходил и Лассаль, пытавшийся одно время заключить союз социализма с пруссачеством. Надобно знать негодование Маркса, с которым он отнесся к попытке Лассаля договориться с Бисмарком, чтобы в полной мере оценить приведенный здесь отрывок его письма. Напустить Мольтке и Бисмарка на французов, возомнивших себя носителями революционной идеи, выколотить из них такое высокомерие и под пушками заставить признать превосходство марксизма над прудонизмом – это ли не образ мыслей, достойный руководителя «Международного Товарищества Рабочих»! Таков он был и во время войны. Соблюдая социал-демократическое лицо в воззваниях Генерального совета Интернационала, он, в частной переписке, – совершенный пруссак. «Французов надо вздуть!» Он и Энгельс решительно одергивают простака Либкнехта, когда тот честно, по социал-демократическому уставу, вздумал обличать свое правительство и чинить неприятности Бисмарку. В одном письме Энгельс протестует против того, чтобы «какая-либо немецкая политичес-

кая партия проповедовала на манер Вильгельма (Либкнехта) полную обструкцию и выдвигала всякого рода побочные соображения взамен главного». Главное – конечно – победа над Францией. Так явствует из этого и из других писем. Энгельс в восторге от мощного патриотического подъема всех слоев немецкого населения, единодушно поддерживающего свое правительство, и освящает этот порыв как здоровое национальное чувство, потому что Германия, по его мнению, боролась за свое национальное существование. Французы же – отпетые шовинисты: как буржуа, так и пролетарии, как бонапартисты, так и социалисты; «до тех пор, пока этому шовинизму не будет нанесен удар, и крепкий удар, мир между Германией и Францией невозможен». «Я думаю, – заявляет он, – что наши (т. е. немецкие социал-демократы. – Н. У.) могут примкнуть к национальному движению». Маркс вторит ему: «Война сделалась национальной». Он вполне разделяет восторг Энгельса по поводу первых побед пруссаков, и фраза в письме его друга: «Это мы выиграли первую серьезную битву» – не встречает с его стороны никакой отповеди. Напротив, случай с Кугельманом позволил проявиться его пруссачеству с наименьшей откровенностью. Дело в том, что в воззвании Генерального совета Интернационала, редактированном Марксом, было сказано, что хотя эта война со стороны немцев носит оборонительный характер, но лишь до тех пор, пока германский рабочий класс не почувствует, что она из защиты превращается в нападение. Теперь, после блестящих успехов пруссаков, Кугельман решил, что такой переход от защиты к нападению совершился. Маркс строго отчитал Кугельмана, заявив, что вторжение немцев во Францию – чисто оборонительный акт, не имеющий ничего общего с агрессией⁹. Кугельману, при всей его дружественности к Марксу, пришлось признаться, что он ничего больше не понимает в гегельяно-марксистской диалектике.

Но вот Наполеон III взят в плен, низложен, и в

Париже объявлена республика. Немецкая социал-демократия в речах и воззваниях восторженно ее приветствует. Не могли не принять в этом участия и оба друга. Стоило, однако, французской секции Интернационала обратиться к немецкому народу с призывом прекратить братоубийственную войну и вывести войска из пределов Франции, как в переписке двух Аяксов начинает звучать прежняя нота. «Прокламация парижского Интернационала, – по словам Энгельса, – определенно свидетельствует о том, что эти люди вполне во власти фразы. Эти субъекты, поддерживавшие Баденэ (Наполеона III) 20 лет и шесть месяцев тому назад не сумевшие помешать ему получить шесть миллионов голосов против полутора миллионов и которых они бессмысленно и без всякого повода возбудили против Германии, – эти люди вообразили теперь, когда победоносные немцы подарили им республику (и какую!), будто Германия должна немедленно оставить священную землю Франции, иначе – война до конца! Это старинное увлечение: превосходство Франции, неприкосновенность ее почвы, освященной 1793 годом, – которое с некоторых пор служит средством прикрывать все французские свинства святостью слова республика». Неделю спустя после этого письма у Энгельса звучит нота сожаления, что французов не удалось вздуть так, как этого бы хотелось ему. «Продолжающаяся война начинает принимать неприятный оборот. Французы еще недостаточно побиты (*die Franzosen haben noch nicht Pruegel genug*), но, с другой стороны, Германия слишком уж торжествует»¹⁰.

Будь все приведенное здесь сказано обычным немецким патриотом, оно не представляло бы ни малейшего интереса, но в устах проповедников единения человечества (или хотя бы только пролетариата), апостолов братства народов, борцов против национальной ограниченности – это образец редкого лицемерия. Прорвавшийся у них матерый германизм не остался незамеченным. Не одни французы, но и социалисты

многих стран возмущены были Марксом как руководителем той части Интернационала, что избрала в качестве своей штаб-квартиры крошечный городок Брауншвейг. Сразу же после войны началось против него восстание романских секций Интернационала. В марксоведческой литературе оно расценивается как борьба двух идейных течений, как борьба бакунизма с марксизмом, но немарксистские авторы освещают это совсем иначе. Сам Бакунин на страницах брюссельской газеты «Liberté» представляет смысл событий в Интернационале в виде реакции на пангерманистскую социалистическую мечту, родившуюся в голове Маркса и означавшую германское всемогущество, сначала интеллектуальное и моральное, а потом материальное. То же самое утверждал Джемс Гийом. Кропоткин рассматривал борьбу бакунистов с марксистами как «конфликт между латинским и германским духом». Позднейшие исследователи, не принимавшие участия в борьбе и не связанные ни с одним из антагонистов, усматривали корень распри не в столкновении социалистических доктрин, а в национальных страстях и противоречиях. На социалистические доктрины и учения у Маркса существовал такой же взгляд, как и на «неисторические» народы. Все они должны исчезнуть, уступив место его, Маркса, гениальному открытию. Между тем, стоявшая на нем печать «made in Germany» слишком ясно бросалась в глаза современникам.

Недовольны были и тем, что Интернационал, фундамент которого заложен был не социалистами, а рабочими и первоначально носивший характер цехового пролетарского содружества, превращен был Марксом в заговорщицкую организацию. Пробравшись к руководству и получив возможность оказывать влияние на дела Международного Товарищества Рабочих, Маркс проявил абсолютную политическую нетерпимость. Он не только начал учить уму-разуму французов, англичан, швейцарцев, но и пускать в ход грубые способы давле-

ния, вовлекать их в ненужные и несимпатичные им политические акции, а всех сопротивляющихся поносить и обличать их «оппортунистические», «мелкобуржуазные», «мещанские» заблуждения.

Гибель I-го, так же, как распад II-го Интернационала совершились на почве *национальных* противоречий.

*

Но вернемся к самой яркой, к самой расистской теме высказываний Маркса-Энгельса – о славянах. Ни о ком не отзывались они с большей ненавистью и презрением. Славяне не только варвары, не только «неисторические» народы, но, как выше сказано, – величайшие носители реакции в Европе. По словам Энгельса, они – «особенные враги демократии», главные орудия подавления всех революций. Это ничего, что выступали они простыми подневольными солдатами в армиях Елачича, Паскевича, Радецкого, Виндишгреца; ответственность за подавление венгерского, венского и итальянского восстаний возлагается не на этих генералов и не на имперское габсбургское правительство, а на бессловесных хорватов, словенцев, русских. У Радецкого добрая половина армии состояла из немцев, но помянуты ли они хоть одним худым словом? Контрреволюционный дух исходил, оказывается, не от них и не от генералов, а от солдат славянского происхождения. Мало того, в тех случаях, когда душителями чьей-либо революции откровенно выступали немцы, наши друзья призывали не верить этому. «До сих пор, – пишет Энгельс, – всегда говорилось, что немцы были ландскнехтами деспотизма в Европе. Мы отнюдь не намерены отрицать позорную роль немцев в позорных войнах 1792–1815 гг. против Французской революции, в угнетении Италии после 1815 г. и Польши после 1772 г. Но кто стоял за спиной немцев, кто пользовался ими в качестве своих наемников или авангарда? Англия и Россия. Ведь русские и

понеже еще похваляются тем, что они своими бесчисленными войсками решили падение Наполеона, и это, конечно, в значительной степени правильно. Во всяком случае, не подлежит сомнению, что среди тех армий, которые своими превосходящими силами оттеснили Наполеона от Одера до Парижа, три четверти составляли русские или австрийские славяне. А угнетение немцами итальянцев и поляков! При разделе Польши конкурировали между собою одно славянское и одно полуславянское государство». Австрия у Маркса и Энгельса часто обозначается как полуславянская держава, а кое-где говорится, что она и управляется славянами. Есть в одной статье совершенно исключительное место, трактующее хорватов как вершителей судеб и гегемонов Австрийской Империи. Описывая движение правительственных войск в 1849 г., окруживших со всех сторон Венгрию, Энгельс трактует это так, будто не габсбургское правительство, не австрийские генералы, а хорваты, которым «дана в помощь сильная австрийская армия со всеми ресурсами», руководят войной.

Писать комментарий к этой строке вряд ли нужно.

Вообще статьи в «Новой Рейнской газете», да и большинство обзоров текущей политики двух друзей представляют такую бездну безответственных обобщений и выводов, личных, партийных и национальных пристрастий и самого простого невежества, что хочется внимательно посмотреть в лицо тем, которые до сих пор видят в этом образцы «научного социализма».

*

Напрасно, однако, думать, будто славян считают врагами демократии только за их службу в австрийской армии и за участие в карательных экспедициях. Эта вина – так себе, небольшая; главная причина – в их стремлении к национальной независимости. Бакунинское «Воззвание к славянам» вызвало пароксизм бешенства у

обоих авторов «Коммунистического Манифеста». Не довольствуясь ссылками на объективную невозможность независимых славянских государств, не располагающих для этого ни географическими условиями, ни экономическими ресурсами, они усматривают главное зло в ущербе, который будет нанесен немцам. «Поистине положение немцев и мадьяр было бы весьма приятным, – писал Энгельс, – если бы австрийским славянам помогли добиться своих так называемых «прав»! Между Силезией и Австрией вклинилось бы независимое богемо-моравское государство; Австрия и Штирия были бы отрезаны «южнославянской республикой» от своего естественного выхода к Адриатическому и Средиземному морям; восточная часть Германии была бы искромсана, как обглоданный крысами хлеб! И все это в благодарность за то, что немцы дали себе труд цивилизовать упрямых чехов и словенцев, ввести у них торговлю и промышленность, более или менее сносное земледелие и культуру!» С негодованием цитируются те места из «Воззвания к славянам», где говорится о «проклятой немецкой политике, которая думала только о вашей гибели, которая веками держала вас в рабстве», о «мадьярах, ярых врагах нашей расы, едва насчитывающих четыре миллиона человек, похваляющихся, что возложили свое ярмо на восемь миллионов славян». Энгельс пышет возмущением: как! Упрекать немцев и мадьяр за их великую цивилизаторскую миссию? Ведь без них австрийские славяне остались бы глубокими варварами. Да и самое слово «угнетение» вовсе не подходит для выражения характера взаимоотношений немцев со славянами. Слово это Энгельс берет в кавычки. «Славяне угнетались немцами не больше, чем сама масса немецкого населения». Что же до насильственной германизации, так ее попросту не было. «Немецкая промышленность, немецкая торговля и немецкая культура сами собой ввели в стране немецкий язык». Насильственную германизацию он признает только в отноше-

нии полабских славян, но считает, что их завоевание было в интересах цивилизации. Энгельс бесконечно благодарен средневековым Генрихам Львам и Альбрехтам Медведям, приобщивших железным мечом славян к германской культуре. С высот просвещенного девятнадцатого века, централизовавшего все, что еще не было централизовано, он поет дифирамбы подвигам старинных завоевателей. Централизация – это прогресс. «И вот теперь являются панслависты и требуют, чтобы мы уничтожили централизацию, которая навязывается этим славянам всеми их материальными интересами! Словом, оказывается, что эти «преступления» немцев и мадьяр против упомянутых славян принадлежат к самым лучшим и заслуживающим признания деяниям, которыми только могут похвалиться в своей истории наш и венгерский народы».

Во второй половине XIX века вышло трехтомное историко-географическое исследование чешского ученого Первольфа, посвященное кровавой эпопее захвата и ассимиляции немцами славянских земель. С приходом к власти Гитлера эта книга стала предметом особенной ненависти немцев. Их возражения на этот труд поражают сходством с только что приведенными строками Энгельса.

В ответ на призыв Бакунина «бороться не на жизнь, а на смерть, пока, наконец, славянство не станет великим, свободным и независимым», Маркс и Энгельс писали: «...если революционный панславизм принимает эти слова всерьез и будет отрекаться от революции всюду, где дело коснется фантастической славянской национальности, то и мы будем знать, что нам делать. Тогда «беспощадная борьба не на жизнь, а на смерть» со славянством, предающим революцию, на уничтожение, и беспощадный терроризм». Напрасно оба друга спешат добавить, будто провозглашаемая ими борьба будет не в интересах Германии, а в интересах революции; ничем другим, кроме старинной расовой ненависти, язык этот

не мог быть продиктован. Ненависть к славянству – отличительная черта немецкой государственности и немецкого духа. «Я ненавижу славян. Я знаю, что это нехорошо, нельзя ненавидеть кого бы то ни было, но я ничего не могу поделать с собой», – признавался Вильгельм II. Не обладая честностью Вильгельма, Маркс и Энгельс вуалировали свой, поистине нацистский шовинизм соображениями «революционной стратегии». Но они дали слишком много доказательств того, что не в революции и не в стратегии тут дело. Для людей, объявивших классовую борьбу движущей силой истории, по меньшей мере непоследовательно подменять ее борьбой между нациями. Сущим лицемерием была фраза в «Учредительном манифесте» Интернационала, призывавшая добиваться того, чтобы «простые законы нравственности и справедливости, которыми должны руководствоваться в своих взаимоотношениях частные лица, стали господствующими нормами и в международных отношениях». Писал это тот редактор «Новой Рейнской газеты», который в 1849 г. печатал в ней свои прогнозы о скором наступлении мировой революционной войны, долженствующей стереть с лица земли «не только реакционные классы и династии, но целые реакционные народы. И это тоже будет прогрессом».

*

Напрасной была бы попытка представить эти настроения как временные или как заблуждение молодости. Они сопровождали Маркса до могилы. В 1877-78 гг., во время Балканской войны, когда турки начали беспощадную резню болгар и когда даже «колониалист» Гладстон выпустил книгу¹¹ с протестом против таких зверств, Маркс, живший в то время в Лондоне, объявил Гладстона русским агентом, а турецкие зверства – русской выдумкой. Друг его и оруженосец Вильгельм Либкнехт в Германии цинично заявил, что брожение на

Балканах ничего общего с освободительной борьбой не имеет; он, Либкнехт, не знает славян, стремящихся к свободе. Этот господин выпустил книгу – «Zur orientalischen Frage, oder: Soll Europa kasakisch werden? Mahnwort an das deutsche Volk», – где развивал обычный марксистский взгляд на славян как на удобрение истории и на оплот русского деспотизма. Он сожалел, что Австрия, в результате политики Бисмарка, исключена из Германии. Вследствие этого «прорван вал, который шел через славянский мир от Балтийского моря до Адриатики» и теперь «Австрия предана почти беспомощной славянскому наводнению». Вся германская социал-демократия, марксистская и немарксистская, отличалась такими же настроениями. Признавал же Лассаль славян «за расы, которые имеют одно право: быть ассимилированными великими культурными нациями».

От современников не укрылась такая славянофобия.

«Есть ограниченные умы и узкие народные ненависти, которых убедить я не берусь, – писал Герцен в 1859 году, – они ненавидят не рассуждая. Возьмите, чтобы не говорить о своих, – (Герцен пишет поляку), – статьи немецких демократов, кичащихся своим космополитизмом, и взгляните в их злую ненависть ко всему русскому, ко всему славянскому... Если б эта ненависть была сопряжена с каким-нибудь желанием, чтобы Россия, Польша были свободны, порвали бы свои цепи, я бы понял это. Совсем не то. Так, как средневековые люди, ненавидя евреев, не хотели вовсе их совершенствования, так всякий успех наш в гражданственности только удваивает ненависть этих ограниченных, заклепанных умов»¹².

Но все-таки была одна славянская страна, не только не ввергнутая марксистами в Тартар, вместе с «неисторическими» народами, но вознесенная в революционное лоно Авраамово. Это Польша. Постоянно подчеркивалось: Польша – это не то, что прочие славяне, это гор-

дый лебедь революции среди гадких утят славянства. Маркс и Энгельс в 1848 г. были самыми горячими ее поклонниками. Либерально-революционная ее репутация сложилась еще до них: особенно утвердилась она после 1831 г. Причина, по которой Европа так возлюбила Польшу, лучше всего видна из манифеста польского «Демократического общества» 1836 года:

«Польша в прошлом всегда защищала Запад от варварских вторжений татар, турок и москалей. Польша погибла потому, что, когда на Западе освободительная человеческая мысль объявила войну старому порядку, на защиту которого ополчился русский деспотизм, Польша, исполняя свою историческую миссию, вступила в борьбу с этой силой, но была побеждена. Спасение Европы было отложено. Отсюда вытекал тот вывод, что дело спасения Польши есть дело спасения не одной только Польши, но всего человечества».

Из этой декларации видно, что сами поляки «историческую миссию» свою усматривали в сторожевой роли на Востоке. Турецко-татарская опасность миновала, значит, спасти Европу приходилось от москалей. За эту роль извечного врага России Европа и ценила Польшу. Больше всех ценили авторы «Коммунистического Манифеста». Энгельс, в неоднократно цитированной статье в «Новой Рейнской газете», писал в 1849 г., что «ненависть к русским была поныне и останется у немцев их первой революционной страстью». Поляки были им милы, прежде всего, как враги России, а вовсе не за то, что они слыли прирожденными революционерами. Обывательская и политическая Европа, разбиравшаяся в польском вопросе столько же, сколько в русском, — понятия не имела о шляхетском характере польских восстаний, целью которых было национальное освобождение, и только. Руководители этих восстаний готовы были приветствовать революцию в любой стране, за исключением своей собственной. Только немногие, вроде Прудона, порицавшего Герцена за альянс с поля-

ками, понимали это. Но понимали ли Маркс и Энгельс? Знали ли, что Польшу можно любить и ценить за что угодно, только не за революционность? Безусловно, знали.

В письмах к Энгельсу от 2 декабря 1856 г. Маркс рассказывает эпизод из истории 1794 г., когда «Комитет общественного спасения» подверг сомнению революционность поляков и отказал им в содействии. Он вызвал к себе уполномоченного польских повстанцев и задал этому «гражданину» несколько вопросов: «Как объяснить, что ваш Косцюшко, народный диктатор, терпит рядом с собой короля, который к тому же, как это Косцюшко должно быть известно, посажен на трон Россией? Как объяснить, что ваш диктатор не осмеливается произвести массовую мобилизацию крестьян из страха перед аристократами, которые не желают поступаться «рабочими руками»? Как объяснить, что его прокламации теряют свою революционную окраску по мере его удаления от Кракова? Как объяснить, что он немедленно покарал виселицами народное восстание в Варшаве?.. Отвечайте!» Польскому «гражданину» пришлось молчать.

Дальше увидим, что оба друга прекрасно разбирались во внутренних социально-политических делах Польши, знали, что в роли революционеров выступали крепостники-помещики, не стремившиеся к социальному освобождению. Но, презирая польских патриотов, они постоянно поддерживали идею восстановления Польши, преимущественно Царства Польского, т. е. русской ее части, умалчивая о Познани, а потом и откровенно признавая ее не подлежащей освобождению. Государственное восстановление Польши прокламировалось не для блага польского народа, а как средство разрушения Российской империи.

Никто никогда не говорил о России с такой проникновенной ненавистью, как Маркс, – разве что его русские ученики, считавшие эту ненависть одной из самых

святых и правых. «Оплот мировой реакции», «угроза свободному человечеству», «единственная причина существования милитаризма в Европе», «последний резерв и стеновой хребет объединенного деспотизма в Европе» – вот излюбленные его выражения. Список причин, по которым он возненавидел нашу страну, столь велик, что занял бы несколько страниц, но весь он сводится к обвинению России в тиранической политике по отношению к Германии. Россия будто бы стояла всегда на страже германской раздробленности; еще на Венском конгрессе узаконила разделение Германии на 36 мелких государств, и в дальнейшем всякое самостоятельное изменение государственного строя ей было запрещено Николаем I. Россия виновата в восстановлении крепостного права в Германии после гибели Наполеона. Россия заставила Пруссию подчиниться Австрии. Пруссия превращена была в русского вассала и прикована к России. Встречаются строки совершенно бесподобные: «Россия приказывала Пруссии и Австрии оставаться абсолютными монархиями – Пруссия и Австрия должны были повиноваться». Курьезность и противоречивость обвинений, видимо, не замечались Марксом. То он упрекает Россию, что она выдала Германию с головой Наполеону, то винит в победе над Наполеоном, вследствие которой Германия лишилась свобод, принесенных ей этим завоевателем. То он возмущается, что Россия подчинила Пруссию Австрии, то, наоборот, негодует, что Австрия отброшена Пруссией от всей Германии при поддержке России. Смешно подходить к этому маниакальному брею с реальной исторической оценкой и критикой. Приведенный букет высказываний интересен как психологический документ. Россия должна провалиться в Тартар, либо быть раздроблена на множество осколков путем самоопределения ее национальностей. Против нее надо поднять европейскую войну, либо, если это не выйдет, – отгородить ее от Европы независимым польским государством. Эта по-

литграмма сделалась важнейшим пунктом марксистского катехизиса, аттестатом на зрелость. Когда в 80-х и 90-х годах начали возникать в различных странах марксистские партии по образцу германской социал-демократической, они получали помазание в Берлине не раньше, чем давали доказательства своей русофобии. Прошли через это и русские марксисты. Уже народо-вольцы считали нужным, в целях снискания популярности и симпатий на Западе, «знакомить Европу со всем пагубным значением русского абсолютизма для самой европейской цивилизации». Лицам, проживавшим за границей, предписывалось выступать в этом духе на митингах, общественных собраниях, читать лекции о России и т. п. А потом, в программах наших крупнейших партий, эсдеков и эсэров, появился пункт о необходимости свержения самодержавия в интересах международной революции. Ни Габсбурги, ни Гогенцоллерны не удостоились столь лестной оценки; их подданные-социалисты собирались свергать своих государей для блага Австрии и Германии. Только подданные Романовых приносили царей на алтарь, прежде всего, *мировой революции*. Без укоренившегося влияния Маркса и немецких марксистов трудно объяснить включение этого пункта в программные документы.

После сказанного нет надобности объяснять вполне утилитарный характер любви Маркса к Польше. Разрабатывал ли Энгельс план похода революционных армий на Россию, он, прежде всего, взвешивал роль Польши как союзника; говорил ли Маркс о каком-нибудь из польских восстаний, он неизменно рассматривал его с точки зрения ущерба для России. Потому-то Марксу и безразлично было, кто двигает это национальное возрождение – социал-демократы или аристократы-помещики. Он всех брал под плащ революции. Самая скорбь его и Энгельса по поводу неудачного польского восстания 1863 г. выглядит скорбью расчетливых людей. «Пройдет много времени, прежде чем Польша снова сможет

подняться, даже при посторонней помощи, а между тем, *Польша нам совершенно необходима*».

«Необходима». В этом весь цинизм их отношения к Польше. А что оно было беспредельно циничным, можно видеть из одного письма Маркса: «Один французский историк сказал: «il y a des peuples nécessaires» – есть необходимые народы. К числу таких необходимых народов относится в XIX столетии, безусловно, народ польский». Зачисление его в ряд исторических и революционных произошло, следовательно, не в силу его природных качеств, а по соображениям чисто служебным. «Ни для кого иного национальное существование Польши не необходимо более, чем именно для нас, немцев».

В 1864 г. в предварительном комитете по созыву конгресса будущего Интернационала Марксу удалось, наряду с вопросами общего характера (о труде, о капитале, о рабочем дне, о женском труде), включить в план работ конгресса совершенно частный вопрос о «необходимости уничтожить влияние русского деспотизма в Европе посредством приложения права народов располагать самими собою и посредством восстановления Польши на началах демократических и социальных». На конгрессе произошла по этому поводу дискуссия. Протокол гласит:

«Делегация французская высказывает мнение, что по этому вопросу не должно быть никакого голосования и что конгресс ограничится заявлением о том, что он противник всякого деспотизма во всякой стране и что он не входит в разбор столь сложных вопросов, как национальные. Нужно желать и требовать свободы в России, как и в Польше, и отвергнуть старую политику, которая противопоставляет народы одни другим. Мнение большинства конгресса склонялось явственно к предложению французов. Тогда попросил слово г. Беккер. Он выразил сожаление, что конгресс не решает ничего по этому вопросу. Русская Империя служит постоянно

угрозой против цивилизованных обществ Европы; Польша служила бы для нее преградой... Он прибавляет, что польский вопрос есть вопрос европейский, но который интересует Германию специально, так что его можно назвать в известном отношении немецким вопросом»¹³.

Казалось бы, какие более откровенные свидетельства макиавеллистического отношения к полякам могут быть? Но они есть. Энгельс подарил нас еще одним документом такой красочности, что мимо него пройти никак невозможно. Известно, какие гимны пелись Польше в 1848 г., как бредили польским восстанием в «Новой Рейнской газете». Ждали «чуда на Висле». Но по прошествии одного-двух лет, когда чуда не появилось, гимны кончились, поляков перестали носить на руках. В 1851 г. (31 мая) Энгельс пишет длинное письмо Марксу по польскому вопросу и тут обнажает с полным бесстыдством моральную подкладку своей «революционной мысли».

Он сообщает, что чем больше он размышляет об истории, тем яснее ему становится, что поляки – разложившаяся нация (*nation fondue*). *«Ими приходится пользоваться лишь как средством, и лишь до тех пор, пока сама Россия не переживет аграрной революции. С этого момента Польша теряет всякое право на существование»*. Выходит, что как только в самой России найдена будет разрушительная сила – гордого лебедя революции можно будет загнать в общеславянский курятник. Поражает в этом письме чисто национальное презрение, возникшее не под влиянием минуты, а выношенное, отстоявшееся. «Никогда поляки не делали в истории ничего иного, кроме как играли в храбрую и задорную глупость». «Бессмертна у поляков склонность к распрям без всякого повода». И, наконец, «нельзя найти ни одного момента, когда бы Польша, хотя бы против России, с успехом явилась представительницей прогресса или вообще сделала бы что-либо, имеющее историческое значение. В противоположность ей Россия, действи-

тельно, олицетворяет прогресс по отношению к Востоку». Энгельс находит в России гораздо больше образовательных и индустриальных элементов, чем в «рыцарственно-бездельнической Польше». «Никогда Польша не умела ассимилировать в национальном смысле чужеродные элементы. Немцы в польских городах есть и остаются немцами. А как умеет Россия русифицировать немцев и евреев, тому свидетельства – каждый русский немец уже во втором поколении». Он отмечает лоскутный характер бывшего польского государства. «Четверть Польши говорит по-литовски, четверть по-русински, небольшая часть на полурусском диалекте, что же касается собственно польской части, то она на добрую треть германизирована». Энгельс благодарит судьбу, что в «Новой Рейнской газете» они с Марксом не взяли на себя в отношении поляков никаких обязательств, «кроме неизбежного восстановления Польши с соответствующими границами». Но тут же добавляет: «лишь под условием аграрной революции в ней. А я уверен, что такая революция скорее вполне осуществится в России, чем в Польше».

Нет сомнения, что меньше чем за три года Маркс и Энгельс утратили надежду на антирусское восстание поляков и потеряли к ним всякий интерес. Это не значит, что отказались «посылать их в огонь», т. е. подбивать на дальнейшие бунты против России, но радикального средства в этих бунтах уже не видели. Энгельс убежден, что «при ближайшей завирухе вся польская инсurreкция ограничится познанцами и галицийской шляхтой плюс немногие выходцы из Царства Польского и что все претензии этих рыцарей, если они не будут поддержаны французами, итальянцами, скандинавами и т. п. и не будут усилены чехословенским мятежом, – потерпят крушение от ничтожества собственных усилий. Нация, которая в лучшем случае может выставить два-три десятка тысяч человек, не имеет права голоса наравне с

другими. А много больше этого Польша, конечно, не выставит».

Маркс, хотя и не в столь ярких выражениях, соглашался с Энгельсом. Он поспешил отказаться от своей прежней готовности восстановления Польши в границах 1772 года, ибо рассудил, что немецкую Польшу, с городами, населенными немцами, не следует отдавать народу, «который доселе еще не дал доказательства своей способности выбраться из полуфеодалного быта, основанного на несвободе сельского населения». Он и от Лассаля получил заверение в полном согласии с такой точкой зрения: «прусскую Польшу следует рассматривать как германизированную и относиться к ней соответственно».

В случае войны с Россией, Маркс готов компенсировать поляков за потерю Познани щедрым присоединением земель на Востоке, обещает им Митаву, Ригу и надеется на их согласие «выслушать разумное слово по отношению к западной границе», после чего они поймут важность для них Риги и Митавы в сравнении с Данцигом и Эльбингом. Самые восстания польские мыслимы только против России. «У меня был один польский эмиссар, – пишет он Энгельсу в 1861 г., – вторичного визита он мне не сделал, так как ему, конечно, не по вкусу пришлось та неприкрашенная правда, которую я преподнес относительно плохих шансов всякого революционного заговора в настоящий момент на прусской территории».

Прекрасное резюме этому комплексу настроений дал Энгельс в цитированном выше письме, сделав набросок марксистской тактики в польском вопросе. «На Западе отбирать у поляков все, что можно, оккупировать немецкими силами их крепости под предлогом защиты, в особенности Познань, оставить им занятие хозяйством, посылать их в огонь, слопать (ausfressen) их земли, кормя их видами на Ригу и Одессу, а в случае, если можно будет вовлечь в движение русских, – соеди-

ниться с этими последними и заставить поляков примириться с этим». Под «русскими» разумеется в данном случае не царская, а революционная Россия.

*

Итак, поляки лишь «сгоряча» и по тактическим соображениям причислены были к «историческим» народам. Под конец жизни интерес Маркса к полякам пропал, уступив место восторгу перед народовольцами-террористами.

Именно перед народовольцами, а не перед черно-передельцами, из которых вышли потом последователи Маркса в России. Их он не жаловал за то, что «эти господа стоят против всякой революционно-политической деятельности», тогда как он приветствовал и всячески ласкал террористов. Вот что рассказывает Эдуард Бернштейн о приеме, оказанном Марксом народовольцу Гартману. Молодой в то время Бернштейн был уже почитателем Маркса и тоже был им принят довольно ласково. «Однако же, – говорит он, – при наших беседах всегда сохранялось между нами известное «расстояние». Совсем иначе стояло дело между Марксом и Львом Гартманом, явившимся в Лондон летом 1880 г. Я был просто поражен, видя, как этот великий мыслитель, а также Энгельс обращаются совсем по-братски, на ты, с молодым человеком, который производил на меня впечатление умственной посредственности и бесцветности». «По-видимому, – заключает Бернштейн, – их дружеское расположение к нему вызывалось исключительно его участием в террористическом предприятии»¹⁴.

Известно, что Маркс презрительно отзывался о возможности революции в России. В ней «может быть только тот или иной бунт, причем достанется немецким платням, а революции никакой и никогда не будет». Так говорил он в 1863 г.¹⁵ Он искренне удивлялся своей попу-

лярности в этой стране; нигде его так не чтут и не изда-ют, как в России, которую он усердно оплевывал, революционных деятелей которой глубоко презирал и чуть не поголовно считал царскими агентами. И вот этот человек в конце 1881 г. провозглашает: «Россия представляет собой передовой отряд революционного движения в Европе». Совершенно очевидно – не рост промышленности, не рост пролетариата, не «идейная зрелость», которых еще не было, даже не крестьянские волнения подвигли его на такое заявление, а убийство Александра II, шумная деятельность кучки террористов. Он приходил в восторг от того, что им удалось превратить нового царя в гатчинского военнопленного революции.

Разумеется, не благо русского народа, даже не судьбы русской революции занимали его, а уничтожение самодержавия, представлявшегося ему тормозом европейской революции. Не сумели его уничтожить поляки – прочь поляков, да здравствуют Желябовы и Перовские!

Но после всего сказанного о поляках ни минуты не верится в искреннюю «революционную» симпатию его к Желябовым и Перовским. Он их ценил как роботов революции, но ненавидел как русских.

Рискуя загромоздить изложение иллюстрациями, не могу не привести рассказ Герцена. В Лондоне, в Сент-Мартинс Холле, 27 февраля 1855 г. состоялся митинг в воспоминание о 24 февраля 1848 г., на который приглашен был в качестве оратора и Герцен. Избран он был также членом международного комитета. После этого получено было письмо от какого-то немца, протестовавшего против его избрания. Он писал, что Герцен известный панславист и требовал завоевания Вены, которую называл славянской столицей. «Это письмо, – говорит Герцен, – было только авангардным рекогносцированием. В следующее заседание комитета Маркс объявил, что он считает мой выбор несовместным с

целью комитета и предлагал выбор уничтожить. Джон заметил, что это не так легко, как он думает; что комитет, избравши лицо, которое вовсе не заявляло желаниа быть членом, и сообщивши ему официальное избрание, не может изменить решение по желанию одного члена; что пусть Маркс формулирует свои обвинения и он их предложит теперь же на обсуждение комитета. На это Маркс сказал, что он меня лично не знает, что он не имеет никакого частного обвинения, *но находит достаточным, что я русский и притом русский, который во всем, что писал, поддерживает Россию*; что, наконец, если комитет не исключит меня, то он, Маркс, со всеми своими будет принужден выйти». Большинство высказалось за Герцена, Маркс остался в ничтожном меньшинстве – встал и покинул комитет¹⁶. Это была одна из многих выходов против русских, предпринятых единственно на том основании, что они – русские. Бакунина, Герцена и многих других революционеров-эмигрантов Маркс считал платными агентами царского правительства. Народническое движение в России рассматривал как «панславистскую партию, состоящую на службе у царизма».

Пусть найдутся люди, способные доказать, что выраженная здесь русофобия объясняется революционной психологией, а не расовой ненавистью.

В наши дни, когда «расовая дискриминация» – почти уголовное преступление, любой коммунист, сказавший на эту тему хоть сотую долю того, что сказали авторы «Коммунистического Манифеста», не мог бы оставаться в партии ни минуты, они же – худым словом не помянуты и пребывают по сей день в роли вождей и учителей.

Одиум всего здесь отмеченного – не в нацистском облике коммунистических апостолов, а во «всемирном молчании», созданном вокруг этого облика. Никого почему-то не коробило и не коробит их рассуждение в «Новой Рейнской газете» о «братстве европейских наро-

дов», которое «достигается не посредством фраз и благочестивых пожеланий, а путем решительных революций и кровавой борьбы; дело идет тут *не о братстве всех европейских народов* под сенью одного республиканского знамени, но о союзе революционных народов против контрреволюционеров, о союзе, который осуществится не на бумаге, а на поле битвы».

Не напоминает ли эта бредовая мысль о Священной Социалистической Империи Германской Нации, в которую не внидет ни один народ-унтерменш, знакомый нам образ Третьего Рейха?

За несколько последних десятилетий корабль марксизма подвергся жестокому обстрелу и зияет пробоинами; самые заветные его скрижали ставятся, одна за другой, на полку с сочинениями утопистов. Позорная же шовинистическая страница, о которой идет речь в этой статье, – все еще остается неведомой подавляющему числу последователей и противников Маркса.

Начинают, однако, появляться разоблачительные работы, вроде книги Бертрама Вульфа. Не далек день, когда последние лоскутья тоги сорваны будут с проповедников зла и великая ложь марксизма обнажена будет в полной мере.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Даже первое Полное Собрание Сочинений Маркса и Энгельса под ред. Д. Б. Рязанова встречается сейчас очень редко.

² Р. Абрамович. Национальный вопрпос и социал-демократия. – «Социалистический Вестник», 1948 (26. 6, 30. 7, 30. 10).

³ «Новая Рейнская газета», 14 февр. 1849 г.

⁴ Статья по поводу венгерского восстания, январь 1849 г.

⁵ Передовая статья от 17 июня 1848 г.

⁶ В. Nicolaevskii. Karl Marx, man and fighter. 1936.

⁷ James Guillaume. Karl Marx pangermaniste. Paris, 1915, p. 36.

⁸ Там же, стр. 85.

⁹ Там же, стр. 91.

¹⁰ Там же, стр. 99.

¹¹ Gladstone W. E. Bulgarian Horrors and the question of the East. London, 1876.

¹² «Колокол» от 16 января 1859 г.

¹³ М. П. Драгоманов. Великорусский интернационал и польско-украинский вопрос; В. И. Засулич. Очерк истории Международного Общества Рабочих. Сборник статей, т. I.

¹⁴ Эд. Бернштейн. К. Маркс и русские революционеры. Статья эта написана Бернштейном специально для русского журнала «Минувшие годы», где и напечатана в 1908 г. за октябрь и ноябрь месяцы.

¹⁵ См. Записки полк. Лапинского, начальника морской экспедиции в пользу польского восстания. «Исторический вестник», 1881, № 1, стр. 80.

¹⁶ А. И. Герцен. Собр. соч. М., 1957, т. XI, стр. 166.

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы продолжим разговор о «величайшем интернационалисте» в следующем номере нашего журнала статьей Михаила Линецкого «Карл Маркс и евреи».

УЛЬЯНОВ Николай – родился 23 декабря 1904 года в Петербурге. С 1922 года по 1927 – студент Петроградского государственного университета. В 1930-35 годах читал лекции по русской истории в Ленинградском университете. Одновременно состоял сотрудником Института истории Академии наук СССР. Там же защитил диссертацию на степень кандидата исторических наук. В 1936 году арестован органами НКВД и приговорен к пятилетнему заключению (Соловки, Норильск). В 1943 году был депортирован в Германию, в рабочие лагеря. После войны работал в Касабланке (Марокко). Затем переехал в Канаду, а в 1955 г. в США, где до 1973 года преподавал в Йельском университете. Читал курсы по русской истории и литературе. Основные работы: «Происхождение украинского сепаратизма», «Диптих», «Исторический опыт России», «Свиток», «Спуск флага», «Северный Тальма», «Атосса», «Сириус», «Под каменным небом». Печатался в «Возрождении», «Новом журнале», «Воздушных путях», «Русской мысли», «Новом русском слове» и других изданиях русского Зарубежья.

История

Михаил Френкин

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТРАГИЧЕСКОГО ИСХОДА БОРЬБЫ КРЕСТЬЯНСТВА В ХОДЕ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ЕГО КОЛХОЗНОЕ ЗАКРЕПОЩЕНИЕ

Исторические судьбы как русского народа в целом и народов завоеванных окраин бывшей Российской империи, так и всех народов в пределах сегодняшнего СССР были неразрывно связаны с положением и борьбой широких крестьянских масс за устранение навязанных им тормозов в деле прогрессивного развития хозяйства, благополучия их семей на своей земле. Один из крупнейших государственных деятелей России конца XIX – начала XX столетия С. Ю. Витте с основанием определял Россию как «государство мужицкое» и указывал, что «вся соль русской земли, вся будущность русской земли, вся история – настоящая и будущая... связана, если не исключительно, то главным образом с интересами, бытом и культурой крестьянства»¹. На труде крестьянства основывалось до первой мировой войны народное хозяйство страны. Национальный доход России был получен в 1900 г. на 54,9%, а в 1913-м на 54% от сельского хозяйства. В абсолютных размерах сельское хозяйство страны производило в 50 губерниях Европейской России материальные ценности на 3611 миллионов рублей в 1900 г. и на 6360 млн. руб. в 1913 г. На долю крестьянского хозяйства из указанного дохода 1913 г. приходилось 89,1% и, что характерно, только 10,9% на долю помещичьих хозяйств. Из общего количества товарного хлеба в предвоенной России, определяемого в 1180532 тыс. пудов, на долю крестьянского товарного хлеба приходилось 926191 тыс. пудов, или 78,4%². Вносимые крестьянством налоги и отбываемые им натуральные повинности давали русскому государству около двух третей всех его сборов, на четыре пятых из крестьянства комплектовалась армия, оно давало минимум

75% предметов экспорта, половину сырья для промышленности и полностью удовлетворяло внутренние потребности страны в пищевых продуктах. 50-60% внутреннего потребления изделий промышленности также приходилось на долю крестьянства. 120-миллионное крестьянство являлось резервуаром многих социальных прослоек, беспрерывно из него выделяющихся³.

Однако этот главнейший социальный пласт огромной страны, основной государственный плательщик и важнейший производитель материальных ценностей, был в то же время политически самым безвластным, юридически самым бесправным и культурно самым отсталым и темным. О степени грамотности крестьянской массы свидетельствовал неоспоримый факт, что в военных округах в 1912 г. 89,26% солдат-новобранцев не имели никакого образовательного ценза⁴. После великой реформы 1861 г., как это правильно отметил видный историк-аграрник С. Маслов, «прежние столкновения из-за дворянского душевладения сменились борьбой из-за его землевладения». Незадолго до начала первой мировой войны в империи имелось более 6,2 млн. крестьянских малоземельных дворов, не считая совсем безземельной прослойки. Спустя 50 лет после реформы аграрная проблема возросла и опасно осложнилась. Необходимому росту и прогрессивной интенсификации крестьянского хозяйства, помимо малоземелья, мешало архаическое существование общины. Накануне войны по 32 губерниям Европейской России числилось 9504 тыс. десятин владельческой пашни, из которых 45,4% помещики сдавали в аренду крестьянству. По данным же сельскохозяйственной переписи 1916 г., основным тружеником на помещичьей земле являлось крестьянство, а владельческие самостоятельные посевы составляли лишь 10,7% всей посевной площади Европейской России. Земельный голод, дороговизна аренды, широкие аграрные волнения настоятельно выдвигали вопрос о необходимости радикального проведения аграрной реформы⁵. Как верно отмечали специалисты-аграрники, «русский крестьянин спит и видит себя самостоятельным землевладельцем и собственником»⁶. Председатель Совета министров П. А. Столыпин страстно доказывал депутатам 2-й Государственной Думы в марте 1907 г., что только личным наделением крестьянства землей можно предотвратить нарастающие крестьянские волнения⁷.

Однако к реализации земельной реформы по царскому указу от 9 ноября 1906 г. власти приступили слишком поздно. К 1915 г. вышли из общины и закрепили землю в личную собственность 2478224 домохозяина по 40 губерниям Европейской России; удельный вес этого выделения не превышал 22% общинного хозяйства и охватил только 14% общинной наделной земли. Следует отметить, что всего за 1906–1917 гг. было создано 1600 тыс. отрубных и хуторских хозяйств, что равнялось только 10% общего числа крестьянских дворов⁸. Таким образом, процесс создания фермерского крестьянского хозяйства с высокими товарными показателями затянулся, осуществлен был только частично и не решил наболевшую проблему. П. А. Столыпин это сознавал и констатировал, что «пока не будет полностью осуществлена аграрная реформа, она не будет иметь силу». В начале революции 1917 года на заседании Главного Земельного Комитета был констатирован факт, что выход из пут общины большинства крестьянства, согласно начал Столыпинской реформы, «так и остался на бумаге»⁹. История не дала П. А. Столыпину тех 20 лет «покоя», нужных, по его словам, для реализации его начинаний. В. И. Ленин как огня боялся осуществления аграрной реформы П. Столыпина, так как в этом случае не могло быть и речи о реализации надежд большевиков на захват власти. В феврале 1909 г. лидер большевиков так и писал, что «судьба буржуазной революции в России, – не только настоящей революции, но и возможных в дальнейшем демократических революций, – зависит *больше всего* от успеха или неуспеха этой политики»¹⁰. Ленин с обоснованной тревогой смотрел на факт роста хозяйства зажиточного крестьянина-фермера, как он его называл, «слоя сознательно контрреволюционных октябристских крестьян», помыслы которых, вопреки большевикам, были связаны с ростом их хозяйства, а не с ленинским разжиганием гражданской войны в деревне. В своей политической игре В. Ленин пытался тщательно маскировать свое враждебное отношение к крестьянству. Все же он указывал своим сторонникам, что последнее, «как земледельческий класс, сыграет в этой борьбе ту же предательскую, неустойчивую роль, какую играет теперь буржуазия». Мало того, Ленин вменял в обязанность большевикам строго надзирать «за союзником (крестьянством. – М. Ф.) (как за врагом»¹¹. Противопоставление якобы «гуманного» Ленина Сталину со стороны

ряда представителей советской историографии является насквозь фальшивым и рассчитано на политических простофиль.

Величайшей трагедией для будущих судеб русской революции 1917 – 1918 гг. и, в частности, крестьянства страны оказались как реформа 1861 года, обделившая крестьян в получении необходимой им земли, так и запоздалая и незавершенная Столыпинская реформа. Завороженное демагогическим большевистским декретом о земле (1917 года), малосознательное и политически незрелое крестьянство в лице солдат-фронтовиков и из среды тыловых гарнизонов ринулось в деревню и по горло увязло в аграрных разгромах и дележе земли, предоставив ленинцам политическую арену для установления их господства и создания аппарата своей власти в губернских и уездных центрах. Водоворот аграрных переделов, в котором барахталась крестьянская масса, дал возможность большевикам ликвидировать в городах все демократически избранные организации и, что характерно, выборные Советы Крестьянских депутатов. Обоснованное, но запоздалое заявление Совета Крестьянских депутатов о том, что «крушение фронта – это уничтожение огромной части России и гибель крестьянских надежд на землю и волю», так и не вызвало в свое время должной реакции в крестьянской среде¹².

В первой половине 1918 г. крестьянская масса еще активно не выступала против большевиков, колебалась, а значительная ее часть даже поддерживала большевиков, пока в деревне проводилась хаотическая экспроприация барской земли. Германское посольство в Москве, располагавшее в 1918 г. наиболее разветвленной агентурой в России, предоставило в распоряжение будущего историка серию интереснейших документов. В июле 1918 г. на основании этой документации МИД Германии составил обстоятельный доклад о положении в русской деревне и состоянии ее сельского хозяйства. В докладе указывалось, что произошло «всеобщее потрясение сельского хозяйства». В начале, в первые месяцы 1918 г., русские крестьяне обращали недостаточное внимание на сельскохозяйственное производство, а охотнее и больше занимались дележом захваченной земли. Эти крестьяне и ранее не принимали участия в политической борьбе, в их среде отсутствовала тра-

диция политического воспитания и царило невежество¹³. Характерным было поведение крестьянства в период Ярославского восстания 1918 г. против большевиков. Восточный отряд полковника Сахарова, действовавший против большевиков в районах Поволжья и Прикамья, так и не смог собрать в свои ряды значительной прослойки крестьянства. Как подчеркивал в своих воспоминаниях маршал К. Мерецков, в период восстания губернская организация большевиков нарочито ускорила проведение земельного передела. В имениях 110 помещиков Ярославской губернии было конфисковано около полумиллиона десятин земли. К. Мерецков сообщает, что крестьяне боялись опоздать к аграрному делу и страшлись, что за их вступление в антибольшевистские отряды они будут лишены земли. Так, «в Муром, – указывается в воспоминаниях, – почти никто не пришел для участия в восстании»¹⁴. Погоня за получением барской земли со стороны крестьянства способствовала укреплению большевиков.

Все возрастающий, неуклонный перелом в сознании крестьянства и его довольно активная реакция на события отмечается с июля 1918 г. и в более поздний период. Вспышки крестьянских антибольшевистских выступлений шли параллельно с усилением деятельности созданных большевиками многочисленных продовольственных вооруженных отрядов, численность которых на протяжении 1918 г. превысила 70 тысяч человек. К ним примыкала значительная прослойка мародерских и грабительских элементов, которых советская историография старается изобразить в качестве «передовых и сознательных» борцов. В деревне проходил вооруженный грабеж вовсе не излишков сельскохозяйственных продуктов, а, как это признается даже в советских исследованиях, «часто необходимого продовольственного фонда»¹⁵. Указания по вооруженному грабежу плодов тяжелого крестьянского труда на базе внеэкономического принуждения и без учета необходимого крестьянского фонда по собственному пропитанию давал глава «рабоче-крестьянского правительства» – В. Ленин. Перед отправкой продовольственных отрядов в Елецкий и соседние с ним уезды Ленин поставил задачу «очистить уезд от излишков хлеба дочиста» и запретил идти на какие-либо компромиссы в деле грабежа¹⁶. Даже такая житница хлеба, как Тамбовская губерния, не смогла вынести огромной тяжести продрозверстки, которая упорно не снижалась, не-

смотря на недород. Как гласили германские донесения в Берлин, даже в северных нехлеббородных губерниях у крестьянства насильственно изымались хлебные припасы, которые и ранее давали возможность северной деревне продержаться только 3-4 месяца в году¹⁷.

Новой ступенью в усилении грабежа крестьянства было наступление т. н. «комбедовского периода» в связи с обнародованием декрета ВЦИК от 11 июня 1918 г. «Об организации и снабжении деревенской бедноты». На плечи крестьянства легло теперь содержание не только продовольственных отрядов, но и непроизводительного элемента, не принимавшего участия в производственном процессе в деревне, которому теперь за участие в грабеже передавалась определенная часть отобранного у «кулаков» хлеба. Комбеды являлись фактически своеобразными гарнизоном тунеядцев (поставленными в деревне большевиками) по безвозмездной выкачке сельскохозяйственных продуктов. В устах Ленина и его окружения термин «кулак» служил целям политического жонглирования с целью скрыть факт ограбления также и основной продовольственной фигуры в деревне – именно домовитого середняка, удельный вес которого резко вырос в результате аграрного передела 1918 года. Если в 1916 г. процент хозяйств с посевной площадью в 4 десятины составлял 59,1% всего крестьянства, то в начале 1919 г. он вырос до 74%. Крестьяне, располагавшие землей в количестве более 8 десятин, не превышали в 1916 г. 7,9%, а в начале 1919 г. – только 3,1% от общего количества хозяйств. Произошла фактическая нивелировка крестьянства в сторону безусловного роста именно середняка, являвшегося теперь центральной фигурой в деревне и подвергавшегося систематическому ограблению¹⁸. В августе-сентябре 1918 г. усилилось, по указанию Ленина, направление в деревню новых продовольственных отрядов. Далее последовало указание о посылке в село продотрядов из среды железнодорожников в количестве 10% их общего состава.

Безудержный грабеж в деревне сразу же привел к сокращению посевных площадей и усилил процесс натурализации сельского хозяйства. Как информировал германский посол в Москве фон Бассевиц рейхсканцлера, к осени 1918 г. грабеж крестьянства усилился, так как большевики усиленно опустошали от хлеба деревню при помощи комитетов бедноты, в среду которых ленинцы «дали возможность собраться самым

отбросам крестьянства». Наиболее разумные крестьяне, пояснял Бассевич, предпочитают теперь сеять только на свои минимальные нужды, так как «хлеб все равно отберут». Особенно этот процесс сокращения посевов охватил зажиточные крестьянские хозяйства (хутора, отруба). Крестьяне заявляли с сожалением, что они «грабили помещиков – теперь нас грабят». Обесценение рубля (эмиссия в 55 млрд. рублей) еще более усилила процесс натурализации хозяйства в деревне¹⁹.

С июля 1918 г. начала расти волна крестьянских восстаний, охватившая просторы собственно России и национальных районов в пределах распространения власти ленинцев. По данным Народного комиссариата внутренних дел, в июле 1918 г. произошло 26 крупных крестьянских восстаний, в августе уже 47. Основным контингентом восставших безусловно являлись середняки. Даже лживая советская историография признает, что-де зажиточный крестьянин («кулак») был только «застрельщиком». Пламя крестьянских восстаний охватило губернии Тамбовскую, Воронежскую, Пензенскую, Саратовскую, Вятскую, Оренбургскую, Орловскую, Московскую и другие²⁰. По данным ВЧК, в 1918 году «кулаки» организовали по стране не менее 245 крестьянских восстаний и выступлений. Даже Ижевско-Воткинское рабочее восстание против большевиков привлекло в свои ряды крестьян окрестных сел и деревень²¹. По сведениям немецкой Главной Квартиры за август 1918 г., вся линия железной дороги Петроград–Псков и окрестности Луги были ареной восстаний не менее 9 тысяч вооруженных крестьян, которые блокировали гарнизон г. Луги и сражались в районе Белые Струги. У Порхова крестьяне разгромили отряд Красной гвардии численностью 400 человек. Бои происходили в Нижегородской губернии и даже в 40 км восточнее Москвы²². Казалось бы, падение большевиков в огне крестьянских восстаний было неминуемо. Однако ленинцы выстояли, а крестьянство на местах потерпело жестокое поражение. Это поражение сыграло трагическую роль в дальнейших судьбах жителей деревни в центре и на просторах бывшей Российской империи.

Какие же причины определили разгром широких крестьянских восстаний 1918 года? Причины эти вытекали из самой сущности и особенностей крестьянства, а кроме того, этому способствовала и внешнеполитическая обстановка, сложившаяся после июля-октября 1918 года. Исторической бедой

крестьянского движения являлся его локальный характер, когда восставшие упорно не выходили за пределы своей волости, уезда, губернии. Отсутствие координации между очагами восстаний, неодновременность волнений, а также предшествующий разгром большевиками крестьянских организаций и расколовшихся течений партии эсеров – всё это оставило крестьянство без координирующей руководящей силы, которой бы оно доверяло.

Если еще в мае 1918 г. МИД Германии подчеркивал, что «большевики от нас зависят», то уже в июле-августе 1918 г. положение резко изменилось. Большевистская армия стала теперь на востоке Европы основной военной силой. Этому способствовала переброска войск Германии с Восточного фронта на Запад против Антанты, добившейся значительных успехов на фронте. Германское командование определенно указывало, что немецкая переброска войск основательно укрепила позиции большевиков в Центре России, в Поволжье, а в главных городах ленинцы вооруженным путем и при помощи всеобъемлющего террора разгромили все антибольшевистские течения и выступления. Закончились неудачей матросские вспышки в Кронштадте и Петрограде. Если в мае 1918 г. большевики располагали 450-тысячной регулярной армией, то к октябрю-ноябрю их силы выросли до 1,5 млн. мобилизованных солдат. По данным Всероглавштаба, к 15 августа 1918 г. в центральных внутренних округах находилось 164 тысячи красноармейцев в гарнизонах. В противовес крестьянской повстанческой локальности, до 70% всех нововозникших советских дивизий мобильно перебрасывались с фронта на фронт и в очаги восстаний²³. Успеху большевиков в разгроме восстаний способствовал и рост их дополнительных мобильных сил – частей ВЧК, участие в боях продармейских отрядов, сколоченных полков т. н. «деревенской бедноты» (например, 310-й пехотный полк деревенской бедноты и др.).

Поражение крестьянского повстанческого движения в 1918 г. в своем результате усилило большевистский поход в деревню с целью растущего выколачивания продовольственных фондов крестьянства, изъятия его возможных хлебных накоплений и роста тенденции закабаления крестьянства. Показателем, юридическим симптомом этой большевистской политики был декрет от 19 февраля 1918 г., объявлявший отмену частной собственности на землю, и стремление комму-

низировать деревню путем внедрения уже на этой стадии советских хозяйств (совхозов), коммун, артелей. В 1918 г. был основан 3101 совхоз, а в 1919 г. их количество выросло до 3500, в 1920 г. – до 4400. Сельскохозяйственных коммун было в 1918 г. 950, а в 1919 г. уже 2099. Число артелей с 422 в 1918 г. выросло до 1935 в 1919 г., в 1921 г. количество артелей достигало 10015²⁴. Таким образом, советское правительство во главе с Лениным упорно проводило политику эксплуатации и ограничения возможностей крестьянства с целью превращения последнего в батрака советской хозяйственной системы в деревне. Уже на протяжении 1918 г. в ходе организации этих хозяйств наблюдалось грубое административное, прямое и косвенное принуждение²⁵. Годами шел процесс нарочитого подрыва хозяйства не только малочисленного трудового зажиточного крестьянина, но и преобладающей массы середняков усилением налогового обложения, конфискацией хлебных припасов, мобилизацией тягловой силы, а в последующем – выделением т. н. «контрактации» и т. п.

В период Кронштадтского восстания 1921 г., являвшегося типичным проявлением новой грозной волны крестьянских восстаний в стране, глава восставших, председатель Кронштадтского Революционного Комитета С. М. Петриченко, заявлял: «А как живут крестьяне и что они получили? Они получили принудительные работы, не считаясь с возрастом, полом и семейным положением, полное разграбление муки, зерна, всякого скота и крестьянского инвентаря, неисчислимы реквизиции и конфискации, бесконечное число заградительных отрядов»²⁶. Новая волна крестьянских восстаний в стране (например, Тамбовское) во главе с лидирующим Кронштадтским со всей очевидностью выявило антинародный характер большевистского господства, идущего вразрез как с интересами рабочего класса страны, так, что особенно важно, и с кровными интересами огромного большинства населения страны – крестьянства. Жители деревни приносили уже не половину всего народного дохода, как это было в 1913 г., а 79%. В создавшихся условиях, в связи с антинародным характером и экономической несостоятельностью, существование коммунистической партии и ее господство уже не имело ни малейших как социальных, так и политических оснований. Это понимали уже и современники событий, даже из лагеря большевиков, как, например, Н. Бухарин, который, несмотря

на свою капитулянтскую сущность и даже беспринципность, указывал на изоляцию коммунистов от народа и их господство в качестве ничтожного меньшинства, опирающегося только на вооруженную силу²⁷.

Окрепшие в результате разгрома Германии в 1918 г. и ставшие крупной военной силой на востоке Европы (силы противников большевиков запоздали в своем развитии), большевики вышли победителями как в гражданской войне 1918 – 1922 гг. вообще, так и в ее составной части – крестьянской войне. Создавшаяся в результате этого непреложного факта политическая обстановка содействовала выдвиганию и укреплению нового господствующего класса коммунистов-бюрократов, захвативших в свои руки все командные административные, политические и экономические позиции в стране. Этот новый эксплуататорский класс, поглощающий непропорционально великую долю национального дохода, на протяжении 20-30-х годов очищал свои ряды от оппозиционных элементов, связанных в той или другой степени как с недовольными рабочими и интеллигенцией, так, что особенно важно, с многомиллионным крестьянством. Если политически слабый рабочий класс, сконцентрированный в промышленных центрах, находился в надежных тисках разветвленного административного аппарата, то иначе обстояло дело с миллионами крестьян, которые в условиях индивидуального хозяйства на необъятных просторах страны так или иначе давали отпор эксплуататорам, и их хозяйственная деятельность далеко не всегда поддавалась учету и контролю.

Мало того, эта крестьянская среда представляла определенную опасность для создавшегося строя новых эксплуататоров, так как именно из ее недр, как феникс из пепла, систематически возникали и возрождались течения, питавшие оппозицию к новому строю в широком понимании этого слова. Для закрепления своего господства, как политического, так и материального, новые эксплуататоры организовали очередной поход в деревню – на этот раз с целью полной ликвидации свободной, трудовой деятельности крестьянства, разграбления его нажитых кровью и потом материальных средств и прикрепления сельского труженика не к своей, а к огосударственной земле в качестве закрепощенного батрака. Пропагандистские выверты сталинцев о походе только на т. н. «кулака» были шиты белыми нитками и не выдерживали никакой кри-

тики. Если в дореволюционной деревне насчитывалось около 15% т. н. «кулацких» хозяйств, то в 1924-25 гг. уже советская историография определяла последних в рамках 3,3% (около 728 тысяч)²⁸. Основной удар сталинщины был направлен именно против преобладающего середняцкого и даже бедняцкого хозяйства в деревне, при нежелании коллективизироваться бедняков и середняков также зачисляли в «кулаки» и в «подкулачники».

Политическое значение этих терминов, не имевших под собой ровно никакой действительной экономической основы, не подлежит ни малейшему сомнению. Миллионы депортированных, заключенных в лагеря, расстрелянных жертв никак не могут быть втиснуты в рубрику «кулаки». Сталин лично в беседе с У. Черчиллем назвал цифру 10 миллионов «кулаков» – из них преобладающая часть была уничтожена, а уцелевшие депортированы на север, в Сибирь и т. п. О том, что наступление сталинцев относилось к крестьянству вообще, свидетельствовала даже официальная советская статистика. В. Молотов в 1935 г. заявил, что в 1928 г. в СССР насчитывалось т. н. «кулаков», зажиточных и старательных крестьян 5618 тыс. душ, из коих на 1 января 1935 г. осталось в деревне 149 тысяч. По другим официальным данным, цифра, указанная Молотовым, возрастает до 6,8 млн. человек²⁹. Даже эти фальсифицированные цифры убедительно говорят о том, что скрывалось под советской рубрикой «кулаки», «подкулачники» и т. п. Вне сомнения, сталинцами был поставлен вопрос о ликвидации крестьянства как класса свободных товарных производителей и превращении крестьянина в бесправного батрака на экспропрированной у него земле. В этом свете даже нелегкая жизнь крестьянина в дореволюционное время, с гарантированным земельным наделом, свободой передвижения и открывающейся определенной экономической перспективой, не шла ни в какое сравнение со сталинским закрепощением.

Фактически вся сельскохозяйственная продукция колхозов, полученная на базе применения труда крестьянина-колхозника, шла в закрома сталинского государства, и т. н. «оплата» трудодней колхозника носила по существу мизерный, а то и целиком фиктивный характер. Грабительская сущность колхозов была рельефно продемонстрирована в годы войны 1941 – 1945 гг., когда оставшиеся без своей основной рабочей силы, мобилизованной в армию, колхозы «сдавали» государству

почти всю продукцию, больше, чем до войны. Труженики колхозов, в основном женщины, старики и подростки, фактически ничего не получали на «трудодни», если учесть ссыпку зерна в семенной фонд, гарнцевый сбор, натуральную оплату за работы машинно-тракторных станций (МТС) и т. д. В годы войны крохотный приусадебный участок колхозников стал единственным источником их прокормления³⁰.

Таким образом, труд колхозников стал вписываться в понятие некрепостничества и имел характер своеобразной барщины, которая ранее бытовала в крепостнической деревне. Еще до коллективизации крестьянские хозяйства были обобраны до основания. В 1929 – 1930 гг. и ранее принудительная контрактация уступила место т. н. «твердому плану», доведенному до села и реализуемому при участии непродуктивных отбросов крестьянства (т. н. «крестьянская общественность»). Даже советская историография не смогла скрыть «серьезные извращения в заготовительной работе» в виде т. н. «встречных планов», «дополнительных заданий» и т. п. Новая фаза усиленного грабежа в пределах колхозов была оформлена т. н. законом от 19 января 1933 г. «Об обязательной поставке зерна государству колхозами и единоличными хозяйствами». До выполнения плана хлебосдачи колхозам разрешалось отчислять только от 10 до 15% обмолоченного зерна для выдачи авансов по трудодням. Однако и эти мизерные отчисления на трудодни очень часто носили фиктивный характер. Дело в том, что значительная часть колхозов (от 25 до 50%), например, на Украине, в Поволжье и др., не справлялись с непрерывно нарастающим планом хлебосдачи. В результате, во многих колхозах хлебозаготовки 30-х годов прошли и за счет убийственного по своим последствиям сокращения семенных и фуражных фондов и выдач по трудодням. Мало того, практиковалась принудительная сдача хлеба «в порядке помощи отстающим колхозам»³¹.

Деревня получала ничтожное количество жизненно необходимых товаров, об эквивалентности «обмена» и думать не приходилось, заготовительные цены были смехотворно низкими и не возмещали даже издержек производства³². Тяжелое положение крестьянства и рост его эксплуатации усугублялись еще фактом создания МТС, призванных якобы улучшить жизнь тружеников деревни и способствовать росту производительных сил. Вся история создания и деятельности МТС в кол-

хозной деревне сводилась, по существу, к усилению неслыханного грабежа ее тружеников. На основе решения Совета Труда и Оборона (СТО) от 5 июля 1929 г. об организации машинно-тракторных станций, был создан государственный орган – Трактороцентр, который явочным порядком захватил уже существовавшие МТС и ремонтные мастерские, принадлежавшие кооперативной системе крестьянства (202 станции). Из установочного капитала (в твердых ценах) в 50 млн. рублей на организацию МТС – 25 млн. рублей сразу были взысканы с крестьян. В 1930 г. Трактороцентр выпустил специальные акции, которые принудительно «продавались» крестьянам, на общую сумму в 55 млн. рублей, а в 1931 г. – уже на 211 млн. рублей. Несмотря на то, что основным капиталовкладчиком на строительство МТС было крестьянство, сталинцы объявили эти станции «государственными предприятиями» и передали последние народному комиссариату земледелия СССР.

Несомненный факт грабежа колхозного крестьянства вытекал и из природы оплаты работы тракторных станций. За комплекс работ МТС колхозы выплачивали последним 20% от валового сбора зерна. Денежная форма расчета была отвергнута сталинцами, хотя само государство расплачивалось за хлебосдачу рублями, не имевшими соответствующего покрытия ввиду господствовавшего товарного голода. Объем натуральной оплаты за работу МТС в годы второй пятилетки (1933 – 1937 гг.) составил 30257,9 тыс. центнеров зерна, что составляло не менее половины общей сдачи зерна колхозами государству (61011,7 тыс.). Эта непомерная тяжесть, легшая на плечи колхозников, станет тем понятнее, если учесть, что работа МТС на протяжении многих лет т. н. «колхозного строительства» была убыточной. В 1933 г. количество МТС достигало 2,4 тыс. (72 тыс. тракторов). За вторую пятилетку количество этих станций увеличилось более чем в два раза. Однако в 1935 г. и в последующее время только 300 этих станций работало без дотаций. Убыточность увеличивалась вследствие холостых проездов тракторов по скверным дорогам, систематических поломок техники, простоев и проч., что вызывало значительные дополнительные расходы.

Если в 1929 г. было использовано в среднем 29% имеющихся тракторов, то по состоянию на 1 января 1934 года половина тракторного парка МТС нуждалась в капитальном ремонте, 20% требовала среднего ремонта и т. п. Только

31,1% находился в исправном состоянии. С каждым годом на вновь поступающий в МТС трактор приходилось все меньше плугов, сеялок, культиваторов. Систематически ощущался острый недостаток в прицепном тракторном инвентаре и запасных частях. По балансу на 1 января 1934 г. убытки МТС, например, по Ленинградской области составляли 1 млн. рублей, по Казахстану почти столько же, по Белоруссии – 1251,6 тыс. рублей. На Украине работало всего несколько десятков рентабельных МТС. Убыточность станций значительно усиливалась в связи с постоянным перерасходом горючего и трудностями его доставки. Как признавал советский исследователь М. А. Вылцан, результаты деятельности МТС «не покрывали... государственных расходов на их содержание». Все эти обстоятельства и покрытие убытков ложились тяжелым бременем на плечи колхозника. Под разными предлогами и вывесками колхозы выделяли дополнительные средства, в том числе на содержание аппарата политотделов МТС, различных «уполномоченных», издание газет. В 1932 г. МТС издавали 200 печатных газет, а в 1933 г. количество их дошло до 2153.

В условиях колхозного порабощения техника не давала соответствующего экономического эффекта. Характерно, что в 1935-36 гг. сбор зерновых в колхозах, обслуживаемых МТС, составлял 7,1 ц с гектара, а в колхозах, не обслуживаемых МТС, – 7,7 центнера. В крупнейшей житнице страны – на Украине – сдача зерна государству колхозами также была непропорциональна по сравнению с ростом механизации. В 1930 г. колхозники Украины «сдали» государству 400 млн. пудов из урожая, в 1931 г. – 380 млн. пудов, в 1932-м – только 195 млн. пудов. В то же время в 1930 г. на Украине в МТС числилось 15 тысяч тракторов, а в 1932-м – уже 35 тысяч. Непокрытый грабёж хлеба, подневольный труд и организованный сталинцами голод свели на нет преимущества механизации. В 1958 г. участник и наследник сталинского политического ганга Н. Хрущев и его окружение, также не сумев достичь самоокупаемости работы МТС, пошли на очередной грабительский трюк. Февральский пленум (1958 г.) ЦК КПСС в своем постановлении «О дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизации МТС» предписал «продать» всю уже изношенную технику МТС «в собственность колхозов», и колхозы снова заплатили за нее огромные суммы по оптовым

ценам, значительно превышающим государственные, по которым эта техника была приобретена³³.

В задачи сталинцев и их эпигонов входило не только ликвидировать в СССР свободного товаропроизводителя в деревне, но также, за счет эксплуатации крестьян в тисках колхозной системы, создать промышленность, главным образом тяжелую, в ущерб легкой и пищевой, для упрочения своего первенствующего положения в стране и проведения внешнеполитической экспансии и авантюры, что является неотъемлемой сущностью советской государственной системы.

Получение необходимых сталинцам и их эпигонам средств достигалось также политикой цен на изымаемую сельскохозяйственную продукцию. Фактически на всем протяжении истории т. н. советского общества государственные заготовительные цены оставались сугубо символическими и, даже по признанию советских официальных изданий, были в 12 раз ниже рыночных, а то и более того. Таким образом, неоплачиваемый принудительный труд, символическая оплата «трудодней», административное принуждение и др. создавали хроническое кризисное состояние в сельском хозяйстве. Даже намеченный на 1959 – 1965 гг. т. н. «план подъема» сельского хозяйства остался невыполненным, как не выполняется и поныне³⁴. На протяжении пятилеток «индустриального строительства» средства на него черпались за счет безудержной эксплуатации всего трудового населения и, в частности, за счет деревни. Уже в 1928 г. из сельского хозяйства в другие отрасли экономики передавалась в порядке т. н. «перераспределения» национального дохода огромная масса прибавочного продукта, достигавшего 1849,3 млн. рублей в ценах 1913 года. Советская историография отмечает, что изъятия из сельского хозяйства производились путем «неэквивалентного обмена». За каждый отчужденный из сельского хозяйства продукт стоимостью 2,05 рублей (на протяжении первой пятилетки) оно получало продукцию из других отраслей лишь на 1 рубль. Из сельского хозяйства неэкономическим путем, безэквивалентно, отчуждалось в эти годы 1,8 млрд. рублей. Следовательно, сельское хозяйство давало около 65% средств, шедших на формирование фонда накопления отраслей, не относящихся к сельскому хозяйству. Размер прямых платежей деревни вырос в 1928 – 1932 гг. более, чем в 4,5 раза. Таким образом, сельское хозяйство предоставило в 1930 г. более одной трети, а в 1932 г.

около пятой части средств, необходимых для развития индустрии, транспорта и др.³⁵ Эти советские данные безусловно занижены, так как в расчете обойден вопрос о натуральной оплате МТС, гарнцевом сборе, децентрализованных заготовках, подписке на займы, содержании колхозами сотен тысяч аппаратчиков-тунеядцев, направляемых в деревню. Сельское хозяйство с каждым годом предоставляло все возрастающую долю продукта на проведение индустриализации. Если учесть фактически бесплатный труд миллионов заключенных-крестьян системы ГУЛАГа и депортированных «кулаков» на индустриальных стройках, следует сделать обоснованный вывод, что крестьянство давало в годы пятилеток не менее 3/5 средств, необходимых для развития советской индустрии. Только у «капитана индустрии», начальника строительства Кузнецкого металлургического комбината С. М. Франкфурта было занято 80 тысяч рабочих, из которых более половины составляли «раскулаченные» крестьяне и работоспособные члены их семей. Несколько миллионов «раскулаченных» были этапированы в места строительства горнорудной, лесной, строительной и других отраслей в малообжитых районах³⁶. В 1933-35 гг. крестьянский контингент лагерей оценивался примерно в 3,5-4 млн. человек, что составляло почти 70% от общего числа заключенных³⁷. Однако и эти данные безусловно занижены, так как один только «закон» от 7 августа 1932 г. о хищении «социалистической собственности», фактически направленный против голодающего крестьянства, собиравшего на полях «колоски», бросил на пополнение государственного рабовладения новые контингенты крестьянства. Этому способствовала большевистская пресса, которая, по директивам сверху, обвиняла крестьянство, особенно Украины, Дона, Кубани, бассейна Волги, Центральной Черноземной Области и др., в проведении саботажа, хищении колхозного добра и т. п.³⁸. Автор этих строк, пребывавший в 1932/1933 гг. в тюрьмах Киева и Харькова, был свидетелем нараставшего потока крестьянских жертв очередных сталинских репрессий в августе 1932 г. и в последующее время. Сообщения советских изданий о том, что с начала 1930 г. до осени 1932 г. из районов сплошной коллективизации было депортировано не более 240756 «кулацких» семей, являются явно заниженными и фальсифицированными. Дело в том, что депортация неугодных сельских тружеников происходила беспрерывно,

нарастающими волнами, в конце 20-х и все 30-е годы. В большинстве местностей на каждого высланного «кулака» приходилось не менее 3-4 арестованных середняков или бедняков («подкулачники»). Указанное советской историографией количество депортированных крестьян составляло только 25% их фактического числа. Как известно, эта категория крестьян не была оставлена в деревне, остальные 75% «кулаков» были также высланы в необжитые районы Севера. Упорную борьбу за ликвидацию свободного крестьянского товарного производителя начал еще В. Ленин: «Мы, – заявлял Ленин, – стояли, стоим и будем стоять в прямой гражданской войне с кулаками». Термин «кулак» был демагогически использован Лениным в целях политического обмана, так как он вообще призывал к борьбе с «русским капитализмом», который-де вырастает из мелкого крестьянского хозяйства³⁹. Таким образом, дело касалось борьбы со всем крестьянством страны. Демографические потери народов страны в результате сталинского политического бандитизма были неисчислимы и до настоящего времени тяготееют на статистических балансах народонаселения. Коллективизация, голод, террор, односторонняя индустриализация, даже по осторожным данным исследователей, унесли не менее 9 млн. жертв⁴⁰.

Нажим на крестьянство страны еще до коллективизации сопровождался ростом выступлений тружеников деревни, доведенных до отчаяния преследованием и грабежом. Советская историография всячески замалчивает массовый организованный террор власти и пытается изобразить борьбу крестьянства против неслыханного гнета в виде «кулацкого террора». Таким изображается, например, выступление крестьян Сибири в 1924 г. в Благовещенском уезде, во время которого было убито 26 человек «коммунистического актива». Даже в далекой Бурятии в декабре 1928 г. власти зарегистрировали около 900 т. н. «контрреволюционных выступлений» в связи с фиктивной «избирательной кампанией». Только по Сибири с января 1926 г. по сентябрь 1927 г. было убито крестьянами 1150 большевистских насильников. Даже советская статистика т. н. «террактов» со стороны крестьянства указывает на рост сопротивления. Если в 1925 г. таких «актов» было по стране 759, то в 1926 г. – 638, а в 1927-м – уже 897. В 1928 г. советская статистика насчитывает их 1123.

Советская цензура наглухо закрыла доступ к архивным фондам, отражающим широкие выступления крестьян против принудительной коллективизации и грабежа необходимых продовольственных ресурсов в деревне и организации советским аппаратом голода в качестве инструмента государственной политики на Украине, в ЦЧО, Поволжье, на Северном Кавказе.

На просторах Сибири шло это движение отчаявшихся крестьян, о которых в зарубежных исследованиях упоминается скудно из-за отсутствия опубликованных материалов. Автор этих строк был очевидцем крестьянских выступлений и т. н. «бабьих бунтов» в период коллективизации на Житомирщине. Всё же выборочные материалы, опубликованные в непродолжительный период «оттепели», дают нам некоторое представление о массовых выступлениях крестьянства, а отнюдь не малочисленных «кулаков». Так, в статье о коллективизации в Западной Сибири, меж строк, упоминается о крестьянском выступлении «толпы в 1000 человек»⁴². Даже в Мордовском округе в период с 1 января по 15 ноября 1929 г. произошло 189 крестьянских выступлений, вплоть до открытых восстаний. В мае-июне 1929 г. в Мордовии было зарегистрировано 22 «мятежа крестьян». Наиболее массовые выступления произошли весной 1930 г. в Елиниковском, Ромоданском и Кочкуровском районах Мордовии⁴³. Для подавления крестьянских волнений на Доне и на Украине туда перебрасывались дивизии регулярной армии, по станицам и селам свирепствовали т. н. мангруппы (маневренные отряды) войск НКВД, шли массовые аресты и расстрелы.

О сопротивлении крестьянства беспрецедентному грабежу и фактическому геноциду, проводимому сталинщиной, свидетельствует поголовное выселение на необжитый Север 16-ти станиц Северного Кавказа, в том числе Полтавской, Медведковской, Багаевской и других, насчитывавших каждая по 30-40 тысяч населения. Высылалось **все** население станицы, включая бедноту, единоличников и колхозников. Это обстоятельство воочию показывает, что речь шла не только о ликвидации зажиточного крестьянства, но о разгроме всего крестьянства. Сталинские басни и фальшивки советской историографии об умышленном уничтожении крестьянством поголовья скота в ходе коллективизации не выдерживает ни малейшей критики. Дело в том, что политика хлебосдачи 1931 г. при-

вела к изъятию из деревни всего хлеба и всего фуража, что создало бескормилу. поголовье крупного рогатого скота сократилось за пятилетие «социализма» с 60,1 млн. голов до 33,5 млн., не говоря уже о поголовье овец, коз, свиней. Ценнейшим источником о создавшемся положении в коллективизируемой деревне в 30-е годы являются воспоминания ряда живых еще свидетелей⁴⁴. Необходимо категорически отбросить нарочитую дезинформацию советской историографии о том, что т. н. «перегибы», «искривление линии партии» и т. п. в ходе коллективизации ложатся на Сталина, Молотова, Кагановича или на местный партийно-административный аппарат. К суду истории, к политической и уголовной ответственности должна быть привлечена вся КПСС и ее члены в целом, которые склоняли свои головы перед недоучившимся кавказским семинаристом. Если в советской деревне в 1927 г. угнетало сельского труженика 228,6 тыс. коммунистов, то в 1930 г. в разгроме всего крестьянства принимало участие около 700 тыс. членов партии, превративших крестьянина в батрака коммунистической рабовладельческой системы, которая к 1937 г. охватила 93% всего крестьянства страны⁴⁵.

Советский исследователь колхозного «строительства» так и писал, что установленные государством в 1928-30 гг. и почти не изменившиеся до 1935 г. директивные заготовительные цены на основные виды сельскохозяйственных продуктов «были крайне низкими, в большинстве символическими». В 1934-35 гг. заготовительные цены на пшеницу составляли 3,2-9,4 копейки за 1 кг, а розничная государственная цена за 1 кг пшеничной муки, даже по карточкам, была не ниже 35-60 коп., а в т. н. коммерческих магазинах – 4-5 рублей. Единая «государственная» цена на муку была в 40 раз выше заготовительной цены. Подобное же положение царило при заготовках других сельскохозяйственных продуктов (картофель, говядина и др.). В это же время в среднем трудодень колхозника «оплачивался» в 1933 г. в размере 30 коп., а в 1934-м – 26 коп. Какие денежные средства получал колхозник, видно из того факта, что в среднем член колхоза выработывал в 1932 г. 118 трудодней, в 1933 г. – 148, в 1935 г. – 180. В условиях сталинского грабежа не могло быть и речи о нормальном развитии «экономики» колхозов или о минимальной рентабельности.

Коммунистическое государство занималось продажей нагребленного крестьянского хлеба на иностранных рынках.

Так, в 1929 г. было продано за границу 2,6 млн. ц зерна, в 1930 г. – 48,4 млн. ц, в 1931 г. – 51,8 млн. ц. Этого количества зерна вполне хватило бы для предотвращения искусственно вызванного голода в 30-е годы⁴⁶. Известный апологет сталинских «достижений» и партийный аппаратчик, занимавшийся вопросами «изучения» сельского хозяйства, С. П. Трапезников вынужден был констатировать, что «за годы социалистической реорганизации произошло понижение производительности сельского хозяйства, значительное уменьшение валовой продукции зерновых культур, сокращение поголовья всех видов скота». Не помогли делу бесконечные победные реляции и предписания по «обеспечению быстрого и прочного подъема колхозно-совхозного производства» (сентябрьский пленум ЦК 1953 г., октябрьский пленум ЦК 1964 г., мартовский пленум ЦК 1965 г. и т. д.)⁴⁷.

На всем протяжении существования советского эксплуататорского строя его руководители добивались не улучшения положения народных масс города и деревни, а изыскания способов дальнейшего усиления экономического нажима на подневольное население в целях выкачки дополнительных материальных средств для укрепления нового класса эксплуататоров и на проведение дальнейших международных авантур. С этой целью подневольные народы СССР становились и становятся объектом беззастенчивых экспериментов со стороны правящей верхушки. Тут была и передача земли в собственность крестьянства с последующим отобранием ее у последнего, продразверстки, нэповский продналог, принудительная контрактация, коллективизация, слияния, укрупнения и разукрупнения колхозов, организация МТС и грабительская «продажа» техники колхозам при Н. Хрущеве, массовое превращение колхозов в совхозы и т. д. Судя по передовицам «Правды» и другой советской прессы, эксплуататоры снова повторяют набившие оскомину призывы и принимают «меры» по «повышению производительности труда» в сельском хозяйстве, по предотвращению бегства колхозников из «социалистической» деревни и т. п. Ю. Андропов, на которого возлагали столько несбыточных надежд наивные зарубежные публицисты, выкинул со своими подручными новый эксплуататорский трюк: «коллективный наряд на селе»⁴⁸. В подъяремной деревне страны та же известная нам картина. В корреспонденциях с мест зазвучали знакомые лозунги: «поставить

заслон потерям», «поднимать людей на субботник», «уплотненный график» и т. п. Мало того, победные реляции сопровождаются зловещими призывами, усилением гнета и нажима на колхозника, увеличением продажи хлеба государству, и, что характерно, писаки с мест призывают «ликвидировать задолженность за два минувших года» и выполнить план трех лет по закупкам хлеба. В прессе приводятся факты, что на уборке урожая в ряде мест было занято лишь 40% имеющихся автомашин и т. п.⁴⁹

Трагический опыт господства партийной элиты и номенклатурщиков в стране со всей очевидностью свидетельствует о том, что советским верхам не удастся преодолеть ни развал сельского хозяйства, ни серьезные кризисные явления в промышленности. Для преодоления этих хронических явлений требуется, прежде всего, личная заинтересованность людей труда и прекращение безудержной их эксплуатации. Советский господствующий класс, в силу присущих ему социально-политических особенностей, не пойдет добровольно на уступки, в том числе и на деколлективизацию, так как это означало бы отказ от власти, за которую он так упорно цепляется. Один из активных основателей, наряду с В. Лениным, рабского общества и режима в СССР Л. Троцкий признал в конце 30-х годов, что в советском обществе верхушка, составляющая 11-12% населения, использует в своих личных интересах 50% национального дохода. Он указывал, что социальная дифференциация в СССР резче, чем в США, где высший слой, насчитывающий 10% населения, получает не более 30% национального дохода. Превосходство западной демократической системы, основанной на свободе личности и институте частной собственности, над застойным рабовладением и отсталым сельским хозяйством в СССР воочию продемонстрировали диаметрально противоположные результаты, достигнутые Западом на памяти уже ряда поколений⁵⁰.

О значении свободной инициативы свидетельствует история использования крестьянством т. н. приусадебных участков, которые в совокупности не превышают 1,8-3% всего пахотного фонда страны. Со своих приусадебных участков, с использованием дедовской лопаты, колхозники дают стране 61% рыночной продажи картофеля, поставляют населению каждый третий килограмм мяса, каждое третье яйцо, каждый третий литр молока, половину фруктов и овощей. В то же

время колоссальный колхозно-совхозный земельный массив (с приданной техникой в 3 млн. тракторов, 700 тыс. комбайнов и др.), обслуживаемый подневольными людьми, не в состоянии прокормить страну. Весь этот сектор был и останется экономически нерентабельным. В то время как в США 3 млн. свободных фермеров производят гигантское количество сельскохозяйственной продукции, в СССР 24 млн. постоянно работающих в деревне и около 15 млн. ежегодно сгоняемых на сельскохозяйственные работы горожан не могут справиться с задачей прокормления страны⁵¹. Без ликвидации эксплуатации колхозника, прикрепленного вдобавок к колхозу на основании паспортного режима 1932 г., действующего и поныне, не может быть и речи о действительном подъеме сельского хозяйства. Однако это раскрепощение тружеников села и города возможно **только** при неременном условии падения созданного в СССР политического и экономического строя. Только на основе восстановления прогрессивного и высокотоварного крестьянского фермерства может быть обеспечена прочность и гармоничность развития всего народного хозяйства и нового общества, свободного от оков, наложенных на него монопольным работодателем в лице эксплуататорской элиты и номенклатурищины. Партийно-государственные порядки в СССР неременно порождают хронический застой в экономике, науке и приводят к разбазариванию материальных средств и людских ресурсов и к безнадежному отставанию в технологии (электронике, в частности). Все, чем хвастаются советские рабовладельцы в области своих «достижений», могло быть достигнуто с минимальной затратой сил, средств и с большим эффектом значительно ранее при условии наличия в стране свободного, демократического строя. Насильственно приостановленное большевиками еще в 1918 г. развитие свободного фермерского хозяйства прервало процесс создания в стране гигантского внутреннего рынка сбыта, что дало бы мощный толчок гармоничному развитию всего промышленного комплекса при одновременном обеспечении непрерывного роста материального благополучия населения.

Безусловно, глубоко ошибочными и путанными являются утверждения некоторых, далеких от изучения и понимания истории своего народа, публицистов, которые вслед за советской историографией твердят о «великой исторической роли коллективизации». Подобные, расходящиеся с исторической

правдой взгляды («коммунизм приходит на века») являются отражением капитулянтского интеллектуального застоя в мышлении, привитого многими десятилетиями господства сталинщины в широком понимании этого слова. Великой можно назвать даже ограниченную крестьянскую реформу 1861 г., так как она все же дала личную свободу крестьянину. Сталинская же коллективизация закрепила крестьянство, экспроприровала, привела к невозможным демографическим потерям, к геноциду, была экономически нецелесообразной, реакционной, усилила класс коммунистических эксплуататоров, прервала нормальное развитие общества, бросила колоссальные пласты народов СССР в застенки и в горнило лагерей. Порукой освобождения народов страны от цепей рабства должна быть активизация борьбы за свержение окончательно изжившего себя коммунистического строя.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ С. Ю. Витте. Воспоминания. Берлин, 1922, т. I, стр. 476.

² Проф. Н. Д. Кондратьев. Рынок хлебов и его регулирование во время войны и революции. М., 1922, стр. 15 и др.

³ Крестьянская Россия. Сборник статей. II-III. Прага, 1923, стр. 67.

⁴ Там же, стр. 68; В. А. Маклаков. Из воспоминаний. Нью-Йорк, 1954, стр. 396, 364; Военно-стратегический ежегодник армии за 1912 г. СПб., 1914, стр. 372, 373.

⁵ Н. Огановский. Закономерность аграрной революции. Обновление земледельческой России и аграрная политика. Т. III. Вып. I. Саратов, 1914, стр. 19, 47; Там же. Т. III, стр. 12, 14, 23; М. Френкин. Захват власти большевиками в России и роль тыловых гарнизонов армии. Иерусалим, 1982, стр. 27 и др.; Предварительные итоги Всероссийской сельско-хозяйственной переписи 1916 г. Вып. I. Петроград, 1916, стр. XIV.

⁶ Д. А. Столыпин. Очерки философии и науки. Наш земледельческий кризис. Москва, 1891, стр. 25.

⁷ М. П. Бок. Воспоминания о моем отце П. А. Столыпине. Нью-Йорк, 1953, стр. 220.

⁸ С. М. Дубровский. Столыпинская земельная реформа. М., 1963, стр. 199, 200, 201, 360, 574.

⁹ Газ. «Дело Народа», 19 мая 1917 г.

¹⁰ В. И. Ленин. ПСС, т. 16, стр. 423.

¹¹ В. И. Ленин. ППС, т. 11, стр. 75, 90, 127.

- ¹² М. Френкин. Указ. соч., стр. 327, 333, 334, 336, 349, 352 и др.; Советы Крестьянских депутатов и другие крестьянские организации. Т. I. Ч. I, М., 1929, стр. 287.
- ¹³ Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes. Band 155, Russland 61, S.S. 13, SA 25968; Band 157, Russland 61, SK 195908 и др. В дальнейшем Р. А. des А. А.
- ¹⁴ «Вопросы Истории». 1967, № 3, стр. 98 и др.
- ¹⁵ «История СССР», 1965, № 3, стр. 71; 1971, № 3, стр. 104.
- ¹⁶ В. И. Ленин. ПСС, т. 50, стр. 142, 177.
- ¹⁷ «Военно-исторический журнал», 1967, № 12, стр. 28; Р. А. des А. А., Band 167, Russland 61, S. A. 46647.
- ¹⁸ Крестьянская Россия. Сборник статей. Прага, 1923, II-III, стр. 154.
- ¹⁹ Р. А. des А. А., Band 167, Russland 61, SS. A. 46647; Band 161, Russland 61, S. K. 185928.
- ²⁰ В. Владимирова. Год службы «социалистов» капиталистам. М.-Л., 1927, стр. 290, 291; Народное сопротивление коммунизму в России. Урал и Прикамье. Ноябрь 1917 – январь 1919 г. Документы и материалы. Париж, 1982, стр. 122, 155, 292, 466 и др.
- ²¹ Лацис М. Я. (Судрабс). Два года борьбы на внутреннем фронте. М., 1920, стр. 106; Д. А. Голиков. Крушение антисоветского подполья в СССР. М., 1980, стр. 180, 249.
- ²² Р.А. des А. А., Band 161, Russland 61, SA 34408; 340890; SA 34376.
- ²³ Р. А. des А. А., Band 162, Russland 61, SA 36600; Band 166, Russland 161, SA 45044. N 2017; Из истории Гражданской войны в СССР. Т. I. М., 1960, стр. 150; С. С. Каменев. Записки о Гражданской войне и военном строительстве. М., 1963, стр. 77.
- ²⁴ Сб. «О земле», вып. I. Издание Народного Комиссариата Земледелия. М., 1922, стр. 25 и др.
- ²⁵ КПСС в резолюциях. 7-е изд., ч. I, 1954, стр. 448.
- ²⁶ С. Петриченко. Правда о Кронштадтских событиях. 1921, стр. 3.
- ²⁷ С. Маслов. Россия после четырех лет революции. Париж, 1922, стр. 21, 29, 64, 123; Стивен Коэн. Бухарин. Нью-Йорк, 1974, стр. 152 и др.; Роберт Конквест. Большой террор. Флоренция, 1974, стр. 27, 29 и др.
- ²⁸ В. П. Данилов. Создание материально-технических предпосылок коллективизации сельского хозяйства в СССР. М., 1957, стр. 76.
- ²⁹ Winston Churchill. The second World War. Vol. 1V. London, 1951, pp. 447, 448; «Правда», 29 янв. 1935.
- ³⁰ В. В. Арутюнян. Советское крестьянство в годы Великой Отечественной войны. М., 1963, стр. 345, 346.
- ³¹ «На аграрном фронте». 1934, № 9, стр. 3; «История СССР», 1972, № 1, стр. 103, 105.
- ³² А. Н. Малафеев. История ценообразования в СССР. (1917 –

- 1963 г.). М., 1964, стр. 267; «История СССР», 1972, № 1, стр. 98, 99, 103, 105 и др.
- ³³ «История СССР», 1972, № 1, стр. 99, 100, 101, 103, 105 и др.; «История СССР», 1969, № 4, стр. 29, 37, 38; М. А. Вылцаи. Укрепление материально-технической базы колхозного строя во второй пятилетке. (1933–1937 гг.). М., 1959, стр. 21, 23, 25, 33, 36, 40, 41, 79, 98, 109, 124, 131, 142; Машины и орудия в социалистическом сельском хозяйстве СССР. М., 1936, стр. 36; XVII съезд ВКП(б). Стенографический отчет. М., 1934, стр. 67; Р. Медведев и Ж. Медведев. Н. С. Хрущев. Годы у власти. Columbia University Press, 1975, p. 101.
- ³⁴ Советская Историческая Энциклопедия (СИЭ). Т. 6. М., 1965, стр. 494, 498.
- ³⁵ «История СССР», 1968, № 3, стр. 64, 67, 71, 77, 80.
- ³⁶ «Вопросы истории», 1966, № 5, стр. 6, 11 и др.; «Вопросы истории», 1964, № 11, стр. 56, 58.
- ³⁷ Роберт Конквест. Большой террор. Флоренция, 1974, стр. 623.
- ³⁸ «Правда», 10, 12 июля 1932 г., 4, 5 августа 1932 г.; «История СССР», 1972, № 1, стр. 104.
- ³⁹ «История КПСС», 1960, стр. 423; «Вопросы истории», 1964, № 11, стр. 56, 58; В. И. Ленин. ПСС, т. 38, стр. 145; т. 45, стр. 83.
- ⁴⁰ СССР. Внутренние противоречия. Chalidze Publ., N. Y., 1982, стр. 107, 111, 150, 152.
- ⁴¹ Ю. С. Кукушкин. Кулацкий террор в деревне в 1925 – 1928 гг., стр. 96, 97, 98, 100. См. «История СССР», 1966, № 1.
- ⁴² «История СССР», 1965, № 6, стр. 103.
- ⁴³ «История СССР», 1968, № 6, стр. 118, 120.
- ⁴⁴ «Новое русское слово», 25 ноября 1983 г. См. письма в редакцию; «Шлях Перемоги» (Мюнхен), 10 июля 1983 г. Воспоминания Ф. Капусты; СИЭ. т. 7, М., 1965, стр. 493; Р. Медведев. Указ. соч., стр. 190, 196, 211.
- ⁴⁵ «Вопросы истории», 1964, № 7, стр. 132. Р. Медведев. Указ. соч., стр. 300; СИЭ, т. 7, стр. 491; «Вопросы истории», 1965, № 3, стр. 9.
- ⁴⁶ «История СССР», 1964, № 5, статья И. Е. Зеленина «Колхозы и сельское хозяйство СССР. (1933–1935 гг.)», стр. 19, 20, 21, 22; СИЭ, т. 7, стр. 493.
- ⁴⁷ «Вопросы КПСС», 1967, № 11, стр. 37, 38.
- ⁴⁸ «Правда», 16 марта 1983 г.
- ⁴⁹ «Комсомольская правда», 3 августа 1983 г.; «Известия», 8 сентября 1983 г.
- ⁵⁰ Ф. А. Хайек. Дорога к рабству. Пер. с англ. Nina Karsov, London, стр. 8, 257, 273.
- ⁵¹ «Новое русское слово», 14 и 29 мая 1983 г. «Заметки экономиста» и др.

ФРЕНКИН Михаил – родился в Баку в 1910 г. После окончания исторического факультета Ленинградского педагогического института им. Герцена направлен на работу учителем сперва в Житомирскую область, затем назначен старшим ассистентом Педагогического института в Киеве (украинский и польский сектор).

В ходе разгрома сталинцами всех культурных учреждений Украины был арестован и находился в тюрьмах Киева и Харькова в течение года по провокационному обвинению в принадлежности к контрреволюционной организации.

После неожиданного освобождения уехал на старое место жительства в Москву, где после окончания аспирантуры защитил кандидатскую диссертацию в Московском университете. С 1938 по 1939 г. работал в качестве доцента кафедры истории и источниковедения в Московском историко-архивном институте. В начале 1939 г. снова был арестован по тому же обвинению и началось хождение по мукам от Лубянки и Лефортово до бесконечных лагунктов Краслага, Коми и др. Всего тюрьмы, лагеря и ссылки отняли 18 лучших лет жизни. В коммунистической партии и комсомоле не состоял.

Реабилитирован в 1958 г. и был восстановлен на работу в МГИАИ. Несколько лет спустя защитил докторскую диссертацию и был назначен профессором МГИАИ по кафедре истории СССР.

В 1974 г. эмигрировал в Израиль, где работал в Иерусалимском университете.

Изданные монографии: «Дон во второй половине XVIII века». Ростов-на-Дону, 1939 (почти весь тираж был уничтожен органами НКВД); «Революционное движение на Румынском фронте. (1917–1918)». М., 1965; «Русская Армия и революция. (1917–1928)». Мюнхен, 1978; «Захват власти большевиками и роль тыловых гарнизонов. Подготовка и проведение Октябрьского мятежа». Иерусалим, 1982.

В настоящее время работает над книгой о крестьянах в ленинско-сталинской империи.

Философия

Вадим Я н к о в

ЭТИКО-ФИЛОСОФСКИЙ ТРАКТАТ

I. О СУЩЕСТВОВАНИИ

1. *Одвойной природе человеческого существования*

С одной стороны, сердцевина нашего существования является чем-то определенным, с другой стороны, она отличает себя от другого определенного. Оба эти начала первичны в том смысле, что каждое из них является необходимым условием развертывания целокупного человеческого бытия.

Самоотличение – сила, создающая дистанцию. Благодаря ему мы выходим из-под власти другого, и само другое в какой-то степени попадает под нашу власть. В другом, из-под власти которого мы освобождаемся, мы видим слепую силу бытия, наше освобождение же открывает нам выход в отрицание бытия, в небытие, а также в «не это определенное бытие» ($\mu\eta\omega\nu$). Высвобождение и есть уход в меон, осознание своего тождества с ним.

Но напряжение, которым создается дистанция, имеет бытийные корни. Дистанция возможна только потому, что мы сами определены и черпаем нашу силу в этой определенности. Отличая себя от одного, мы продолжаем оставаться другим, и только при этом условии возможно само отличие. Меоническое в нас относительно, оно меон в отношении этого преодоленного бытия, но оно само все-таки тоже бытие. Отталкиваться можно, только имея под ногами почву.

Очерк начинается с завершающей формулы. Смысл сказанного будет становиться яснее по мере того, как формула будет участвовать в истолковании целокупного бытия.

2. *О распознавании в себе силы бытия*

Поскольку признать что-то можно, только имея на это какие-то основания, то и признание того, что наше дистанци-

рование от слепого бытия черпает свою силу от того же бессознательного бытия, может иметь место, только если мы познаём эту силу и отличаем себя от нее. В таком познании уже налицо какая-то дистанция и какое-то преодоление. Может казаться, что знание уничтожает здесь свой собственный предмет и что быть чем-то и знать это несовместимо. Однако преодоление не всегда бывает полным, а кроме того, поднимаясь на следующую ступень, мы способны осознать, что сила такого преодоления опять-таки коренится в бытии. Мы знаем себя как определенное бытие только фрагментарно, но видим, что освещенный (и как бы частично подпавший под нашу власть) фрагмент теряется в темноте неведомого нам сущего.

3. Об относительности определенного бытия в нас

Возможность частичного дистанцирования от того слепого бытия, которым мы являемся, т. е. возможность его частичного преодоления, означает, что это бытие допускает сопоставление с небытием. Поэтому оно не может быть отождествлено с абсолютным, чуждым меону бытием. Оно бытие в сравнении с другим, его можно поставить в некий ряд с другими, и оно вовлекается в сеть отношений к другому. Конечно, оно имеет корни в невыявленном, в темном и слепом, и мы должны с этим считаться. Забвение этого, отождествление бытия с обозначенным фрагментом (саморационализация) приводит к тому, что неосознаваемая слепая сила действует в нас как рок, наглядно демонстрируя хрупкость построенного нашим меоном мира окончательной ориентации. Но непреодоленный темный остаток должен учитываться нами только вообще как общее понимание относительности нашего сознания. Деятельно может учитываться только осознанный фрагмент. В деятельность бытие входит только как относительное.

(Читатель заметит, что освещенность и темнота сопоставляются здесь бытию и небытию противоположно обычному сопоставлению. Освещено здесь бытие, соприкоснувшееся с меоном. Темно абсолютное бытие.)

4. О том, что относительное бытие распространяется и на наше Я и на противопоставленный ему мир

Когда мы обнаруживаем нашу определенность, то наше выявляемое Я оказывается направленным на мир. Это опреде-

ленное Я существует как зависящее от определенного не-Я, так что определенность конституируется этой зависимостью. В момент обнаружения мы вынуждены парадоксальным образом отождествить нашу дистанцирующую силу с определенным Я (в этом отождествлении и лежит смысл различения в определенном между Я и не-Я), но уже в следующий момент определенное Я вовлекается в меоническую отрицающую деятельность.

Что касается самой зависимости от не-Я, то она не ограничивается хайдеггеровской заботой (Sorge). Забота связывает Я только с центром; периферия каждого, не составляя непосредственной устремленности Я, учитывается, однако, в спектре ожидаемых возможностей, в наборе готовых реакций на различные способы непосредственного соприкосновения с периферией. Определенный мир (не-Я), таким образом, и своим центром и периферией пронизывает бытие нашего Я. В основном движении дистанцирования определенное относительное бытие открывается как двоякое, как совместное бытие Я и мира.

5. О максимальной конкретности относительного бытия

Определенное бытие обнимает поэтому весь мир, в его непреодоленном нами виде. Осознание фрагмента этого мира ставит нас каждый раз лицом к лицу с этим конкретным, хотя в основном это конкретное скрыто от нас в темноте бытия. Что входит в него? Наше конкретное тело, наши желания, наши порывы, наши боязни, привязанности, мысли – и многокрасочный, проникнутый эмоциональными оттенками, конкретный внешний мир, к которому своей направленностью привязано наше конкретное Я.

6. О дистанцировании как об осознании бессознательного

Концепция бессознательного, вошедшая сначала в философию, а потом и в науку, допускает два истолкования. По первому из них, бессознательное представляет принципиально скрытый от человека механизм, который впечатления сознательной жизни (но не только их) некоторым закономерным образом перерабатывает в явления осознанной психики и вообще влияет на эту психику, но так, что само воздействие недоступно человеку, а открывается ученому эмпирическим образом – в результате индуктивного обобщения данных на-

блюдения. Человеку остается слушать советы психиатра и направлять свою сознательную жизнь так, чтобы воздействие механизма бессознательного не оказалось разрушенным. Понять этот механизм изнутри ему не дано.

Второе истолкование, в принципе, утверждает однородность психической жизни и признает возможность осознания бессознательного. Это осознание является подлинным творческим актом дистанцирования от себя. В нем мы расширяем фрагмент осознанного и видим свою духовную жизнь с большей полнотой, чем раньше (действие юнговских архетипов, например).

Осознание своей определенности и есть осознание бессознательного (бессознательное первого рода, если оно есть, целиком относится к эмпирической психологии и психиатрии и играет там роль вспомогательной конструкции). В нем то, чем мы уже являемся, становится явным для нас. Мы открываем свою собственную укорененность в более глубоких слоях и дистанцируемся от них; темное бытие освещается меоном, и исполняется максима *γνοῦθι τὰ αὐτὸν*.

7. Об осознании бессознательного как об основе философии

Философская мысль должна, конечно, обладать ясностью логики и способностью к конструкции, но основным философским движением, тем, что составляет специфику философии по отношению к наукам, является движение освобождения от власти бессознательного посредством его сознания. Любая наука работает, подчиняясь постановке своих проблем. Ясность понятийного аппарата основана на забвении основ, оправдание методов заключается в их эффективности. Для философии же основным является преодоление забвения, свобода, достигаемая дистанцированием. Философская мысль обязательно присутствует в кризисные периоды для основ науки, но этим она не исчерпывается. По своей сути философское движение просто совпадает с существом человеческого существования, а поэтому любое человеческое бытие сопричастно философии как силе преодоления слепого бессознательного бытия. Степени выражения, могут, конечно, чрезвычайно разнообразиться.

8. О корнях диалектики

Совмещенность в человеческом существовании меона и относительного бытия парадоксальна. Она даже противоречива, ибо непротиворечиво покоренное бытие, по отношению к которому наше Я является властвующим началом. С одной стороны, мы ощущаем себя как отрицательную силу дистанцирования и власти, с другой – мы определены глубокими слоями бытия внутри нас самих и в мире, нам коррелятивном.

Эта противоречивость не ограничивается нашим существованием, она распространяется на все сущее, в его отношении к нашему существованию. Ибо любой фрагмент мироздания, упорядоченный и покорившийся нашей дистанцирующей силе, сопричастен слепому бытию и участвует в определении нас этим слепым бытием.

Диалектика – это и есть раскрытие двойственности в любом сущем в его полноте отношения к нам. В отличие от структурной логики, применимой к основному сущему, что основано на забвении его определяющего отношения к нашему существованию, диалектика видит сущее в двойном аспекте: как то, чем мы овладеваем, и как то, что определяет нас. Отсюда глубина проникновения и мистический трепет, ощущаемый нами при погружении в эту глубину. Это погружение всегда является раскрытием перед нами наших собственных глубин, освещением нашего бессознательного. В диалектическом размышлении освоенный и определенный фрагмент возвращается в первичный хаос, но хаос, связанный с нашим сокровенным бытием исходящими из него силами.

Мыслители-диалектики часто полагали, что их метод позволяет проникнуть в самую тайну рождения мира, что весь смысловой космос может быть развернут и построен из первого диалектического движения. Но застывшие диалектические конструкции (Гегеля или Нисиды, например) выглядят искусственно и причудливо. Диалектическая интерпретация не является диалектическим порождением. Если для нашего сознания и совершается рождение, то такое, которое предполагает предсуществование в бессознательном. Синтез гегелевской триады является анализом синтезированного третьего члена, а не его творением. Сам третий член во всей его конкретности определяет наше существование до акта анализа. (Эти замечания должны предостеречь от неверной интерпре-

тации ряда развиваемых здесь мыслей, следующих двух главок в частности.)

9. О первичной временной определенности человеческого существования как об условии дистанцирования от сущего

В дистанцировании мы отличаем себя как сущее – и сущее вообще – от себя самого. Объективируемое существование, преодоленное слепое бытие принадлежит прошлому и уже отдалено от нас силою меона. Сам акт отличения, меонический, но смутно осознаваемый как коренящийся в бытии, происходит в нашем настоящем. Смысл же преодолеваемого – в его соотношении с непреодолимой бытийственной сердцевиной нашего Я и в его открытости возможностям (об этом будет еще сказано в своем месте) – конституирует понимание не как происходящее *sub specie* будущего. Иначе: прошлое есть для нас потому, что мы превосходим слепое бытие, настоящее есть для нас потому, что меоническая сила превосходения коренится в бытии, будущее есть для нас потому, что превосходение слепого бытия есть видение его в спектре возможностей. Прошлое связано с дистанцируемым, настоящее – с дистанцирующимся, будущее – со способом дистанцирования.

Сказанное не является никаким «выводом времени», но истолкованием и конкретизацией положения вещей. Хотя мысль и проливает некоторый свет на конкретно переживаемую временность, в ней предполагается предварительное переживание времени. Первичное время не погружается в объективированное время физики, не является условием осмысленности любой объективации.

10. О первичной пространственной определенности сущего как об условии дистанцирования от него

Дистанцирование дает возможность обзора и власти над сущим, что предполагает внутреннюю скоординированность различных элементов превзойденного бытия и их соотношенность с центром нашего существования, т. е. пространственность, пронизывающую предмет и периферию нашего Я. Я преодолевающее должно быть телесным среди телесного в общем пространстве, ибо только так возможно преодоление. Но Я преодолевающее должно быть и нетелесным как самоотличающееся и меонизирующее начало. Телесное преодоление

элементарно, но не исчерпывает всего преодоления. Над ним строится здание преодоления познающего, преодоление *in mente*. Но без фундамента, без элементарной телесности и первичной пространственности, это сложное преодоление лишается основы.

Как и первичное время первичная пространственность не поглощается физическим пространством, но является необходимым условием любого его понимания.

II. О ПОЗНАНИИ

1. *О двойном идеале познания*

Познание означает либо целостное понимающее видение предмета, либо мысленное получение полной власти над ним. В первом случае мы признаем бытийственную силу, проявляющуюся перед нами. Во втором – мы преодолеваем бытие, доводя до предела нашу меонизацию сущего. В познании-видении уже есть меонизация в упорядочении познаваемого, в его логической структурности. Но это только первое соприкосновение бытия и меона. Видение – не столько наша власть над бытием, сколько власть бытия над нами, в видении мы черпаем силу из предстоящего нам бытия. В познании-овладении есть еще элемент непреодоленной бытийственности, но омертвевшей; оно невозможно без нашей силы и без какого-либо видения вообще. К познанию-видению тяготеют история, антропология, в меньшей мере – биология. Наиболее чистыми его проявлениями следует считать то несистематическое знание человеческого и зачеловеческого, без которого немыслима наша жизнь и которое находит свое проявление в поэзии и мудрости. К познанию-овладению тяготеет полное, а частично и описательное естествознание (математика занимается возможными способами овладения покорным бытием *in abstracto*). В познании-видении большую роль играет наша укорененность в бытии; в нем открываем мы свое сродство видимому, хотя и остаемся отдаленными от него завесой меона. В познании-овладении наша бытийственная сила как бы концентрируется в силе власти, создается иллюзия замкнутости системы Я-предмет, и только видящее осмысление может вскрыть преданную забвению общую укорененность Я в бытии.

Оба рода познания не исключают друг друга и не встречаются в чистом виде – это, скорее, два идеальных типа. Конкретные воплощения всегда представляют собой смешение.

2. О том, что истолкованное видение бытия является целью философской феноменологии.

Толчок, данный Гуссерлем развитию философской мысли XX века, состоял в указании направления философского осмысления мира, отличный как от догматически-наивной метафизики, так и от ориентированного на наукообразный, овладевающий разум кантианства. Мир брался теперь как живой осмысленный космос явлений, и средством философской мысли становилось истолкование смысла этих явлений. Когеновское кантианство тоже, собственно говоря, занималось смыслом явлений, но в тех доменах, которыми уже овладел агрессивный, властвующий разум, представлявшийся единственным творцом осмысления. До-разумное имело только значение хаоса, задачи, стоящей перед овладевающим разумом. Вторгаясь в это до-разумное, разум создал там опору своими собственными силами, повинувшись имманентной необходимости. В бесконечной серии баталий не было точки остановки и покоя.

Гуссерль вернул до-разумному смыслу его значимость. Задачей философии было объявлено истолкование этого смысла. Истолковывающая деятельность мыслилась точной и чуть ли не чисто описательной. Точность гарантировалась воздержанием (*εποχή*) от метафизических утверждений. Протекшие десятилетия выявили, однако, что истолкователь не может воздержаться от привлечения к истолкованию своего целостного конкретного Я. Живой сердцевиной феноменологического мышления было истолкование, питающееся кровью и плотью нашего существования, приближающее к нам смысл явлений, раскрывающее в явленном его бессознательно определяющую нас силу. То, что при этом достигалось, было именно новым понимающим видением явлений.

3. О двойственности смысла

Смысл является смыслом для нас. Мы истолковываем и приближаем его к себе, когда находим связи между значимостью осмысляемого и центром нашего существования. При этом выявляется двуслойность смысла.

Верхний смысловой слой дается местом изолированного смысла в целостной смысловой картине. Отдельный смысл играет здесь роль дорожного указателя на развилке дорог, соответствующих различным возможностям. Этот смысловой слой соответствует превзойденному бытию, по отношению к которому наше Я является распоряжающимся хозяином. Понимание верхнего смыслового слоя тождественно умению обращаться с явлением.

Нижний смысловой слой связан с противоположным – с определяющей силой явления по отношению к нам. Истолкование этого слоя происходит уже не как определение места смысловой единицы в царстве смыслов, а как развитие предшествующей заключенности этой смысловой единицы в глубинах моего существования. Решающим оказывается не соотношенность одного явления с другими, а соотношенность его со мной. Нижний смысловой слой уходит в слепое бытие. Смысл оказывается тождествен определяющей силе явления по отношению к нам. В творческом акте осознания бессознательного феноменология может спуститься на ступеньку ниже, но в совокупности смысловое неисчерпаемо (законченное описание смыслового царства невозможно). С какой бы смелостью мы ни продвигались в глубины смысла для интерпретации, мы всегда должны использовать конкретные смысловые структуры. Возможна только относительная (истолковывающая одни смыслы с помощью других), а не абсолютная феноменология.

4. О возможности отрыва смысла от явления

Верхний смысловой слой связан со свободой нашего мыслящего взгляда, могущего скользить по явлению, а поэтому и со свободой его отрыва от явления. Но и в нижнем смысловом слое то, что уже подверглось истолкованию, отделяется от остального мейнической границей; смысловая картина отрывается от конкретной ситуации. Смысл выступает как общее и переносится из одной ситуации в другую. Оторванный от явления смысл выражается в слове. Но понимание слова неотделимо от человеческой конкретности. Воображение возвращает слову воплощенность; понимание данного в слове смысла, в конечном счете, является пониманием смысла, воплощенного воображением, т. е. смысла в его соотношенности с нашим существованием. Возможность чистого по-

нимания смыслового, даже его верхнего слоя, иллюзорна, и сам отрыв чистого смысла относителен, ибо меон, отделяющий смысл от нашего существования, сам возможен только в конкретности этого существования.

5. *О силе сомнения*

Возможность оторвать смысл от явления есть также возможность оторвать явление от смысла. Меоническая сила проявляется здесь в сомнении относительно истолкования того или другого явления. Мы приостанавливаем здесь и наши ожидания в общем контексте предстоящих и подвластных нам явлений (то, что относится к верхнему смысловому слою) и определяющую силу явления по отношению к нам (нижний смысловый слой): Явление становится для нас проблематичным – мы не знаем более, чего следует от него ждать.

Сомнение открывает дорогу переистолкованию, дорогу естественно-научной мысли. Сила сомнения является силой творческой, одной из форм преодоления слепого бытия. В ней мы способны также освобождать себя от привычных ожиданий в отношении близкого и важного нам, что возможно, разумеется, только как мысленный эксперимент, как игра. Но и в том, и в другом случае сомнение происходит только на основе общей возможности интерпретации вообще. В акте сомнения мы выделяем явление из контекста, в который оно вплетено, и измеряем его нашими ожиданиями перед миром возможного соприкосновения с ним. За этим же возможным соприкосновением стоит конкретное наше существование с его определенностью слепым бытием и с несомненным присутствием этого слепого бытия в его плоти и крови. Сомнение возможно поэтому только на базе несомненного.

6. *О том, что тезис солипсизма не может быть истолкован*

В противоположность сомнению частичному, тотальное сомнение – утверждение типа «мир не существует» – не может быть осмысленно истолковано. Истолкование такого утверждения должно приблизить его к нам, т. е. поставить его в тесную связь с основами нашего существования. Однако эти основы сами существуют лишь в их определенности слепым бытием – и внутренним и внешним. Истолкование тезиса «мира нет» должно проходить на основе конкретного существующего мира.

Тезис солипсизма должен поэтому быть признан бессмысленным. Словосочетание повисает здесь в воздухе, так как для вложения в него смысла не хватает необходимой связи низшего смыслового слоя с нашим бытием.

7. О том, что точное знание является знанием нашей власти над вещами

В точном естествознании преобладает верхний смысловой строй. Понимание какого-нибудь процесса как казуального означает, например, что процесс понимания *sub specie* возможного внешнего вмешательства в него, способного изменить его течение. При этом существенна предсказуемость дальнейшего хода процесса в зависимости от типа нашего вмешательства.

Коррелятом картины подвластной нам действительности является представление о деятельном центре, стоящем над нею, внепространственном, а иногда даже вневременном. Смысл наших точных утверждений о действительности относится к совместным потенциям этого идеального деятельного центра и самой вещной действительности. При этом имеются ограничивающие обстоятельства двух родов, и отвлечение от них составляет две фундаментальные идеализации, являющиеся необходимым условием осмысленности наших точных утверждений.

Первая идеализация – предположение о том, что действительные вещи продолжают оставаться нам подвластными. Вторая идеализация – предположение о том, что наше реальное «Я» воплощает в себе идеальное деятельное начало. Оправдание обеих идеализаций в том, что они дают нам действительную власть над вещами. Но точное естествознание не вправе забывать их необоснованность. Если неудача первой идеализации иногда еще может быть обойдена с помощью искусного маневра (как в волновой механике, где предсказания имеют только частичный характер), то неудача второй идеализации грозит обесмыслить все здание научной дисциплины.

8. О смысловом соотношении первичного времени и пространства и физического времени и пространства

Поскольку активный идеальный центр, воплощенный, хотя и неполно, в нашем конкретном Я, является условием по-

нимания утверждений точной науки, то первичное пространство и первичное время, как необходимые условия элементарной активности конкретного Я, также будут условиями понимания математико-физической картины мира, в частности условием понимания физической структуры пространства-времени. Первичные пространство и время тесными узами связаны с конкретным Я и образуют собой среду, в которой возможна элементарная деятельность самоотличения Я от другого конкретного и воздействие на это другое, т. е. среду непосредственной свободы Я по отношению к другому. Физически же пространство и время, а также пространственно-временная определенность физического мира представляют собой спектр возможных воздействий Я на мир и тесно слиты с более высокими физическими структурами.

9. О логических основах точного знания

Кант, а следом за ним Марбургская школа с особой силой подчеркнули то обстоятельство, что для рождения точного знания необходимы общие логические предпосылки, создающие порядок из хаоса, оформление текущего материала в категориях. Можно сказать и иначе: для власти над материалом необходима его подвластность.

Эти логические основы точного знания являются модификацией общих условий нашей укорененности в бытии, соответствующей той крайней степени меонизации, когда преодоление относительного бытия превращает его в мертвое и подвластное, а власть усиливается до завершения.

Рассмотрим, например, требование субстанциональной оформленности предмета познания. Речь идет о том, что в изучаемой (теоретически и экспериментально) системе объектов должно быть нечто, сохраняющееся в форме ли пространственно-временной доступной измерению определенности, в форме ли наличия констант измерения (типа законов сохранения). Только на базе этой консервативности возможны вариации, устанавливающие специфические связи между изучаемыми объектами.

Иными словами, до изучения и для того, чтобы это изучение стало возможным, мы должны быть как-то знакомы с «что» и «где» этих предметов. Для дальнейшего овладения бытием нужна твердая почва под ногами.

Если мы вернемся от состояния развитого меона, где овладевающее Я противостоит овладеваемому безжизненному материалу, к состоянию изначальному, когда человеческое небытие проявляется только в смысловой картине, покрывающей противостоящее слепое бытие, то требованию субстанциональности будет соответствовать условие общей смысловой понятности мира. Существование вместе с противостоящим ему смысловым царством должно быть укоренено в общем смысловом поле. Это поле – ситуация в самом общем смысле – образует фон, на котором разворачивается понимание конкретной игры смыслов между нашим Я и всем ему противостоящим. Нарушение этого, раскол смыслового поля вызывает надлом и тревогу.

В состоянии развитого меона смысловое поле превращается в субстанциональность. Подобное происходит и с другими непреложными условиями укорененности, а само это состояние еще мнится нами в воспоминаниях детских лет или же в восприятии творений искусства как потерянный нами рай.

III. О НАЧАЛАХ ЭТИКИ

1. *Об определенности человека к свободному выбору действия*

Сквозь человеческое существование проходят линии действия слепого бытия. Но меон, лежащий в человеческой природе, разрывает эти линии. Человек, не предавший забвению меоническое начало, может участвовать в слепой силе бытия только свободно. Познание является при этом только одним из видов деятельности, поскольку познание, рассматривающее причинные линии с точки зрения возможного приложения сил и возможного результата, видит последствия познания с такой же ясностью, как последствия любого вида активной деятельности. Помещенность меона в сердцевине слепого бытия является роковой обреченностью человека к свободе, к свободному выбору своего действия.

2. *О том, что первоначально деятельности должно быть слияние силы слепого (относительного) бытия с небытием человеческого существования*

При выборе между разными возможностями действия человек должен поступать так, чтобы в его акте свободное принятие этого акта было слито с импульсом, исходящим от позитивного бытия, чтобы таким образом относительное небытие человеческого существования (меоническое начало) сочеталось бы с относительным бытием; в этом объединении и нужно искать сердцевину этического. Непосредственная мотивация акта исходит из бытийного начала, стремящегося продлить свое бытие, но поступок этичен в том случае, когда за ним стоит свободное принятие этого бытийного начала. В подлинно этическом поступке происходит чудо слияния бытийного и не бытийного; конечный смысл этого слияния – в родстве принимаемого бытийного начала с бытием, на котором существует человеческий меон, в откровении о другом как о самом себе.

3. *О первичном риске ошибок в принятии бытийного начала*

Принимая одну из сил бытия, мы отвергаем другие. Мы выбираем одну из сторон: иногда – символически, иногда – реально. В соединении небытия нашей свободы с этим конкретным бытием никогда нет окончательной уверенности. Жизненный опыт показывает даже, что иногда последующее откровение обесценивало предыдущий выбор. Уверенности и не может быть, так как последнее основание для выбора, доверие к бытию, достигается всегда через порог меона. Все интуитивно родное в другом может быть превзойдено меоническим движением. Нет и не может быть несомненности окончательной. В выборе должны оставаться сомнение и риск ошибок.

Герой мужественного племени завоевателей, участник богатого духом и чувством товарищества может прозреть в гонимых и презираемых иноземцах равных себе людей.

4. *О первичном этическом мужестве*

Риск, отделяющий нашу волю от бытийной силы, преодолевается только тогда, когда мы принимаем его на себя, сознавая возможность разочарования и неудачи. Мужество принятия на себя риска, мужество действия при отсутствии окончательности, но такого, как если бы мы все же владели оконча-

тельной уверенностью, это мужество (тиллиховское «мужество быть») приводит во всякое этическое деяние и является основой любого мужества вообще. Без него нет этического.

5. О слиянии долга и достоинства в принятии бытийной силы

Сила бытия, с которой мы себя свободно отождествляем, является олицетворением нашего долга, причем долга безусловного. Наше представление о необходимости безусловного долга, конечно, формально (если бы всякий долг был условным, т. е. необходимость одного долга обосновывалась бы ссылкой на другой, то этим уничтожилось бы должествование вообще), принимая же на себя силу бытия, мы актом преодолевающего мужества отождествляем формально известный нам безусловный долг с этой конкретной силой бытия, признавая ее безусловность.

В производимом нашим мужеством отождествлении остается все же неуверенность риска – в фундаменте этического деяния имеются пустоты. Без этого риска воплощение формально безусловного долга было бы невозможно, тогда как наличие его идеи и роковая необходимость ситуации требует такого воплощения.

Долг, с другой стороны, принимается свободно. В свободе признания долга и в факте свободного принятия заключено достоинство человеческой личности. Отказ от долга или недобровольное и несвободное принятие его были бы умалением этого достоинства.

Долг есть подлежащее исполнению, но исполнению свободному. В таком исполнении сливаются в одно – бытие и небытие, конкретная сила и ее свободное принятие.

Достоинство человека в том, чтобы, осуществляя нравственное добро, повиноваться свободно, признав в себе родство с обязующей силой.

Вне слияния относительного бытия и меона свободы нет ни долга, ни достоинства. В этом слиянии они обретают жизнь. Отделенный меоном от бытия человек возвращается к бытию, не отрекаясь от первородной свободы.

6. О наличии экстатического и формального в первичном этическом

В точке встречи, где сливаются бытийная сила и наша свобода, происходит экстатическое – выход из себя и объедине-

ние в родстве с другим и в тождестве с другим. Этот [экстаз? – пропуск в рукописи] возвышает нас над противоборством бытия и небытия, хотя он и не в силах исключить сомнение и меон вообще. Экстаз не насквозь пассивен, он во многом является экстазом мужества, отваживающегося на риск.

Моменты чистоты экстаза, к тому же, редки. Долг держится на памяти об экстазе, на логически развитой формальной системе обязанностей. Она может настолько удалиться от источника, что последний может полузабыться.

Однако и формальное коренится в этическом первоначале. Сила бытия проходит сквозь меон, прежде чем стать силой нашей деятельности. А это означает ее отделенность от бытия. Как превзойденная, она становится общим основанием для деятельности. Благодаря небытию в сфере познания мы можем назвать то в силе бытия, что побуждает нас отождествиться с нею. Истоки этики переплетены с истоками познания, поскольку и те и другие связаны с меонизацией. Мы имеем дело с царством ценностей.

7. О ценностях

В этическом перводвижении меон действует дважды: во-первых, вырывая смысл конкретной силы бытия из целокупной ситуации, во-вторых, останавливая действие, исходящее из этой силы и проходящее через нас. Принимая это действие как наше в экстазе, мы имеем дело с этической ценностью.

Вторая меонизация (остановление действия) возможна и сама по себе. Тогда этическое не доходит до познания, не дает себе отчета и общего основания, а коренится в неповторимой индивидуальности. Более полная меонизация подводит индивидуальное под общее основание, но никогда не бывает гарантии, что это поведение полно, т. е. что индивидуальное исчерпано и дальнейшее прозрение не раскроет в нем более глубокие ценностные слои.

Как и царство смыслов, царство этических ценностей имеет за собою мир в его конкретности; желание отыскать единый принцип (наподобие кантовского категорического императива), из которого можно было бы вывести любую ценность, неосуществимо. Ценность познается осознанием бессознательного, при котором сохраняется фундаментально экстастическое в этом бессознательном – без чего невозможно само принятие ценности.

Речь идет здесь об этических ценностях. Погружение их в общее царство ценностей (экстатических, жизненных) небезопасно для этики, если не усвоено следующее разграничение: в структуру этических ценностей входит то экстатическое родство, которое делает возможным их свободное принятие, – и это выделяет их из всего царства. Без слившегося с бытием меона нравственной ценности нет. Это не так в случае ценности вообще, ибо хотя и здесь возможно свободное принятие и отвержение, но они не имеют отношения к существу принимаемого или отвергаемого.

8. *О двух видах этического зла*

Если этическое добро состоит в слиянии долга и свободы, то зло состоит в их разъединении. Это разъединение может быть двух родов: либо человеческая вера направляется в сторону небытия, настаивая на незаконной свободе, либо же она слепо отдается силе бытия, забывая о своей изначальной свободе.

В первом движении преобладает гордыня (*υβρις*). Воля становится самовластной, мир рассматривается как поле обмана и подчинения, всякое экстатическое родство между человеческим Я и не-Я отрицается. Казалось бы, здесь празднует триумф лишенное всяких связей с бытием демоническое ничто. Но такого не происходит. В основании небытия свободы лежит слепое бытие, и когда человек убегает от сил, чье родство с нами обнаруживается в экстазе, то он подпадает под власть сил элементарных. *Υβρις* влечет за собой похоть (*concupiscentia*), подвластность страстям. Нарушается не только долг – вместе с ним умалется достоинство человека.

Во втором движении происходит бегство от свободы и ответственности. Воля поглощается слепой силой бытия, воспринимаемой как непререкаемый долг, в то время как свободное принятие этой силы отсутствует. С ним отсутствует и достоинство человека, а сама приверженность к долгу является приверженностью рабской и недостойной. Происходит забвение свободы, память о ней вытесняется в подсознание и становится источником сопровождающего человека страха. Вина не столь явна здесь, как в первом случае, поскольку

подсознание предшествует свободной воле человека, а не создается ею. Вина заключена здесь не столько в сознательном акте свободной воли, сколько в отречении от своей собственной природы, в отсутствии первоначального мужества, в страхе перед свободой и ответственностью. В известном смысле человек все же сам формирует свое подсознание, сторонясь размышлений и отгораживая свое сознание запретами, наложенными на тревожные темы. Точно определить меру вины, конечно, трудно.

9. О началах права

Согласно восходящему к Томмазию пониманию, любая позитивная (т. е. действующая с той или другой степенью эффективности) система права является системой норм, выполнение которых обеспечивается с помощью принуждения. Конкретные нормы таких систем часто представляются вопиющей несправедливостью, и в противовес историческим правовым реалиям начинает выдвигаться идея справедливого или естественного права. Естественное право часто формулируется с учетом отталкивания от того или иного конкретного права, поэтому в отдельных его реакциях можно ожидать встретить местную и временную обусловленность. Безусловным является его замысел – система норм, основанных на справедливости и настолько важных, что они должны были бы обеспечиваться принуждением.

В структуре системы естественного права нужно наметить два слоя. Первый слой образует нормы, относящиеся к защите и к свободе отдельного человека. Каждая норма («любой человек должен быть огражден от произвольных посягательств на его жизнь») основана на некотором этическом принципе, но не всякая этическая норма попадает в сферу права. Последняя ограничена только такими нормами, которые этически требуют для себя принудительной защиты. При этом, конечно, принуждение может регулировать только нормы, относящиеся к внешнему поведению, но и здесь не исчерпывает всех таких норм.

При выработке системы норм этого рода так же, как и в точном естествознании, необходимо мыслить себе некоторое всеильное принуждающее начало. Вопрос о том, является ли данная этическая норма также нормой естественного права, переформулируется при этом так: следует ли этически допу-

стить, чтобы данная этическая норма была обеспечена действием всесильного принуждающего начала, следует ли допустить, например, чтобы такое начало обеспечивало жизнь, личную неприкосновенность, возможность свободно высказывать свои мысли, собственность и т. п. Другими словами, долг, налагаемый на нас этической ценностью, – является ли он долгом, предписывающим нам воспользоваться неограниченным принуждением, будь это в нашей власти, или же долгом, предписывающим нам только способ убеждения, но запрещающим принуждение, поскольку оно в данном случае противоречит другому долгу (так, нашим долгом является попытка силой убеждения спасти опускающегося человека, но обращение к принуждению для этой цели противоречит нашему долгу уважать свободу этого человека к самоопределению). На этом уровне естественного права момент долга играет основную роль, а достоинство человека привходит как самостоятельная этическая ценность, из которой исходит долг защитить ее.

В точном естествознании властвующий центр уже воплощен (хотя и частично). В праве же возникает задача создать принуждающее начало, т. е. органы государства. Нормы, относящиеся сюда, и образуют второй слой. Центр тяжести лежит уже не в долге, а в достоинстве человека. Государство должно создаваться и функционировать так, чтобы в нем воплощалось свободное согласие людей на его создание и функционирование и чтобы каждый гражданин принимал в нем максимально возможное участие. Государство всегда должно рассматриваться с точки зрения его приближения к идее общественного договора и должно иметь только такие права и полномочия, которые могли бы свободно поручить ему добросовестные граждане. Кроме того, ввиду опасностей, связанных с сосредоточением власти, необходимы особые нормы, препятствующие такому сосредоточению (в том числе разделение властей).

IV. О СВОБОДЕ

1. *Виды свободы, имеющие непосредственное отношение к первоэтическому*

Первый вид такой свободы – это практическая свобода человека по отношению к внешнему миру, т. е. возможность эффективно осуществлять целенаправленное действие по своему произволу. Какая-то степень этой свободы необходима для того, чтобы этические порывы получали реализацию, а не оставались в сфере намерений.

Второй вид относящейся сюда свободы – свобода человека выбирать по своему произволу цели своих действий. Для этики эта свобода является центральной, поскольку выбор цели действия определяет ответственность человека.

Третий вид – это свобода человека по отношению к непосредственному воздействию на него сил слепого бытия вообще и его собственных желаний, в частности. Достижение той или иной степени этой свободы является одной из целей человека, а ее обретение – средством для действенной этики.

2. *О частичной свободе воздействовать на внешний мир*

Доказательством действительности первой свободы, хотя и неполной, является существование познания, а именно познания второго рода, имеющего дело с верхним смысловым слоем. Ибо это познание предполагает свободный по отношению к внешнему миру центр, слившийся с человеком и представляющий собой возможность начинать действие по своему произволу. Смысл точного естественнонаучного познания (а частично и познания элементарного) как раз и заключается в законе, связующем спектр возможных свободных воздействий, исходящих из центра, со спектром результатов. Отсутствие у человека свободы первого вида влекло бы за собой невозможность этого познания.

Свобода воздействия на мир, однако, только частична. Частично уже познание по отношению к цельному бытию. Далее, познанность не означает безусловную возможность воздействия на познанное. Может оказаться, что силы нашего реального Я не пропорциональны силам Я идеального, фигурирующего неявно в описании познанного. Гидродинамическая картина Гольфстрима включает в себя возможность управления им при наличии достаточно мощных средств воз-

действия, но как раз таких средств может и не быть в нашем распоряжении.

3. О безусловности свободы полагать что-либо целью своих действий

Эта свобода составляет собою само существо человека и состоит именно в силе дистанцирования от слепого бытия. Властвование над слепым бытием выражается, в особенности, в способности человека остановить проходящую через него слепую цель и выбрать цель действия по своему произволу. Человек становится ответственным за свое воление, являющееся импульсом к действию.

Без свободы выбора нет ответственности, без ответственности нет достоинства, хотя достоинство и не исчерпывается одной ответственностью. Отречься от свободы выбора означает отречься от достоинства. Какими бы ни были каузальные теории, «объясняющие» человеческие поступки, практически человек, их использующий, в конфликте, требующем выбора, чувствует себя свободным в этом выборе и поступает как таковой.

Этичность поступка включает в себя: 1) свободу выбора его цели, 2) субъективно частное представление о нравственности этой цели, 3) чистоту подсознания – в том смысле, что за представлениями о добре и зле не должен стоять страх. Но для этичности не нужны внешняя возможность реализации цели (первая свобода), ошибки в нравственном сознании и желания человека.

4. О свободе выбора целей как о свободе равным образом к добру и злу

В выборе целей человек свободен по отношению к слепым силам бытия, влекущим его к действию. Поэтому эта свобода является фундаментом нравственного добра как слияния силы бытия и меона. Но в свободу выбора целей включена, в частности, и свобода по отношению к признанной этической силе бытия, т. е. свобода от безусловного принуждения со стороны добра. В этом коренная свобода человека ко злу. Она обратная сторона свободы к добру и, более того, неотделима от последней. Обе свободы – одно и то же, только под разным углом зрения. Эта единая свобода является условием достоинства человека и его этичности, а поэтому достойной и нрав-

ственной будет только жизнь, проходящая по самому краю бездны зла, в полном сознании своей свободы низвергнуться в эту бездну и в постоянном преодолении тяготения бездны силой первичного мужества.

5. О третьем виде свободы

Свобода от желаний часто считается ядром нравственной свободы. Хотя мы не можем согласиться с этим, но все же освобождение от импульсов желания, толкающих порою ко злу, желательно, поскольку оно облегчает исполнение нами целей этических.

Наше понимание желаний является пониманием первого рода – непосредственным. У нас нет в распоряжении прямого способа искоренить наши страсти; что же касается косвенного способа, то знание его является не априорным, а эмпирическим, основанным на сообщенном опыте других.

Речь идет об аскетизме, отчеты о котором содержатся в мистических сочинениях самых разнообразных эпох и цивилизаций. Нужно только заметить следующее:

1. В силу самой эмпиричности знаний нет никаких априорных возражений против возможности преодоления желаний. Аскетический опыт подтверждает эту возможность, и следует доверять фактам достигнутого преодоления.

2. В то же время нет никакой априорной основы для утверждения, что на данном пути преодоление совершится необходимо, а не будет зависеть от человеческой индивидуальности. Метафизические аргументы, сопровождающие аскетический опыт, обычно не являются его необходимыми компонентами, а зависят от той или другой метафизической картины.

3. Мы видели, что преодоление желаний не является прямой целью доброй воли, а лишь косвенной, поскольку оно способствует осуществлению прямых целей. Имеет место и дальнейшее ограничение. Существуют страсти типа ненависти или зависти, которые, даже бушуя в нашей душе, могут быть остановлены как раз в момент выбора цели; последние будут определены, исходя из этических признаков и независимо от страстей. В то же время освобождение от ненависти является ценностью в себе, так как наше достоинство умаляется властвованием над нами этой страсти. Даже не видя достоверного пути освобождения, нужно пытаться постоянным осуществлением

справедливости и добра, невзирая на ненависть, пытаться вытеснить ее из своей души. В этом отношении опыт аскетизма может помочь.

С другой стороны, освобождение от страстей любви и сочувствия не может быть целью ни прямой, ни косвенной. Более того, поскольку экстаз лежит в основе любого нравственного добра, умерщвление в себе экстатических чувств грозит иссушением самого источника этического. Полная победа над чувствами приводит человека в состояния сверхэтичности, описываемое, например, в Упанишадах и в даосских текстах. В конечном счете, мы будем иметь здесь дело с гордыней человеческого небытия в ее чистом виде, где небытие не обманывает себя, будучи в действительности рабом элементарных бытийных сил, но в своей бесстрастности противостоя всякой такой силе. Следует признать это этическим злом, полярным злу полной и нерелефторной отдачи себя силам слепого бытия. Восточный мистицизм, объединяющий оба вида страстей и пытающийся преодолеть их совместно, должен поэтому быть отвергнут.

6. О судьбе

Там, где мы производим выбор цели, повинуюсь долгу или по влечению, там мы можем, не зная того сами, вступить в область действия судьбы.

Эта судьба – в нас самих, в той части нашего Я, которая скрыта от нашего сознания и воплощает в себе непосредственное воздействие на нас сил слепого бытия. Это неясная для нас самих типика нашего поведения, наших реакций и наших душевных ритмов. Судьба доступна в какой-то мере познанию, и чужой, преодолевший наше бытие взгляд способен усмотреть логику судьбы, неизбежность линии жизни. Иной раз и наш собственный взгляд поднимается до видения их, не будучи, однако, в состоянии преодолеть судьбу за нехваткой мужества.

Свобода погружена в судьбу, как человеческий меон погружен в относительное бытие. И меон и свобода не иллюзорны. Они дают на ту сцену, на которой разыгрывается драма этического – взятие на себя ответственности, частичное преодоление слепого бытия и судьбы.

V. О БЛАЖЕНСТВЕ

1. О том, чем может быть максимально желанная полнота бытия

Максимально желанное не совпадает с этическим долгом. Мы жаждем погрузиться не в относительное, преодолеваемое в дистанцировании бытие, а в бытие полное и безусловное. В блаженстве нет нужды слияния бытия и меона. Полное бытие есть само по себе и не зависит от нашего признания его. Как можно представить себе его реально воплощенным?

Пусть в хрупком течении жизни наступит момент изобилия и довольства. Пусть в жизни все станет ладным и стоящим на своем месте. Смысл приобретет каждое жизненное проявление – труд, встреча, обряд, укорененность в народе и в природе. Мы будем наслаждаться движением, любовью, общением с друзьями – но за всем этим будет подлинное и интимнейшее наслаждение нашим приобщением к безусловной святости существования и жизни. В полноте этой святости будут обниматься и космос, и человечество, и наши близкие, и наша индивидуальность. Какими бы фрагментарными ни были проявления этой святости, чем бы они ни сменялись – в них мы оставим за собою максимум возможного для нас счастья.

2. О том, что блаженство мы можем мыслить себе только дарованным

Святость жизни как сердцевина блаженства, а именно как осмысляющее начало, характеризуется только непосредственным предстоянием; в ней нет ничего от второго смыслового слоя. Блаженство недостижимо на пути наших личных усилий, и более того – его достижимость разрушала бы его как блаженство, ибо мы требуем в нем для себя полного и безусловного, а не относительного, могущего быть плодом нашей деятельности. В таком произведенном бытии всегда сохранился бы след меона, через который оно прошло. В святости должны быть только полнота и смысл.

Блаженство поэтому следует мыслить себе не как протекающее из нашей деятельности, а как даруемое нам, как имеющее источник, от нас независимый. В этой теме как раз и находится подлинное место своеобразной логики максимальной, столь часто использовавшейся для онтологических (Ансельм, Николай Кузанский) и этических (Кант) целей.

Онтологически максимальное не в состоянии дать теоретическую опору (вспомним кантовский анализ доказательств бытия Бога). Этически максимализм чистоты и категоричности долга не избавляет нас от сомнений и риска в его принятии. Что же касается блаженства, то здесь максимализм, требующий дарованности блаженства как его конститутивной особенностью, может быть проведен до конца, ибо сомнение в этой дарованности и в полноте блаженства не связано с необходимостью выйти из состояния бездействия, хотя бы и рискуя ошибиться. Ничто не может нас заставить считать неполное счастье полным.

3. О чистой совести как условии блаженства

Хотя полнота бытия не может быть достигнута нашими усилиями и мы признаем полным только блаженство, дарованное нам, тем не менее готовность к такому блаженству зависит от нашей деятельности. Чистая совесть как состояние человека, исполнившего свой долг и не предавшего забвению добро и достоинство, является необходимым условием блаженства. Причина этого – не во внешнем механизме счисления положительных и отрицательных дел (кармы), а необходимость включить в полноту бытия также и полноту реализации человеческого существования как такового, т. е. полноту слияния в деятельности принятия бытийных сил и свободы этого принятия. Без этой полноты участие в святости бытия кажется невозможным, ибо это бытие надломлено в нас самих.

Признав это, мы должны признать и возможность деятельности искупления и очищения, направленной на восстановление нарушенного в нас единения бытия и небытия, деятельности, посредством которой мы вновь обретаем утраченную нами готовность к принятию полноты бытия. Речь при этом идет не о количественном накоплении, как оно мыслится в законе кармы, а об искуплении качественном.

Ошибочно было бы, однако, это искупление, как и вообще подготовку себя к восприятию блаженства, превращать в главный источник этической деятельности. И там, где искупление невозможно, где нет никакой надежды на полноту бытия, и там остается этический долг в его первоначальном смысле – как долг свободного мужественного принятия бытийных сил.

4. *О том, что неполное блаженство даруется как творчество и любовь*

В максимально желанном состоянии полноты бытия человек находится в гармонии с миром и с собою. Бытийные силы благодатно принимаются в его грудь; он находится с ними в свободном и творческом общении (так изображает Гельдерлин Эмпедокла). Но и в обычную жизнь предвестием блаженства врываются творчество и любовь.

Оба связаны с этическим. В них есть обязующее начало вместе с фрагментарно проявляющейся полнотой бытия. Но не каждому дается проявляющаяся в них сила. Нет безусловного долга любить другого и нет безусловного долга быть творцом. Есть лишь безусловный долг быть готовым к любви и к творчеству и идти навстречу им, когда издалека чувствуется их веяние. Любовь и творчество даруются нам, как даруется сама полнота бытия, и обладание ими (или обладание их нами) является нашим счастьем.

5. *О сфере дарованности*

Между полнотою бытия в блаженстве и экстазом при исполнении элементарного долга нет разрыва. Дарованность в полном виде присуща блаженству, но она есть и в творчестве, и в любви. Наконец, сам экстаз этического, дающий отождествление меона с силой относительного бытия, должен восприниматься как дарованный, ибо он как чудо вторгается в мир преодоленного относительного бытия. На этом уровне счастье охваченности еще отодвинуто обязующим началом. На уровне любви и творчества оба принципа уравновешены. В блаженстве же обязующее начало заслоняется счастьем.

В томистском учении о дарованности человеку самого его бытия содержится поэтому глубокая истина. Человеческий меон, начало дистанцирования, является как бы световым лучом, создающим микрокосмос, играя по поверхности относительного бытия. Но для этики нужно преодоление дистанцирования. В этике меон должен отождествиться с относительным бытием, должен обнаружить себя как бытие, тождественное конкретной бытийной силе. Это экстазовое отождествление не под силу меону, оно может быть только даровано, хотя и будучи связано с риском. Дарованность начинается с этики, но этика начинается с самого начала существования.

6. *О смирении перед блаженством*

Человеческому меону не под силу самому пробиться к бытийной полноте. Дарованность, свойственная полноте, исключает любые гарантии. Можно провести жизнь, не соприкоснувшись с нею и даже не познав проблесков творчества и любви. К приобщению к святости жизни, т. е. к тому, что могло бы составить величайшее счастье жизни, подобает относиться со смирением. Приходится примириться с мыслью о возможной недостижимости счастья и искать покой в себе, не впадая в отчаяние от тоски и недостижимости.

7. *О гордости перед блаженством*

Такое смирение уже само по себе является гордостью, но гордость идет и далее. Даже при приобщении к безусловной святости мы не откажемся от дистанции, от меона, оставив за собою право на расстояние. Блаженство не должно стать вакхическим опьянением полнотою бытия. Полнота бытия, если она возможна, должна принять в себя нас, не изменяя нашей меонической природы, сохраняя наше индивидуальное достоинство и нашу свободу. Иной полноты мы не приемлем. То, что является существенной частью нас как этических существ, должно пребывать в неизменности и в даровании нам максимально желанного. (Такова же, видимо, основная интуиция в учении Дунса Скотта о том, что блаженство принимается свободно и может быть принято или отвергнуто по нашему произволу.)

VI. О СМЕРТИ

1. *О смерти как об.уконе*

Смерть является небытием по отношению к любому бытию нашего микрокосмоса. Если наша вселенная создается игрою меона по поверхности относительного бытия, то вся она как целое отрицается смертью. С моей смертью ничего этого не будет, воцарится полнота небытия – укон (*ουκων*), по сравнению с которым сила отрицания в человеке, его меоническое начало – не более как внутренняя игра бытийных сил.

О глубине этого небытия можно пытаться создать себе представление по состоянию безнадежного отчаяния, овладе-

вающего нами, когда необузданность отрицания оборвет все смысловые нити нашего существования, когда мы ощущаем себя оторванными от бытийных сил (не на что опереться). Но в отчаянии есть все же отчаявшееся, а в уклоне нет никакой связи с бытием.

Для философа есть что-то оскорбительное в том, что свою уверенность в смерти он должен черпать не в сущностном и априорном, а в самой презренной эмпирии: «Я умру, потому что вижу, как умирают все». И здесь смерть стоит за всякой бытийной связью, непостижимо – вне всякой связи – присутствуя в жизни («Wir sind die Seinen lacheln des Munds». Р. М. Рильке).

2. *О смирении перед смертью*

Смерть нужно принять. Хотя смерть рождает страх, желание преодолеть который ведет к вере в бессмертие, мысль об этом бессмертии остается чисто теоретической возможностью. Она не вправе войти как активная сила в человеческое существование наподобие того, как это должно произойти с идеей блаженства. Напротив, мысль о возможности смерти всегда должна быть с нами. Можно думать о бессмертии, но вести себя должно, считаясь с возможностью и с неизбежностью смерти. Происходящая в нас игра меона и бытия – всего лишь бранный и преходящий остров, погруженный в омывающий наше существование океан уклоне. В плане временном мы, в конечном счете, принадлежим небытию.

3. *О гордости перед смертью*

В плане смысла мы принадлежим бытию. Мысль о неизбежности смерти не должна парализовать нашу этическую волю. Если мы принадлежим смерти в конечном счете (т. е. во времени), то это не причина тому, чтобы отдавать себя ей в руки и в смысловом плане. Смысл непреложен в отождествлении долга и свободы, в принятии меоном бытийной силы, в слиянии относительного бытия и относительного небытия, осуществляемом как этический экстаз.

Этическое мужество не исчерпывается спокойствием и бесстрашием перед лицом смерти. Оно достигает своей вершины, когда осознает себя на фоне бранныости человеческой жизни. Это не только мужество взять на себя риск, но и мужество вложить себя в относительное, подверженное гибели. Ибо

если этическому дерзанию и свойственна вечность, то только вечность смысла, бесконечность экстаза.

В выборе между «да» и «нет», между утверждением и отрицанием, выбор «да» бытия означает готовность к смерти ради этического. Дело самого человека взвесить и решить, за что он в случае необходимости должен отдать свою жизнь, но если он не найдет в мире ничего такого, то жизнь его лишена смысла. Жертвуя собою за то неподвластное и недоступное ему бытие, которое продолжит свое существование, не освещаемое моим меоном, я достигаю высшего и последнего экстаза – растворения меона в бытии и последней победы над смертью.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. *О примате этического*

Этическое не отменяется ни жаждой блаженства, ни страхом смерти. В святости – осмысление жизни, но осмысление, даруемое извне. В этическом – осмысление, творимое нашими усилиями и преодолевающее полноту небытия смерти. Непременной остается простая истина. Стремись к добру и будь достоин.

Но знать о блаженстве и смерти необходимо. Лучи, от них исходящие, озаряют человеческую глубину. Этическое деяние получает завершение только в знании этой глубины. Иначе оно становится поверхностным и формальным. Не знать блаженства, его недостижимости для наших сил – значит подпасть под власть представлений о доступности высшего счастья и, в конечном счете, оторвать себя от источника жизни, вращаясь в сфере доступного нашим силам. Не знать смерти – значит подпасть под ее же власть, но еще при жизни, увязнуть в фикциях, придумываемых с целью отдалить от себя мысль о ней. В обоих случаях самообман и недобрая совесть.

Искусство призвано пробуждать и укреплять это чувство глубины. В ткань его поэтому вплетены нити блаженства и смерти, а мерой глубины является сила выражения в нем красоты и трагичности. Искусство возвращает нас к себе от поверхности и возвращает нашей этике серьезность знания полноты бытия и небытия. Хотя окончательная серьезность дается не искусством. Искусство связано со свободной игрой

сил, смерть и блаженство – вне всякой игры. Для завершения этики необходимо их непосредственное присутствие в мысли.

2. О свободе и разуме

Полагать, что человек уже обладает полной свободой или хотя бы способен добиться ее, было бы самообманом. Однако в сложной структуре различных слоев свободы мы должны признать наличие краеугольного камня с отблеском такой полноты – а именно свободы ставить себе цели. Всякая другая свобода относительна. Свобода от преодолеваемого достигается за счет зависимости от непреодоленного. Даже основная свобода ставит себе цели, ведет к зависимости, если мы выбираем не те цели, с которыми могли бы отождествиться. Свобода же материальная (от природной зависимости), гражданско-политическая (от деспотизма со стороны общества или государства), духовная – все они ведут либо к самоистреблению, когда человек становится игрушкой примитивного бессознательного, либо к отдаче себя высшему, в котором, однако, бессознательное, слепое бытие все же продолжает определять человеческое существование.

Свобода, таким образом, имеет своим меоном перелом от одной зависимости к другой, как и сам меон является небытием относительным, точкой отталкивания от другого.

Разум является основным инструментом свободы, средством преодоления зависимости. Разум, как и свобода, относителен. Он не в состоянии породить свободу из себя, но в силах расширить домен свободы там, где для этого есть точка опоры в высшей зависимости. Стремление сделать разум единственным источником норм человеческого существования приводит к самоубийству этического и смыслового: разум как чистая сила властвования разрушает подвластное, нормы и смысл оказываются безосновными. Подлинной жизни достигает разум лишь тогда, когда технический интеллект работает на одном полюса разумного, в то время как на его другом полюсе происходит обновление источника жизни, совершающееся в прямом видении. Человеческое существование обретает тогда новую свободу, доверяя этическому экстазу и чуду слияния бытия и меона, омываясь в волнах глубинных вод блаженства и смерти.

Поэтому, несмотря на свою относительность, разум и свобода являются ядром и целью человеческого. Отречение от

них было бы отречением от себя. Относительность не обезценивает того, что выделяет человека из других существ. Свобода и разум лежат в основе всякого человеческого проявления, хотя и обнаруживаются они на грани – в момент, когда одни силы в человеке побеждают другие. Свобода и разум остаются целью как фундамент любого нового откровения.

3. *О просвещении*

«Sapere aude» – имей мужество пользоваться собственным умом – так определил Кант девиз Просвещения.

Правда, неограниченное доверие к разуму и представление о нем как о единственном источнике норм жизни, сопровождаемые сужением разума до чисто технического (ориентированного на истину во втором смысле), – приводят к саморазрушению жизненного начала. Чисто просветительная деятельность, т. е. обучение человека самостоятельно использовать разум, должна быть дополнена пророческим и проповедническим словом.

Результаты просвещения зависят от той конкретной духовной реальности, к которой оно обращено. Где доминирует тип человека с глубокой моральной крепостью, там просвещение дает людям силы усовершенствоваться и углубить жизнь. Где же такая серьезность отсутствует, там просвещение может освободить бунтарские разрушительные силы. Свобода, даваемая просвещением, будет истолкована как свобода ко злу, а разум – как освободитель от этического.

Духовные формации такого склада в большей степени, чем другие, должны вместе с освобождением получать и новое укрепление. Должно быть продемонстрировано, что разум – не чисто разрушительная, но служебная сила, освобождающая к новой зависимости, что точка этического экстаза не уничтожается разумом, а только перемещается в новое место. Демонстрация должна быть наглядной в живом слове и в живом при-
мере.

И структурам более устойчивого типа знаком упадок и разложение. Разум и здесь может проявить свою разрушительную природу, а просвещение – обернуться цинизмом и утратой смысла. Обновление и здесь возможно только на основе манифестации нового экстатического начала.

ПЯТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ САХАРОВСКИЕ СЛУШАНИЯ

Пятые Международные Сахаровские Слушания состоятся в Пресс-Центре Лондона по адресу: 76 Shoe Lane EC4, 10-го и 11-го апреля 85-го года.

Таким образом, они проводятся незадолго до десятой годовщины подписания Акта Хельсинки, и главное внимание участников будет сосредоточено на том, какие изменения произошли за этот период в ситуации с правами человека в Советском Союзе и Восточной Европе. Будет также рассмотрен вопрос о будущем Хельсинкских Соглашений.

Сахаровские Слушания имеют немалую историю: впервые они были проведены в Копенгагене в 1975-м году, затем в Риме (1977 г.), в Вашингтоне (1979 г.) и в Лиссабоне (1983 г.).

Темы, отобранные для выступлений и дискуссий на ПЯТЫХ СЛУШАНИЯХ, касаются изменений в советской внутренней политике с 75-го по 85-й год, особенно изменений в законодательстве; политики по отношению к инакомыслящим; отношения к религиозным и национальным меньшинствам, групп ХЕЛЬСИНКИ, цензуры, глушения иностранных радиостанций, эмиграции.

Исполнительный комитет Сахаровских Слушаний стремится к сотрудничеству с правительственными, неправительственными и частными организациями, вовлеченными в «Хельсинкский процесс», а также с организациями по защите прав человека. Могут быть использованы и показания отдельных лиц, знающих по опыту о нарушении прав человека в какой-либо из стран, подписавших СОГЛАШЕНИЯ. Особое внимание будет уделено обсуждению возможных шагов, если таковые существуют, способствующих выполнению Положений Хельсинкских Соглашений о правах человека.

Исполком был бы рад получить материалы по предложенным темам. Умеренные расходы на поездки и жилье могут быть возмещены участникам Слушаний по усмотрению Исполнительного Комитета.

Просьба направлять письма по адресу:

Dr. Allan Wynn, Chairman, Fifth International Sakharov Hearing, Apartment 1, 44 Cranley Gardens, LONDON SW7.

Исполком:

Mr. Martin Dewhirst, Mr. Peter Reddaway, Mr. Michael Scammell, Mr. E. Yankelevich.

Искусство

Азарий М а р ь я м о в

ПРОЗРЕНИЕ

История двух художников

В этой статье мне хочется рассказать о двух крупнейших советских кинорежиссерах, которые на склоне лет совершили крутой поворот в своем творчестве. А поскольку творчество в Советском Союзе неизменно связано с политикой партии, вывод напрашивается сам собой.

Речь идет об Иване Александровиче Пырьеве и Михаиле Ильиче Ромме. Они ушли из жизни в разное время, но в некрологах, подписанных руководителями партии и правительства, говорилось примерно одно и то же. Пырьеву и Ромму ставились в заслугу их фильмы, которые помогали партии воспитывать целые поколения советских людей.

В этих словах, как это часто бывает в речах и сочинениях партийных вождей, была только часть правды. Последние картины обоих художников мало радовали власть имущих. Но сказать об этом вслух – Боже сохрани! Не отдать же двух народных артистов СССР идеологическому противнику. Не подписать некрологи нельзя – по рангу положено. Замять их смерть – опасно. Пойдут толки. В СССР, может быть, и не заметят, а на Западе?.. И в некрологах, как обычно делается в подобных случаях, акцент был сделан на фильмах «воспитательных».

И действительно, многие годы Пырьев и Ромм преданно служили советской власти. Не за страх, а за совесть. Они искренне верили в коммунистические идеалы и считали, что творчеством своим помогают созидать.

дать светлое будущее. А так как оба были людьми незаурядными, самобытными, то и фильмы их носили печать яркой индивидуальности каждого.

По характеру Иван Александрович и Михаил Ильич были антиподы. Пырьева отличала бешеная энергия, почти всегда прорывающаяся наружу. Это был заряд, готовый мгновенно взорваться, что часто и происходило. Неукротимый в ярости, но удивительно терпимый к людям, которым доверял и в которых верил. А если уж что-либо и кого-либо невзлюбит, то надолго, может быть, даже навсегда.

Пырьев не пасовал перед авторитетами и часто, минуя оторопевших секретарш или референтов высокопоставленных чиновников, открывал двери кабинетов, куда простым смертным вход был заказан. Не раз он смело защищал творческие и материальные интересы своих коллег, будучи одним из организаторов и руководителей Союза кинематографистов. Не чета нынешнему первому секретарю Союза Льву Кулиджанову, которого за глаза называют «спящим львом».

Михаил Ильич был поклонником «тихой дипломатии». Против его убедительных доводов и обаятельной улыбки редко кто мог устоять. Он был мастером по части устройства на работу своих учеников, а их у него было немало. Он был не только режиссером, но и профессором института кинематографии, воспитал большую плеяду талантливых режиссеров. Среди них – Василий Шукшин, Андрей Тарковский, Григорий Чухрай, Георгий Шенгелая, Владимир Басов, Александр Митта, Алексей Салтыков, Андрей Смирнов и многие, многие другие.

Ромм был удивительно трудолюбив и энергичен, но оба эти качества скрывались за внешним спокойствием и мудростью, свойственной многим поколениям его еврейских предков.

На съемочной площадке у Ромма всегда царила атмосфера благожелательности. Ему не надо было два-

жды повторять приказания, да и отдавал он их в виде просьбы. Его уважали и любили ученики – он был для них добрым и строгим педагогом. Они выносили на его суд свои фильмы, когда уже сами становились маститыми. Михаила Ильича любили и уважали коллеги, это проявлялось и в отношении его жены и подруги, прекрасной актрисы Елены Кузьминой, с которой он прожил десятки лет. Ромм был однолюбом.

Пырьев был неугомным и в творчестве и в любви. Он увлекался то сатирой, то современной драмой, то музыкальной комедией, то классикой... Он менял жанры и менял привязанности. Женами его поочередно были Ада Войцик, Марина Ладынина, Лионела Скирда, принявшая его фамилию. Одним из долгих увлечений Пырьева стала Людмила Марченко. Все они были актрисами, и всех он, конечно, снимал в своих фильмах. Во многих музыкальных комедиях снялась Марина Ладынина, особенно тяжело переживавшая разрыв с Иваном Александровичем. В «верхах» довольно косо смотрели на смену пырьевских привязанностей. Но с «руководящими» мнениями он мало считался.

Ивана Александровича глубоко волновала судьба кинематографии. И он взвалил на свои плечи тяжелое бремя директора Мосфильма после смерти Сталина, когда наконец кончился печальной памяти период «малокартинья». Он хотел помочь киностудии взять разгон после мрачных лет застоя и запустения. И первой его заботой стала комедия, начисто исчезнувшая в последние годы правления Сталина. Режиссеры и сценаристы по привычке боялись этого жанра.

«Почему-то никто не хотел быть Гоголем, никого не прельщала слава Салтыкова-Щедрина», – пишет в своей книге Эльдар Рязанов. И как раз его-то призвал Пырьев поставить музыкальную комедию «Карнавальная ночь». И не только призвал, но и помогал его во всем, вплоть до выбора актеров. Так стараниями Ивана Александровича молодой Рязанов, пришедший на Мос-

фильм из документального кино, стал знаменитым комедиографом, поставившим уже более десяти фильмов.

А сам Пырьев взялся за комедию? Ведь ему и карты в руки. Он был большим знатоком и приверженцем этого жанра. «Богатая невеста», «Свинарка и пастух», «Трактористы», «В шесть часов вечера после войны», «Сказание о земле Сибирской», «Кубанские казаки» – все эти картины, как известно, поставил Пырьев. За музыкальные комедии, рисующие в ультра-розовом свете жизнь крестьян, загнанных в колхозы, и наградил Сталин режиссера пятью премиями имени себя.

Каждый кадр пырьевских лент утверждал, что колхозники работают с превеликим энтузиазмом, лихо и задорно поют. Сеют – распевают песни, пашут – распевают песни, косят – распевают песни. Неважно, что трудодень – фикция; все равно поют и притом еще приплясывают. Одно только иногда печалит колхозника или колхозницу – неудачная любовь. А во всем остальном не жизнь, а развеселая малина. Такими были эти пейзажные оперетты, которые не принимались зрителями за реальность. Как и не принимаются всерьез оперетки «Граф Люксембург» или «Баядерка». Веселые песни и пляски – вот что приносило успех пырьевским лентам, а отнюдь не содержание, над которым в зрительном зале подчас горько смеялись.

Но вот пришло знаменитое разоблачение культа Сталина. И Пырьев был потрясен: чудовищные зверства, нищета и голод в деревне, паспорта, подобно кандалам, привязали мужика к колхозу... Трудно сказать, какие мысли больше всего в ту пору разъедали душу художника. Не оскорбительны ли его радостные фильмы для крестьян, которые не только горожан, но и себя прокормить не могут? Не творил ли он дешевые агитки, сдобренные музыкой и душещипающими песнями, вместо подлинных произведений искусства? Не подобны ли его ленты пиру во время чумы? Трудно утверждать, какие мысли больше всего тревожили Ива-

на Александровича, но факт остается фактом – с той поры он навсегда покончил с музыкальными комедиями. Будто и никогда их не делал.

Попробуем пофантазировать, почему Пырьев делал подобные фильмы. Что, он был просто марионеткой? Нет, этого не скажешь о такой волевой и сильной личности. Был слеп и не видел подлинной жизни? На Пырьева, крестьянского сына и умного человека, это не похоже.

Думается, что дело совсем в другом. Он на веру принял горьковскую теорию социалистического реализма, требующую от художника изображения действительности «в ее революционном развитии». Достаточно, если среди тысяч бедных есть хотя бы один богатый колхоз. Этот «росток будущего» и надо показать. А если нигде не сыскать даже одного «примерного» колхоза, вовсе не грех выдумать его. Ведь родная партия обещает, что богатыми будут все без исключения колхозы. То же самое относится и к показу людей. Соцреализм требует изображения «положительного героя-творца, строителя новой жизни».

Не документальные же фильмы снимал Пырьев, а игровые. Почему же не использовать декорации и актеров для показа колхозной жизни?! Поэтому каждый кадр пырьевских лент сталинского времени утверждал, что живут крестьяне богато и весело. Колхозник, он и трудяга выдающийся, и писанный красавец, и обаятельный во всех смыслах. Эдакий рабоче-крестьянский граф. И подстать ему героиня-дойрка или птичница. Почему же не построить «потемкинскую деревню» и актеров выбрать покрасивее и голосистее!? Да, так было, ничего не попишешь...

Что же, опять заняться профанацией жизни? Опять делать фальшивки? Нет, вернуться к ним Пырьев уже не мог – заговорила совесть. А ведь от Ивана Александровича ждали в короткую пору «оттепели» комедий – надо же дать народу повеселиться после каторжных ста-

линских лет, но режиссер был непреклонен. Нет, и все!

Тогда, может быть, маститый режиссер поставит фильм из жизни советских людей в другом жанре? Какой-либо драматический фильм, лирический, приключенческий... Важно только, чтобы о современниках. Нет, и на это не пошел Пырьев. А ведь было время, когда Иван Александрович проявил себя и в жанре кинодрамы. Как пишут историки кино, значительным достижением Пырьева был фильм «Партийный билет», герой которого, наглый и хитрый вражеский лазутчик, пробирается в ряды партии, но в конце концов разоблачается скромной советской девушкой, жертвующей любовью во имя советского патриотизма.

«Партийный билет» вышел в 1936 году в преддверии очередных репрессий. Это был хороший подарок Сталину. Вот куда привел соцреализм. Выходит, что он, Пырьев, желая своим искусством творить добро, сотворил зло. Нет, и кинодрам он больше ставить не будет, и приключенческих фильмов, и лирических... Ничего на современную тему. Ничего! Не то соцреализм опять доведет до беды. А ведь творить хочется. Именно теперь, когда будто со всем старым покончено раз и навсегда. И режиссер обращается к любимому Достоевскому, к писателю, что так остро говорил в своих произведениях о борьбе добра и зла.

Здесь уместно вспомнить письмо А. П. Чехова к А. С. Суворину, датированное 27 октября 1888 г.: «Художник, – писал Антон Павлович, – наблюдает, выбирает, догадывается, komponует – уже одни эти действия предполагают в своем начале вопрос... Вы смешиваете два понятия решение вопроса и правильная постановка вопроса. Только второе обязательно для художника».

И Пырьев отдает все свое сердце, всю свою неиссякаемую страсть, весь свой разум экранизации романов Достоевского, чтобы вслед за ним поставить

вопрос о добре и зле. Это нужно лично ему, Пырьеву. И это нужно миллионам людей, испытавших сталинские годы лихолетья.

Иван Александрович начинает с экранизации первой части романа «Идиот» («Настасья Филипповна»). Он мастерски переносит на экран образы лиц, участвующих в интриге против Настасьи Филипповны, чтобы гневно воскликнуть – а сколько сейчас среди нас подобных бесов, которые интригуют, стяжают, правят нами!

Как и роман, фильм показывает светлое пятно в этом гнусном мирке – князя Мышкина с его удивительной чистотой и непосредственностью. Борьба сил добра и зла оканчивается победой зла, но будет ли так всегда, спрашивает режиссер у себя и у зрителей. И это заставляет их задуматься, сопоставить свои переживания с переживаниями Настасьи Филипповны и Мышкина.

Эти сопоставления и переживания становятся все более острыми, более современными, когда вникаешь в смысл рассуждений Ивана Карамазова. Помните, когда, беседуя с Алешей, он говорит, что высшая гармония не стоит слезинки хотя бы одного замученного ребенка. Как тут у мыслящего человека поневоле не возникнут ассоциации с коммунистической религией, обещающей всеобщий рай на земле, а пока ввергающий человечество в кромешный ад. Тут уж речь идет не о слезинке одного замученного ребенка, а о муках целых народов.

Я напомнил беседу Ивана с Алешей потому, что тот же извечный вопрос о противоборстве добра и зла Пырьев, с присущей ему страстью и талантом, поставил в фильме «Братья Карамазовы» (1-2-3 части романа). Не только об этом говорит картина, а и о том, вправе ли совесть человеческая забыть преступления, совершаемые во имя будущей гармонии. Думается, что в этом вопросе, обращенном к зрителям, и есть главная заслуга режиссера.

Три произведения Достоевского экранизировал Пырьев. Кроме двух вышеназванных романов, еще и

поэтическую повесть «Белые ночи». Больше не успел – ушел из жизни. Но и за то, что сделал, – низкий поклон ему. Не очень-то жалуют Достоевского в советское время. Помнится, Горький в своей статье «О литературе» (1930), коснувшись вопроса о растущем влиянии Достоевского в Западной Европе, сказал: «Я предпочел бы, чтобы «культурный мир» объединялся не Достоевским, а Пушкиным...» Видите, как ловко автор теории соцреализма противопоставил одного гения другому. Горьковский совет превратился чуть ли не в правило в СССР.

И вот, вопреки неписанному правилу, Иван Александрович сделал произведения Достоевского достоянием народа. В этом его великая заслуга, это и его искупление за фальшивые ленты, игравшие на руку злу.

Для того, чтобы осмыслить разительные изменения, происшедшие в душе Михаила Ильича Ромма, надо тоже бегло проследить его творческий путь. Как талантливый режиссер, он заявил о себе еще в эпоху «немого кино». Кто из людей моего поколения не восхищался его фильмом «Пышка» (по Мопассану), в котором главную роль исполняла Галина Сергеева, едва ли не самая восхитительная актриса тех лет. Это была ее лучшая роль в кино, и этим Галина Ермолаевна – о чем она говорила автору этих строк – обязана, главным образом, Михаилу Ильичу.

Затем следует звуковая картина «Тринадцать», где показана попытка небольшого отряда «басмачей» вторгнуться в пределы одной из среднеазиатских советских республик. Это был отголосок восстаний туркмен, не принимавших советскую власть. Как и полагается в советском фильме, «басмачи», предводительствуемые Ширмат-ханом, – банда головорезов, безлика, яростная масса. Что же касается защитников границы, то они благородные герои, даже в минуты смертельной опасности им присущ юмор.

Конечно, с самого начала ясно, что победят советские пограничники, а не численно превосходящий их отряд «басмачей». Режиссер все же сумел преодолеть эту заданность сюжета и создал остроприключенческий фильм. Приключенческих лент было мало, и «Тринадцать» имели шумный успех. Зрителей мало интересовал социальный смысл картины, нравились драки, стрельба, погони и хорошая игра актеров.

Самую большую услугу партии Ромм сделал, поставив дилогию о Ленине: «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году». Однажды уже была сделана попытка создать образ Ленина в кино художественными средствами. В фильме Эйзенштейна и Александрова «Октябрь» роль Ильича исполнил рабочий Никандров, удивительно на него похожий, – ну, прямо близнец. Но эта попытка была признана неудачной.

Михаил Ильич сразу же решил – нужен актер. И выбор пал на Бориса Щукина – ярчайшего представителя вахтанговской школы острой характерной игры. Воспитанник Евгения Багратионовича Вахтангова, Щукин обладал редким талантом, неумным темпераментом и гениальным даром перевоплощения. Сегодня он играл Егора Булычова, а завтра – советского бюрократа в комедии «Шляпа».

Ромм и Щукин взялись за «лепку» образа Ленина. С пристрастием изучали кинодокументы первых лет революции. Эти «немые» кадры смотрели при помощи звукового проектора (он уже вытеснил «немые»). Поскольку «немые» ленты движутся со скоростью 16 кадров в минуту, а звуковые – со скоростью 24 кадра, движение на экране резко ускорилось. Ленин, как и все остальные, выглядел карикатурно, вызывая смех в просмотром зале.

И Ромма осенила идея – использовать этот эффект. Не до такой степени, чтобы Ленин выглядел карикатурным, но чтобы и не был подобен обычному смертному. Так Михаил Ильич придумал с в о е г о Ленина, кото-

рый все время будто находится на поле боя. Движения его стремительны – куда быстрее, чем у нормального человека. Рука мгновенно взлетает вверх, шагает он размашисто, словно ведет за собой полки. Круто поворачивается к собеседнику. Говорит темпераментно, часто отрывистыми фразами. Пронзительный взгляд на человека, с которым беседует. Когда задумывается, глаза устремлены куда-то вдаль – он видит будущее.

Такой вождь позволил избежать нудных рассуждений героев, марксистской дидактики. Что же касается исполнителя, то эта роль будто специально была уготована для Бориса Щукина, выдающегося актера острохарактерного амплуа. И он исполнил ее так филигранно, как, быть может, гимнаст, летающий на трапеции под куполом цирка. Это сравнение тем более уместно, что при неудаче Щукин вместе с Роммом упали бы с такой высоты на землю, что и костей не собрали бы.

Однако успех ленинской дилогии превзошел все ожидания. Многие и многие воспринимали и воспринимают до сих пор эти игровые фильмы как документальные. С той поры Ленин, придуманный Роммом и воплощенный Щукиным, бодро шагает из фильма в фильм, из спектакля в спектакль. Роммовский Владимир Ильич стал хрестоматийным. Примерно по этому образу, с большим или меньшим отклонением, сделан добрый десяток картин о Ленине, хотя зрителям давно уже тошно на них смотреть и доходов они не дают.

Ленинская дилогия, сделанная Роммом, вызвала ревность у кинорежиссера Сергея Юткевича. Спустя год после выхода «Ленина в Октябре» он выпускает свою первую работу «Человек с ружьем», из задуманной им своей киноленинианы. Роль Ленина исполняет уже не Щукин, а Максим Штраух.

Сергей Юткевич будет верен ленинской тематике еще многие годы. Даже после смерти Сталина. Снимая фильм «Ленин в Польше», он заставит изрядно поста-ревшего и пополневшего Штрауха ездить на велосипеде

и к тому же, если не ошибаюсь, в шортах. Эти кадры должны подчеркнуть особую простоту основателя советского государства. А потом у неугомонного Юткевича возникает идея показать Ленина в Париже. Никак не может насладиться лаврами верноподданный режиссер, или, быть может, соблазнила возможность пожить в Париже, причем за казенный кошт. Нет, не могу себе представить, чтобы Юткевич не задумывался, так ли уж человечен и прост Ленин. Читая его письма и заметки, не мог же Сергей Иосифович не заметить, сколь часто в этих документах мелькает обычное слово для Ильича « р а с с т р е л я т ь ».

Но вернемся к Ромму. Надо сказать, что он еще в конце тридцатых годов пытался как-то отойти от советской тематики. Взялся было за «Пиковую даму». Много снял, но тут обухом по голове приказ комитета по делам кинематографии: немедленно прекратить работу над двадцатью шестью картинами. Среди этих фильмов оказалась, естественно, «Пиковая дама». Кремлевский самодержец потребовал снимать фильмы только о современниках – очередной сумасбродный каприз отца советского искусства. Так Ромму не удалась попытка уйти от советской тематики, крепко приковавшей его к а к т у а л ь н ы м фильмам.

Впрочем, в то время Михаил Ильич и не особенно сетовал на товарища Сталина. Жалел, конечно, затраченных усилий и потерянной возможности показать на экране одно из лучших произведений великого поэта, но раз таково мнение вождя, надо безропотно согласиться. Михаил Ильич верил Сталину, каждому его слову, каждому указанию. Верил искренне и преданно. Сам удивительно честный человек, Ромм считал Сталина и его окружение честнейшими из самых честных людей на земле.

Не корысти ради, не во имя славы или наград и не по принуждению Ромм после неудачи с «Пиковой дамой» продолжает делать «партийные фильмы». Прозрение

придет к нему позже, и оно станет для него таким шоком, что он надолго потеряет нить творческого существования. А потом, оправившись, Михаил Ильич обратит всю силу своего таланта на то, чтобы показать миллионам, как овладел сознанием целых народов диктаторский фетиш. Но сделает это так изобретательно и так умно, что наследники Сталина придраться к нему не смогут.

А пока Ромм приветствует своим фильмом «Мечта» раздел Польши между Гитлером и Сталиным. По картине выходит, что ее героиня обретает свободу, когда ее город становится советским.

Кончается война, Сталин нагло прикарманивает Чехословакию, Польшу, Венгрию, Восточную Германию, Румынию, Болгарию, а Ромм разоблачает происки империалистов. Разве не этому посвящены фильмы «Убийство на улице Данте» и «Секретная миссия»? Он все еще слеп. Можно ли обвинять Ромма? Это была не вина его, а беда. Как и миллионов других, кто искренно верил в коммунистический рай и непогрешимость партии. Смерть Сталина Михаил Ильич воспринимает как личную трагедию.

И вдруг... Представляете себе человека, глаза которого были закрыты почти сорок лет и внезапно увидели свет? Какие возникают чувства? Изумление, восторг? Или горечь от того, что почти вся жизнь прошла во тьме? Или и то и другое? У Ромма над всем преобладала горечь. Оглядываясь на прошлое, не стыдно вспомнить только фильм «Человек № 217». И не потому, что эта картина получила Большую премию в Канне за лучшую режиссуру. Фильм дорог Михаилу Ильичу потому, что он рассказывает о людях, угнанных фашистами в рабство, страдающих от унижений, голода и холода, но сохранивших человеческое достоинство.

Человеческое достоинство! Как легко его потерять и как трудно вновь обрести. Надо думать, надо пере-

осмысливать все сделанное. Не сразу, не в один день и не в одну неделю возникают у Ромма мысли, казавшиеся еще совсем недавно невозможными, дикими. Поневоле от Сталина перебрасывается мостик к Ленину. Так ли был идеален Ильич, каким Ромм показал его в своих фильмах? Таким ли на самом деле был человечным? Если да, то откуда же проистекли сталинские злодеяния?

Партия в преддверии 100-летия со дня рождения Ленина, и кому, как не Ромму, полагается сделать новый фильм об основателе советского государства? Его опыт и талант свершит новое чудо. Но Михаил Ильич молчит – не понимает прозрачных намеков. Теперь он сам подобен Человеку № 217.

К старому возврата нет! Но какие идеи теперь воплощать на экране? Мучительные раздумья художника прерываются только в часы занятий в институте кинематографии. Его состояние видят ученики, но ни о чем не спрашивают. Однако сам Ромм нет-нет, да и скажет что-либо нелестное о своем прежнем творчестве и о себе, как бы думая вслух...

Несколько лет Михаил Ильич не выходит на съёмочную площадку. Уж слишком большой шок пережит. Наступает момент, когда он загорается идеей сделать фильм о физиках, о молодых ученых. Вместе с Д. Храбровицким пишет сценарий «Девять дней одного года». По определению Ромма, это «фильм-размышление». Никаких приключенческих интриг, никаких разоблачений империалистов, никакого восхваления советской власти.

На экране – интеллектуальная среда. Ученые-атомщики обсуждают не столько научные проблемы, сколько нравственные. Они спорят, беседуют. И зрители не остаются равнодушными. Они словно участвуют в разговорах героев фильма. Картина была прекрасно встречена творческой и научной интеллигенцией, ее обсуждали, о ней спорили. В Советском Союзе

впервые появилось интеллектуальное кино. Не забудем и того, что основные мужские роли исполняли талантливые, тогда еще молодые актеры Алексей Баталов и Иннокентий Смоктуновский. Это придавало картине особое очарование.

Там, «наверху», к фильму отнеслись более чем равнодушно. Комедия – не комедия, драма – не драма, детектив – не детектив. Действия мало, а разговоров много. Что-то, наверно, не так. Но что не так, уяснить не могли. А это уже само по себе таит опасность. Тем более, что короткая «оттепель» сменилась морозом. Из Кремля снова фельдфебельские команды – шагать в едином строю, не отставать, не оглядываться, петь вместе со всеми... И Ромм не выдерживает окриков – порывает с игровой кинематографией. Он сыт ложью по горло.

Но чем же удовлетворить жажду творчества? Документальное кино – вот где спасение. Однако речь вовсе не идет о советской действительности – чем гладкие, приглашенные, хорошо отлакированные «документальные» ленты лучше игровых?! Нет, это Михаилу Ильичу не по душе.

А что если сделать фильм о немецком фашизме? Картин на эту тему сделано уже много в разных странах. Ну, что из этого? А нельзя ли сделать совсем по-другому? Отойти от традиционного показа фашизма в историческом аспекте – как он возник, как развивался, достиг апогея и задохнулся в собственной крови. Это было, и все же в тех фильмах не показано, как немецкий обыватель стал механическим орудием насилия и убийства или, в конце концов, человеком безразличным к злодеяниям Гитлера и его подручных. Как этот обыватель – а это миллионы и миллионы обыкновенных немецких граждан – не протестовал, не восставал против фашизма, а делал вид, что он его злодеяний не знает... Отсюда и название фильма «Обыкновенный фашизм».

Михаил Ильич был убежден, что человечеству надо понять, почему население одной из культурнейших стран Европы стало гигантской сектой язычников, поклонников изуверской религии Гитлера. Вот какую творческую задачу поставил перед собой Ромм, конечно, не без дальнего прицела. В чем он состоял, объясню чуть-чуть ниже.

Такая задумка потребовала принципиально иного построения документальной киноповести. Она не имеет ничего общего с большей частью исторических лент, где рассказ ведется от «А» до «Я». Композиция произведения свободна, она состоит из разных глав, отнюдь не связанных хронологически. Их соединяет мысль, авторская мысль, что почти не бывает в советских документальных фильмах. Как правило, автор скрывается за стандартным голосом диктора. Здесь же Михаил Ильич сам комментирует происходящее на экране. Он выражает свое отношение к изобразительному ряду болью и гневом, сарказмом и ненавистью. Не хорошо поставленный голос профессионального чтеца слышим мы, а голос историка и философа, художника и творца. И Ромм так проникновенен, так волнует, что боишься пропустить одно его слово.

Михаил Ильич и его соавторы по сценарию (М. Туровская и Ю. Ханютин) широко использовали съемки немецких операторов и кинолюбителей. Это позволило показать фашизм как бы изнутри, таким, каким гитлеровские главари хотели его сами видеть. В этом сила и необычность картины, которая вызвала переполненные залы, хотя до этого по экранам уже прошло несколько произведений на эту тему.

Настало время сказать о «дальнем прицеле». Всем своим содержанием, всем строем фильм гневно осуждает и клеймит не только немецкий фашизм, но любой тоталитарный режим. Л ю б о й ! Эта мысль приходит на ум, когда поневоле начинаешь сравнивать эпизоды «Обыкновенного фашизма» с обыкновенным социализ-

мом. Я говорю «поневоле» потому, что комментатор ничего не навязывает, он лишь выражает личное отношение к фактам, а вы уж сами думайте о них, оценивайте, сравнивайте... не виноват же фильм, что человек способен к ассоциативному мышлению. Чем больше смотришь ленту, тем больше ассоциаций возникает...

Вот глава о женщинах в гитлеровской Германии. И сразу же в памяти возникают пресловутые советские женотделы, толпы ликующих женщин в красных косынках. Или глава о Гитлерюгенде. Боже мой, как это похоже на комсомольские парады и шествия! Появляется глава о детях – белые рубашки, галстуки, пилотки. Бодро шагают, распевают маршеобразные песни. Восторженно встречают Гитлера, преподносят ему цветы. Ну, точь-в-точь славные советские пионеры.

А глава о вождях? Гитлер впереди, вокруг – на шаг от него – соратники, каждый старается придвинуться к фюреру, забывая о кинокамере. Вождь поднимает руку, приветствуя толпу. И все остальные тоже поднимают руки. Скажите, чем Берлин тех дней отличается от Москвы наших дней?

Можно ли сомневаться в реакции зрительного зала, когда возникает кадр с полотном немецкого художника, изобразившего во весь рост Гитлера на фоне природы. Как же тут не вспомнить картину художника Шурпина «Утро нашей Родины», на которой во весь рост, почти в такой же позе, написан Сталин, и почти на таком же фоне. На полотнах Сталин и Гитлер одинаково импозантны, они излучают силу, глаза сияют неземной мудростью. Два сверхчеловека. Обоих художники приукрасили сверх всякой меры. По принципу соцреализма.

Военные парады, концлагеря, наглая и лживая пропаганда... Многое в «Обыкновенном фашизме» заставляет подумать о родстве тоталитарных режимов – фашистского и советского. Но можно ли было формально обвинить Ромма? Он не отвечает за то, что происходит в уме зрителей. Может быть, поэтому, а

может быть, потому, что там, «наверху», думают: дескать, в своей массе советский человек давно потерял способность мыслить, тем более ассоциативно, – фильм выпустили в прокат. Правда, не без проволочек и сомнений. Видимо, кто-то из партчиновников понял, какой заряд заключен в картине. Но не выпускать антифашистский фильм тоже странно – как-никак в нем обличается злейший враг, а на всякие там ассоциации – наплевать!

Михаил Ильич был счастлив. И он тотчас же принялся за второй документальный фильм. На этот раз о коммунистическом Китае. В «инстанциях» этому не совсем обрадовались. С одной стороны, Китай – теперь враг СССР, но с другой – каких теперь сюрпризов можно ожидать от Ромма. Партчиновники тревожились напрасно. В процессе работы над фильмом Ромм понял, что все на планете взаимосвязано, и поэтому решил сделать более обширное полотно. Нечто вроде мира сегодня. И уже посланы кинооператоры в разные страны, одновременно идет отбор материала, снятого ранее.

Тех, кто смотрел черновой монтаж, изумлял странный отбор материала. Французские школьники и сборище наркоманов, целующиеся влюбленные и взлет самолетов, молодые люди, оружие словно на концерте «Битлов», и выход на сцену Мао... Некоторых не только изумлял такой подбор эпизодов, но и пугал. А что по этому поводу скажет Михаил Ромм? Как и в «Обыкновенном фашизме», он сам собирался комментировать изображение.

А кто объяснит необычность эпизода о советской молодежи. Не студентов и не рабочих-строителей коммунизма (обязательный стандарт) видим на экране, а молодых филателистов. Только один Ромм знал, как прокомментирует он это изображение. Знал, но тайну сию унес в могилу, не завершив картину.

Сделав «Обыкновенный фашизм» и работая над второй документальной лентой, Михаил Ильич все же

мечтал об игровой картине. Только не подумайте, ради Бога, о произведении на современную советскую тему. Вы знаете, что он хотел сделать? Веселую комедию «Детектив каменного века» по сценарию Александра Володина. В письме к сценаристу Михаил Ильич писал: «Это действительно детектив. Действительно очень веселый и вместе с тем очень трогательный. Люди каменного века умны и интересны, они, разумеется, знают меньше нас и немножко наивны, но это люди в самом благородном смысле слова, движимые любовью, ревностью, стремлением к счастью».

Михаил Ильич даже наметил актеров для этой ленты – А. Папанова, Ю. Никулина, З. Гердта, Е. Евстигнеева, Г. Вицина. Представляете себе, какая бы это была изумительная комедия, далекая от соцреализма и воодушевляющих идей партии. Замыслам Ромма не дано было осуществиться. Подобно Пырьеву, он тоже не все задуманное успел сделать. Но если на одну чашу весов истории положить «Обыкновенный фашизм», столь похожий на «обыкновенный социализм», а на другую все идеологически выдержанные фильмы, то, бесспорно, первая перетянет. А если удалось бы еще добавить незавершенный «Мир сегодня», то первая чаша перевесила бы еще больше.

Друзья и поклонники Михаила Ромма запомнят его не как режиссера ленинской идеологии или «Русского вопроса», искренне заблуждавшегося художника, а как прозревшего и нашедшего в себе силы и мужество стать на другую стезю творчества.

Вот и конец повести о Михаиле Ромме и Иване Пырьеве, крупнейших советских кинорежиссерах, не считавших себя «диссидентами», а просто решивших жить и творить, как подсказывает совесть, задумавшихся над высшими идеалами и понявших, что существуют вечные, непреходящие ценности.

МАРЬЯМОВ Азарий – родился в Киеве в 1908 году. Окончил трудовую школу, затем техникум. Работал на заводе, был рабкором. С 1928 года в журналистике. В 1938 году перешел в кинематограф. Был редактором, старшим редактором и ответственным редактором киножурнала «Новости дня» на Центральной студии документальных фильмов. С июня 1941-го по сентябрь 1945-го на фронте. Автор четырех книг критики и очерков о документальном и любительском кино. В 1979 году эмигрировал в США. Редактирует русскоязычный ежемесячник «Новости» (Роквилл, штат Мериленд). Постоянный автор «Нового русского слова».

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ «КОНТИНЕНТА»

ПЬЕР ДЭКС родился в 1922 году, по образованию историк. С 1940 года – участник французского Сопротивления. Один из организаторов знаменитой в истории Франции демонстрации 11 ноября 1940 года против немецкой оккупации. В 1942 году арестован и депортирован в гитлеровский концлагерь Маутхаузен. С 1947 по 1972 год – главный редактор коммунистического журнала «Леттр франсез». После выхода из компартии публикует книгу «Что я знаю о Солженицыне», переведенную на многие языки. С 1976 года по сегодняшний день – сотрудник газеты «Котидьен де Пари». Автор нескольких романов и эссе. Известен также как выдающийся специалист по современному искусству, в частности, по Пикассо. В настоящее время ведет популярную передачу на второй программе французского телевидения: «Страсть к искусству».

НОРМАН ПОДГОРЕЦ родился в Бруклине, Нью-Йорк, 16 января 1930 года, в семье восточноевропейских эмигрантов. Окончив в 1950 году Колумбийский университет, прошел курс Высшей еврейской школы, а два года спустя получил диплом Кембриджского университета (Великобритания). По возвращению в США начинает писать для журнала «Комментари», продолжая свое сотрудничество с этим журналом и во время своей двухлетней военной службы. В эти же годы защитил в Кембридже докторскую степень. В 1955 году становится заместителем редактора журнала. Одновременно пишет литературные статьи для «Харпер», «Нью-Стейтсмен» и многих других американских изданий, в результате чего завоевывает у себя на родине большую известность. В 1958 году, не соглашаясь с редакционной политикой журнала, подает в отставку, но уже через два года, по предложению совета «Комментари», становится его главным редактором. Под руководством Нормана Подгореца журнал приобретает широкую популярность, привлекая на свои страницы все большее и большее число видных американских авторов. Кроме многочисленных и нашумевших эссе, написал знаменитую автобиографию «Как это сделано», объясняющую эволюцию его жизненного пути. Нынешний Президент США Рональд Рейган не раз называл Нормана Подгореца «своим политическим учителем».

АЛЕН БЕЗАНСОН: см. в №37 «Континента».

ОЛИВЬЕ КЛЕМАН: см. в №41 «Континента».

«КЛЮЧ» К ГОГОЛЮ

Опыт художественного чтения

Фрагмент из книги

Зародившаяся после опубликования в «Выбранных местах» «Завещания» легенда о том, что Гоголь был погребен в состоянии летаргического сна, проявила немалую живучесть и перешла вместе с другими в новое столетие. Вызванное всеми легендами не слишком прикрытое любопытство обнаруживает уже публикация о починке к очередному юбилею памятника на могиле, в связи с чем в самом начале века было частично раскрыто и захоронение*. В ней сказано следующее: «ГРОБ ГОГОЛЯ. Приведение в порядок заброшенной на Даниловском кладбище в Москве могилы Гоголя ко дню празднования столетия со дня его рождения, 20 марта текущего года, взял на себя город, и в настоящее время работа эта выполнена. Вросшая в землю и покрывившаяся надгробная плита была вынута, очищена и отполирована. Были произведены земляные работы и устроен для плиты, весящей 300-400 пудов, сводчатый фундамент, образующий над местом, где находится гроб, нечто вроде склепа. При производстве этих работ была обнаружена на глубине плотная масса кирпича и извест-

Рукопись поступила из Москвы. Об авторе нам ничего не известно. — Р е д.

Полностью это исследование выйдет в издательстве «Оверсиз» (Лондон) в течение 1985 года.

* «Исторический вестник», февраль 1909 г., с. 847.

ки, которою был залит в свое время при похоронах дубовый гроб, сохранившийся в целости до сих пор, о чем свидетельствовали совершенно крепкие углы гроба, обнаружившиеся в тех местах, где известковая масса от времени осыпалась. Над фундаментом была сделана каменная площадка, на которой теперь и водружена надгробная плита. Находившийся в головах громадный булыжный камень с крестом отчищен, а крест вновь вызолочен...» (Далее в числе прочего говорится еще об установке решетки – той самой, что сохранилась доныне. – В. Н.)

Но окончательно разрешить всякого рода недоумения и погасить слухи должен был бы, казалось, перенос праха на Ново-Девичье кладбище, поскольку в подобных случаях обычно производилась эксгумация – то есть вскрытие гроба и медицинская экспертиза останков. Нужно заметить, что действие это, естественно, экстраординарное, но вполне уместное с научной точки зрения, в определенных обстоятельствах не вызывало возражений и со стороны традиционного мировоззрения прежней России – ортодоксального православия. В его рамках вопрос об эксгумации, называвшейся тогда «свидетельствованием», возникал при подготовке к прославлению мощей святых. В первые годы XX в., в связи с возбуждением дела о причислении к лику святых Серафима Саровского, на эту тему по поручению Синода были даже написаны специальные исследования. Немало отчетов о «свидетельствованиях» содержат и дела Синода за XVIII-XIX вв., когда под предлогом их неудовлетворительных результатов всячески затруднялась новая канонизация. Следовательно, порицания или осуждения заслуживает не сам факт вскрытия могилы, хотя и он является, конечно, происшествием исключительным, – но недостойное отношение к нему в какой бы то ни было форме: неуважительном поведении, бестактном описании или праздном разглагольствовании.

Постоянно имея это в виду, расскажем вкратце историю вскрытия захоронения Гоголя, какой она пред-

стает из сохранившихся документов и воспоминаний очевидцев. Итак, 31 мая 1931 г. в незадолго перед тем закрытом Даниловском монастыре были в присутствии особой комиссии разрыты погребения супругов Хомяковых, поэта Николая Языкова, писателя Гоголя и музыканта Николая Рубинштейна с целью переноса останков их с ликвидируемого кладбища на другое, сохранявшееся в качестве всемосковского некрополя-памятника. До нас дошел составленный при этом «Акт о вскрытии могилы Гоголя Николая Васильевича на кладбище бывшего Даниловского монастыря для перепогребения праха его на Ново-Девичьем кладбище в Москве»*, – однако, в отличие от акта, перепечатанного Вл. Солоухиным, документ этот загадочно немногословен.

Приводим его целиком: «31 мая 1931 г. мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии на кладбище бывш. Даниловского монастыря произведена эксгуммация (так в тексте. – В. Н.) писателя Николая Васильевича Гоголя для перепогребения на новом кладбище бывш. Ново-Девичьего монастыря в Москве». И это всё, что сказано о самом событии и его обстоятельствах: ни данных медицинской экспертизы, ни фиксации положения тела, ни каких-либо других подробностей в акте нет. После приведенных только что строк следуют лишь двенадцать подписей: Нестеренко (почерк похож на тот, каким написан весь документ), А. Смирнов, М. Ю. Блауберг, Ник. Ашукин, В. Соловьев, Вл. Лидин, Эм. Герман, И. Сельвинский, С. Борисов, А. Тышлер, три малоразборчивые (предположительно – Л. Негри, В. Сетниц, А. Кигрябатник) и три полностью непонятные.

Минуло пятьдесят лет, и, по-видимому, никого из тех, кто оставил свой автограф 31 мая 1931 г., уже не осталось в живых. Все дополнительные сведения, которые удалось собрать, дошли в передаче их близких и зна-

* ЦГАЛИ, фонд 139, оп. 1, ед. хр. 61.

комых. В первую очередь обратимся к тому, что рассказывала одна из крупнейших специалисток по московским некрополям Мария Юрьевна Барановская (урожд. Пономарева) – инициалы ее имени и отчества при фамилии, которую она носила в первом браке (Блауберг), стоят третьими в числе подписей под актом. М. Ю. Барановская неоднократно говорила хорошо знавшим ее людям о своих впечатлениях при вскрытии могилы Гоголя. По ее словам, он был найден в гробу с вытянутыми вдоль тела руками (между тем как по обычаю руки покойника складывали на груди); поверх скелета сохранились части сюртука, полосатых брюк со штрипками и стоптанных кожаных башмаков. Участвовавший в комиссии по эксгумации врач-патологоанатом поднял череп с остатками светло-каштановых прядей (деталь достоверная, потому что в обиходе принято ошибочно считать, будто Гоголь был темноволос; истинный цвет сейчас можно увидеть на перстне с частью волос писателя из коллекции Государственного Исторического музея) и, внимательно изучив, заметил вслух, что череп в соответствии со своим строением должен был принадлежать гениальному человеку. Затем его осторожно приняла на руки сама Мария Юрьевна (кстати, оба они – и врач, и историк – были в перчатках), пригладила волосы, подержала несколько времени и, не утерпев, заплакала. Охранявший порядок милиционер, мало посвященный в подробности происходившего, при виде этого посочувствовал: «Глядите-ка, вот вдова убивается!..» С тех пор М. Ю. Барановская получила в кругу друзей прозвище «мадам Гоголь».

Все эти детали (за исключением разве необычного положения рук) как будто бы не должны были стать почвой для возобновления старых или появления новых легенд и не могли вызвать непонятную лаконичность составленного при этом документа. Картина, однако, значительно меняется в рассказе другого свидетеля – Алексея Петровича Смирнова, известного археолога и

директора Гос. Исторического музея, подпись которого прямо предшествует руке Марии Юрьевны. Он вспоминал о том, что положение тела Гоголя в распечатанном гробу было вполне обыкновенным, за исключением одной, но очень неожиданной подробности – у скелета отсутствовала голова. Оттого-то, согласно А. П. Смирнову, и плакала Барановская, участвовавшая до того в нескольких вскрытиях погребений деятелей русской культуры (в том числе и в эксгумации Аксаковых и Веневитинова в Симоновом монастыре), и поэтому без особой сильной причины слез над этой именно могилой она проливать бы не стала.

Как ни невероятен такой вариант события, он также имеет немало подтверждений. Помимо обнаруженной статьи в «Литературной газете» с рассказом о разграблении захоронения Гоголя в 1929 г., встречаются указания на существование по этому поводу даже специальной переписки между директором Театрального музея А. А. Бахрушиным и директором Литературного музея В. Д. Бонч-Бруевичем. Она была вызвана будто бы тем, что к первому из них дважды (с перерывом в год) приходили незнакомые люди с недвумысленным предложением «продать голову Гоголя» (!). Возмущенный Бахрушин наотрез отказался вступать с ними в какие бы то ни было переговоры, но коллеге своему написал об этих оскорбительных «негоциях» и просил обратить особое внимание на охрану могил писателей. К сожалению, не удалось обнаружить документальных свидетельств названной переписки: в доступных нам московских архивохранилищах (ЦГАЛИ, Литературном музее, Гос. Центральном театральном музее им. А. А. Бахрушина, ГИМ и рукописном отделе ГБЛ) следов ее пока не нашлось. Оба известных деятеля науки действительно занимались охраной памятников на подвергавшихся перестройке и частичному упразднению московских кладбищах, и документы об этом дошли до нас – однако в них нет упоминаний о могиле Гоголя. Сле-

дует отметить также, что директор Театрального музея Алексей Александрович Бахрушин умер в 1929 г., почти за три года до возникновения дела о переносе праха Гоголя, но В. Д. Бонч-Бруевич переписывался и с другими членами семьи, работавшими в смежных областях гуманитарных наук – историком Сергеем Владимировичем, чл.-корр. Академии Наук СССР (1882–1950), Юрием Алексеевичем и др. Не исключена, впрочем, возможность и того, что если часть останков на самом деле пропала, то это могло иметь место еще в 1920-е гг., при жизни Алексея Александровича.

Не так давно нам удалось познакомиться с содержанием авторской записи происшествия 31 мая 1931 г., сделанного одним из известных литераторов и скрепленной его автографом (фамилия его названа выше в числе двенадцати лиц, подписавших акт, но, к сожалению, мы не вправе в настоящее время ее указать). Записка эта была передана Б. С. Земенкову, составителю изданной в четвертом выпуске «Трудов Музея истории и реконструкции Москвы» книги «Гоголь в Москве» (М., 1954), – но отражения в этой работе не получила. Она представляет собою машинопись примерно в десять страниц, озаглавлена «О перенесении могилы Гоголя» и снабжена на первом листе рукописным посвящением Б. С. Земенкову, а на последнем – подписью автора, сделанной красными чернилами. Первая половина содержит описание вскрытия захоронений Языкова и Хомяковых, во второй же части, непосредственно касающейся истории с Гоголем, говорится следующее.

Гроб Гоголя оказался на гораздо большей глубине, чем обычно. Раскопки, начатые с утра, были закончены уже в сумерки, и в то время, как раскрытие погребений Языкова и Хомяковых было автором сфотографировано, могилу Гоголя снять не удалось из-за надвинувшейся темноты (на следующий же день всё уже было убрано). Вначале рабочие-землекопы наткнулись на «склеп», сделанный с большой прочностью из кирпича и извест-

ки (что подтверждается статьей 1909 г. из «Исторического вестника». – В. Н.). Сквозь него никак не удавалось проникнуть, поэтому пришлось окопать его весь кругом до основания. Только к вечеру в одной из боковых сторон обнаружили «вход» и, наконец, через него извлекли дубовый гроб. Верхние доски гроба полусгнили, боковые сохранились хорошо, на них были даже остатки позумента с фольгой, металлические углы и ручки.

Внутри гроба скелет начинался с шейных позвонков – череп отсутствовал. Поверх останков был сюртук табачного цвета, под ним фрагменты нижнего белья с костяными пуговицами, башмаки с загнутыми кверху носками (это произошло оттого, что нитки, соединявшие куски кожи, перепрели, а носки, сжавшись, завернулись) и каблуками высотой 4-5 см. Глядя на высокие каблуки, автор записки решил, что Гоголь был небольшого роста.

Еще днем в слое земли над «склепом» был, впрочем, найден чей-то череп, но присутствовавшие специалисты определенно утверждали, что он принадлежит весьма молодому человеку и к Гоголю отношения не имеет. В конце повествователь сообщает, что «позволил себе взять на память часть сюртука», в которую переплел впоследствии собственный экземпляр первого издания «Мертвых душ»...

Судя по свидетельствам старых москвичей, в том числе ветеранов городского отделения Общества охраны памятников, версия об исчезнувшей голове довольно широко бытовала еще в 1930-е годы. Нам представляется также, что с ней может быть связан один из сюжетных ходов знаменитого романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» (пропажа из гроба головы Берлиоза), так как М. Булгаков, предпочитавший всем другим писателям именно Гоголя, не только занимался в это время сценической интерпретацией «Мертвых душ», но и вообще внимательнейшим образом изучал все, что касалось его великого предшественника.

Молва приписывает некоторым другим из числа поставивших подпись под «Актом» подтверждение о старинной легенде о том, что скелет был найден якобы лежащим на боку или даже перевернутым вниз лицом. Кроме того, продолжая линию вынуженного в качестве сувенира куска одежды в прошлое, обнаруживаем следующее свидетельство друга Гоголя гравера Иордана в письме к другому знакомому, художнику Александру Иванову, о таком обстоятельстве похорон в 1852 г.: «Он лежал в сюртуке... с лавровым венком на голове, который при закрытии гроба был снят... Каждый жаждал обогатить себя сим памятником»*. А современная история гласит, что не удовольствовавшись сюртуком, один из бывших при вскрытии на Даниловском кладбище прибрал отделившееся ребро, которое по приходе его домой обратилось в деревянное... И хотя все это пересказывается со слов несомненных очевидцев, нельзя не заметить, что чем далее, тем больше рассказы начинают походить скорее на вариации на темы гоголевских художественных произведений (например, «Заколдованного места»), нежели на реальные события.

И всё же предпринятые поиски оказались не без успеха. Нам удалось познакомиться с непосредственным очевидцем – это поныне здравствующий инженер-изобретатель и литературовед Сергей Михайлович Соловьев, живущий сейчас в Москве. Вышедшая в 1979 г. его книга «Изобразительные средства в творчестве Ф. М. Достоевского» получила широкое признание; занимается он также изучением наследия Пушкина, Гоголя и других писателей XIX столетия.

Сергей Михайлович в 1930-е гг. работал над проблемами, связанными с вакуумом, и был приглашен на вскрытие могил Даниловского монастыря в связи с тем, что гроб скончавшегося в Париже Ник. Рубинштейна был, как предполагалось, перед отправкой в Россию

* «Русская старина», 1902, кн. 3, с. 594.

герметически запаян и мог представлять интерес для исследований в этой области (предположение это оправдалось: тело музыканта, по словам С. М. Соловьева, было почти не тронуто тлением, но сразу после открытия в результате проникновения воздуха разрушилось, «опало» слоями прямо на глазах). Судя по воспоминаниям С. М. Соловьева, эксгумация происходила в теплый майский день; когда он с коллегами пришел на кладбище, могила Гоголя была уже разрыта. Под перемерзшим в сторону массивным памятником выкопали глубокую узкую яму, огороженную с боков досками. После извлечения из нее земли с известкой обнаружилось, что яма совершенно пуста: не было не только останков писателя, но даже и следов гроба. Тогда стали рыть траншею кругом, стараясь захватить пошире, в надежде на то, что, может быть, памятник постепенно сместился в сторону относительно погребения, – но и далеко вокруг ничего нового найдено не было. Кто-то из зрителей принялся ворошить кучи откинутого наверх при земляных работах грунта и в конце концов вытащил оттуда обломок человеческой челюсти. Это вызвало оживление среди подавленных непонятным отсутствием останков писателя очевидцев; фрагмент найденной кости вместе с кусками досок из ямы был связан веревкой и отправлен на экспертизу. Таким весьма необычным «исчезновением» праха и была обусловлена чрезвычайная немногословность протокола об эксгумации.

С. М. Соловьев сообщил также следующую интересную подробность: непосредственно из обложенной досками ямы наверх, к надгробию, вели две массивных полых трубки из красной меди, извлеченных при вскрытии погребения и оказавшихся, таким образом, главной находкой комиссии. Он лично держал их в руках и внимательно осматривал; трубки были толстостенные, с диаметром внутреннего отверстия около 3-4 сантиметров, посередине делали колено-изгиб. Теми из присут-

ствовавших, кто хорошо разбирался в технике, было высказано предположение, что предназначались они не просто для дыхания в случае, если уснувший летаргическим сном человек внезапно проснется под землей, но еще и для того, чтобы он смог дать о себе знать наверх, позвать на помощь, – большая толщина их стенок вызвана стремлением избежать поглощения звукового сигнала плотной массой почвы.

Оправдывая старинную поговорку, свидетельства расходятся между собою настолько серьезно, как могут расходиться лишь воспоминания очевидцев, и с уверенностью сказать, которое из них ближе всего к истине, исходя из одних сохранившихся фактов, чрезвычайно затруднительно. Но тут снова приходит на помощь данная человеку замечательная способность художественного провидения в творчестве, умеющем воскрешать картины давно ушедших времен, основываясь на, казалось бы, совсем «недоказательных» наблюдениях и соображениях. Например, на том, что рассматриваемые события полувековой давности обнаруживают символическое сходство «посмертной» судьбы Гоголя с судьбою земных останков того «сына человеческого», мысли о котором занимали писателя все его последние годы жизни: тут и плачущая у открытого гроба Мария, и необъяснимо пропавшее тело, и даже история с разобранной по рукам одеждой, приводящая на память необыкновенное по силе выражения скорби погребальное песнопение Великой Пятницы – «разделиша ризы моя себе и о одежде моей меташа жребий». И вот, связав всё это с прощальными словами Гоголя о лестнице, поэт Юрий Кузнецов во второй половине стихотворения о нем пишет:

Понабилась несметная сила
Между рук и подъятых волос.
Гоготали кувшинные рыла:
– Инда правдой кичился ты, нос!

– Нет его: показался от страха!
Раскопаем могилу лжеца! –
Сотряслись осквернители праха,
Не увидя в гробу мертвеца.

Был ли Гоголь? Была ли Россия?
Белый Миргород? Сон наяву?
– Позовите великого Вия! –
Словно вихорь размел трын-траву.

Темный топот все ближе и ближе,
Замер Вий у святого креста.
– Поднимите мне веки: не вижу!
Вот он! – рявкнул...
Мои́ла пуста.

Только лестница ввысь поднималась
В заходящих лучах... А по ней
Где-то сверху еще осыпалась
Пыль земная с незримых ступней.

* *
*

Однако, прежде чем попытаться взойти вслед за героем стихотворения хотя бы немного вверх по этой лестнице, предстоит еще опуститься на одну ступень в обратном направлении. Когда уже начинает казаться, что некуда более погружаться глубже, что достигнуто дно, – вдруг открывается под ним, ниже смерти и могилы, другая, бездоннейшая бездна. Она создана и наполнена усилиями тех «звезд», что были увлечены в сияющие высоты безоглядной свободы самовыражения и не заметили, что источавшийся в этом сверкании свет постепенно из смешанного становился всё более темным, приведя их наконец в самый низ мировой онтоло-

гии. В качестве «ключа» для проникновения в эти пропасти можно опять воспользоваться стихотворением Юрия Кузнецова: ведь, согласно автокомментарию поэта, строка «Нет его: показался от страха!» – относится к мрачной концепции «несуществования Гоголя», выработанной В. В. Розановым. И едва ли не подобных ему «испытателей крайнего» имеет в виду древний пророческий текст, когда говорит: «И я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладязя бездны».

В начале нашего века, в пору весьма широкой раскованности, душевной эйфории, легкого парения многих умов «на ветрах всех культур», некоторых из них настойчиво «заносило» в одном определенном направлении. С удивительной беззаботностью, как будто действительно полученной «от лукавого», они щедро одаривали многое из того, что попадало в их кругозор, крайне серьезными в предыдущие два тысячелетия определениями типа «бесовщина», «сатанизм», «чёрт» и т. д. С этими понятиями, обозначавшими в прошлом абсолютное зло, вдруг стало приятно заигрывать; при том зачастую материалом выбиралось наследие безответных поневоле умерших. Вряд ли кто-либо пострадал от такого обращения больше, чем Гоголь.

Так, широкую известность приобрела книга Д. С. Мережковского, в первом издании носившая вполне откровенное название «Гоголь и чёрт». Пользуясь природным даром выявлять во всем окружающем полярные антиномии и ловко сцепляя тезисы посредством излюбленных «горгиевых фигур» (напр.: во второй период своего творчества Гоголь переметнулся от «бездушности плотскости» – к «бесплотной духовности», а друзья и близкие попытались вернуть его обратно – «из бесплотной духовности в бездушную плотскость»), автор ее представлял жизнь, творчество и верования писателя как постоянную борьбу с «нечистым», непрестанно воплощавшимся через его художнический дар и тотчас же принимавшимся мучить родителя разно-

образными пытками. Приводя слова гоголевского письма Шевыреву от 27 апр. 1847 г.: «Уже с давних пор я только и хлопочу о том, чтобы после моего сочинения насмеялся в волю человек над чёртом», Мережковский описывает затем трагическую историю последних дней его жизни (попыток грубого насильственного лечения и проч.) и ничтоже сумняшеся делает вывод о том, что в итоге вышло как раз обратное: не человек пад чёртом, а чёрт над Гоголем насмеялся. «Горьким словом моим посмеюся», – цитирует он прославленное изречение с гробового камня и так комментирует его на свой лад: «Увы, теперь мы знаем, кто над кем посмеялся»*.

До окончательного развенчания оставался лишь шаг или полшага, которые и сделал В. В. Розанов, объявивший во всеуслышание, что чёртом-то был сам Гоголь. В этом отношении, как доведение до крайнего невнимания и неуважения к писателю, эволюция его точки зрения на Гоголя представляет значительный интерес.

Прообразовательным для всей этой «истории нелюбви» кажется то, как, приблизившись однажды вплотную к двум основополагающим образам поэтики Гоголя и даже назвав их рядом, Розанов сумел бесчувственно пройти мимо и не заметил глубокого смысла ни в символе ключа, ни в теме лестницы духовного восхождения. Это пришло в напечатанном им в журнале «Мир искусства» статье «Гоголь», где один за другим следуют два таких рассуждения: «При бесспорной искренности его творений, к которым мы так мало имеем окончательного «ключа», остается думать, что Гоголь принадлежал к тем редким мятущимся и странным натурам, которые и сами от себя не имеют «ключа»... Он даже о своих творениях объяснял, что писание их составляло *ступени его внутренней с собою борьбы*

* Мережковский Д. С. Полное собрание сочинений. Изд. Т-ва И. Д. Сытина, М., 1914. Т. 15, с. 308.

(выделено нами. – В. Н.), «улучшений себя». Он вечно кается – непонятно в чем».

Вопреки сложившемуся мнению о совершенной непосредственности и доходящей часто до непристойности амбивалентной искренности Розанова, взгляд его на Гоголя характеризуется с редким постоянством одной общей направленностью – подспудным отвращением, выросшим постепенно в открытую ненависть. Однако, в отличие от первых лет его писательства, пришедшихся на конец XIX в., когда подобные чувства приходилось до поры скрывать, в начале нового столетия затаенная неприязнь выговаривается в печати все более откровенно, покуда не доходит до полного проклятия, которое Розанов даже сумел опубликовать, пользуясь трагической разрухой войны, в самом центре исторического христианства России – Сергиевом Посаде.

Основные этапы этого «заголения и обнажения» выражены в его произведениях чисто по-розановски афористично. Вот та же статья «Гоголь» (1900-е годы): «Гоголь был, конечно, болен нравственными заболеваниями, от чрезмерности душевных глубин своих. Его трясло, как деревню на вулкане. Он – колдун с филантропическим образом мыслей, .. в нем был легион бесов – как сказано о ком-то (! – В. Н.) в Евангелии».

Книга «Опавшие листья» (короб первый, 1913 г.) полна гораздо более прозрачных мыслей: «...передо мной вырастает из земли главная тайна Гоголя. Он был весь именно... торжественный... «архиерей» мертвечины, произносивший такие и этакие «словечки» своего великого, но *по содержанию пустого и бессмысленного мастерства*. Я не решусь удержаться (в этой краткой фразе – весь стиль культуры того времени. – В. Н.) выговорить последнее слово: идиот».

И далее, все ниже и страшнее: «...его глупая, пошлая голова... Фу, дьявол! Оборотень проклятый!.. Никогда более страшного человека... *подобия* человеческого... не приходило на нашу землю».

Рисуя картину развития русской литературы, Розанов представляет Гоголя уже не просто чёртом или идиотом, а самым возглавителем Зла – сатаной: «Пушкин и Лермонтов... Море русское – гладко как стекло... Тихая, покойная, глубокая ночь... Дьявол вдруг помешал палочкой дно: и со дна пошли токи мутных, болотных пузырьков... Это пришел Гоголь. За Гоголем всё. Тоска. Недоумение. Злоба, много злобы».

На склоне дней, насмерть оскорбленный разверзшейся в стране революцией, Розанов в издававшемся им по типу «Дневника писателя» Ф. М. Достоевского журнальчике «Апокалипсис нашего времени» (С.-Пос., 1917 – 1918) виновником и духовным отцом того, что представлялось ему катастрофой, снова объявляет Гоголя. О нем он пишет в первом же выпуске (15 ноября 1917): «Прав этот бес Гоголь», бранью на него наполняет и письма того же времени к Э. Ф. Голлербаху:

«Рыло. Дьявол.

Гоголь. Леший». (26 окт. 1918)

И, наконец, в письме к П. Б. Струве (нач. 1919 г.) незадолго до кончины делает поразительное признание: «Я всю жизнь боролся и ненавижу Гоголя: и в 62 года думаю: «ты победил, ужасный хохол». Нет, он увидел русскую душеньку в ее „преисподнем содержании“». Здесь посредством литературной аллюзии совершенно окончательное самоопределение в мире нравственных ценностей. Неустанно проклиная Гоголя за все мыслимые и немыслимые грехи, в особенности же за смех, Розанов в то же время в течение десятилетий упорно вел подкоп под личность Христа как раз за отсутствие оногo – и вот в итоге соединил обе линии словами, сказанными на смертном одре. Возвращая тему «последнего слова», они представляют собою пародийное переложение прощальной фразы умирающего римского императора Юлиана-Отступника (благодаря успеху трилогии Д. С. Мережковского «Христос и Антихрист», первый том

которой посвящен истории Юлиана, фраза эта получила широкую известность среди читающей публики начала века). Предпринявший отчаянную попытку остановить всемирное распространение христианства, последний император-язычник потерпел сокрушительное поражение и, погибая от полученной на поле брани раны, воскликнул: «Ты победил, Галилеянин!..»

На теме смеха стоит остановиться подробнее в связи с тем, что Гоголь, в начале своего творческого пути относившийся к нему с искренней легкостью, с годами все большее внимание уделял размышлениям об обоюдоострой силе этого оружия и в ряде произведений, в основном генетически сопряженных с «Ревизором», выработал учение о двух видах смеха – смехе светлом, очистительном и целительном для души человека, и о пустом светском насмешничестве, обличающем праздную пустоту жизни «бонмотиста» и его окружения; Розанов же и здесь, доводя до предела переворачивание гоголевских положений с ног на голову, сумел не только предельно ясно выразить абсолютно противоположную позицию по отношению к смеху, но и показать, какое направление мысли Гоголя казалось его противникам наиболее неприемлемым. И когда в упоминавшейся уже статье из журнала «Мир искусства» Розанов пишет: «Только такой ведун мог... смешаться и в слезах и в смехе, удивляя друзей и оставляя недоумение в потомстве», – то соображение это, очевидно неверное в приложении к великому писателю, неожиданно оказывается точным определением для своего собственного автора. Оно передает его ошибку с «последней прямо-той»: сам Розанов, ослепленный отсутствием любви, смешался в гоголевских слезах и смехе – и смешался весьма трагическим образом.

Осуждение смеха было одним из главных его обвинений, начиная с книги «Легенда о Великом инквизиторе Ф. Достоевского», которая содержит вместе с

заглавной работой две статьи о Гоголе. В этой книге Розанов утверждает: «В самом существе смеха есть что-то недостойное». В кого именно метили эти слова, он позже сам указал во втором коробе «Опавших листьев»: «Мамочка не выносила Гоголя и говорила своим твердым и коротким: – Ненавижу... Я ненавижу Гоголя потому, что он смеется».

Я это внес в оценку Гоголя («Легенда об инквизиторе»), согласившись с нею, что смеяться – вообще недостойная вещь, что смех есть низшая категория человеческой души».

В «Апокалипсисе нашего времени» делается еще более невероятное заключение: «Опомнитесь: несмотря на побои, как они (речь идет об евреях. – В. Н.) часто любят русских и жалеют их пороки, и никогда «по-Гоголевски» не издеваются над ними. Над пороком нельзя смеяться, это – преступно, зверски».

Обращаясь к нелюбезному его сердцу – в основном, по причине невнимания к «проблемам пола» – образу Христа, Розанов стремится задеть, поколебать его нравственный авторитет как раз с противных позиций – за «отсутствие» радости и веселия. И тут снова шаг за шагом выясняется, что внутри видимой алогичности и непоследовательности Розанова лежала единая направляющая; он был необыкновенно прилежен в стараниях разложить те высокие идеалы, которые питали духовность и благородную сдержанность русской культуры в предшествовавшие века. Для дискредитации наиболее ярких ее представителей, воочию являвших как бы «лицо» этой духовности, им и использовались любые, хотя бы по внешности и взаимоисключающие средства. Рядом с обличением Гоголя в «зверском издевательстве» над русским народом посредством смеха, Христос осуждается за то, что он «никогда не смеялся». А потом обвинение сводит воедино гоголевскую проблематику с «христианской»: «Я не помню, улыбался ли Христос...

Неужели не очевидно, что весь смех Гоголя был преступен в нем, как в христианине?!»*

Неувязка логическая Розанова тут не беспокоит, потому что поругание преследует чисто практическую цель. Ниспровержение Гоголя нужно для того, чтобы подняться на его «поверженный кумир» как на ступеньку, дотянуться до «степеней высочайших» и – «трахнуть по иконе»! Поэтому и применен абсурдный по видимости ход: «бичевание» гоголевского смеха обращается в бичевание Христа за якобы «отрицание» смеха и пола как главных радостей жизни, приведшее к водворению на земле «царства бессеменных святых», «людей лунного света», поправших красоту бытия. «Ни Гоголь, ни вообще литература, как *игра... улыбка, грация*, как цветок бытия человеческого, совсем не совместимы с... «Сладчайшим Иисусом», – утверждает в статье из журнала «Русская мысль». А концовка ее гласит: «Очевидно, что Иисус – это... «Тот Свет», поборающий «этот», наш, и уже поборовший... Но это не в том смысле, что чему-то надо улучшаться, а просто, – что всему надо уничтожиться».

Как и вообще вся почти розановская критика, направленные против Гоголя выступления являются в большой степени употреблением жанра исповеди с целью самоутверждения, пропаганды собственной точки зрения; анализа или хотя бы внимательного знакомства с текстами отвергаемых авторов в них нет. В противном случае достаточно было бы, не прибегая даже к «симфониям» или каким-либо иным специальным справочным пособиям, обратиться к известной Нагорной проповеди, в которой одна из еще более знаменитых «заповедей блаженств», согласно ап. Луке, прямо возвещает: «Блажени плачущие ныне, яко возсмеетесь» (6, 21; ср. также цитирующееся Гоголем в

* Проблемы нового религиозного сознания. – «Русская мысль», 1908, кн. 1, сс. 31 – 42.

«Размышлении...» окончание «заповедей блаженств» по Матфею 5, 12: «Радуйтесь и веселитесь...» – т. 8, с. 79). Уже одна эта фраза устанавливает не только значение и ценность смеха в мировом процессе, но определяет и соотношение его с плачем, их коренную взаимосвязанность. Оправдывая смех как таковой, она дает ключ к пониманию замечательного феномена гоголевского «плачущего смеха» – видимого смеха сквозь невидимые миру слезы. Подобно «грибному дождю» в природе, льющему при сияющем солнце, это направленный сразу в оба конца мироздания – вниз и вверх – взгляд человека, стоящего на лестнице жизни между небом и землей, о чем прекрасно сказал Державин строками лучшей из своих од:

Частица целой я вселенной
Поставлен, мнится мне, в почтенной
Средине естества я той,
Где кончил тварей Ты телесных,
Где начал Ты духов небесных
И цель существ связал всех мной.

Взглянуть на развитие этой темы в ее диалектике помогает творчество одного из самых проницательных психологов среди философов-аскетов первых веков нашей эры – Исаака Сирина, с произведениями которого Гоголь впервые познакомился в Оптиной пустыни*. В его «Словах» большое внимание уделено разработке проблем духовной радости и веселия, причем рассматриваются они в качестве пути постепенного совершенствования человеческой души, возрастания ее в добродетелях. Начало такому движению полагается, когда «сердце доброе с радостью источает слезы в молитве...» Затем, используя сравнение трудящегося на ниве нравственного возрождения, возделывая поле своего сердца,

* Матвеев П. А. Гоголь в Оптиной пустыни. – «Русская старина», 1903, февраль, с. 304.

с пахарем-земледельцем, Исаак Сирин пишет: «Добрая земля увеселяет своего делателя плодоношением даже до ста».

Пределом стремлений, целью внутренней работы является такое состояние, когда «нет ни печали, ни воздыхания! Напротив того, каждый по данной ему благодати веселится внутренно в своей мере». Веселие достигается не одними избранными и не в далеком будущем, — оно возможно и доступно сейчас, когда обращение к миру «Верховной красоты» способно «озарять ум светом веселия и утешения». Помогает же этому «всегдашнее погружение в писания» подвигоположников жизни, которое «исполняет душу непостижимым удивлением и... веселием»*.

Метафорическое описание восхождения по «степеням», т. е. ступеням, к подлинному веселью «чистого смеха» невольно возвращает нас к символу лестницы: «Если у подвижника не будет рассеяния и возмущения делами телесными и попечением о преходящем, но соблюдет он себя от мира и бдительно охранит себя, то ум его в краткое время воспарит как бы на крыльях, и взыдет... в веселии своем... и по своей удобоподвижности и легкости плавает в ведении, превышающем человеческую мысль». Поэтому-то смех и должен быть правильно исследован диалектически, в ряде образов возрастания его светлой, очищающей силы. Отталкиваясь от «подземного», отрицательного по своему влиянию на душу скоморошества глумотворцев-просмешников, как звали их на Руси, и оставляя внизу розановское хихиканье об «исподнем», пирамида его значений выходит на поверхность, где, меняя знак на положительный, восстанавливает свое достоинство в горьком смехе гонимого пророка, о котором гласит надпись на гоголевском надгробии, и поднимается далее все выше и выше, к ве-

* Творения аввы Исаака Сирина. Изд. 3-е, исправленное. С.-Пос., 1911, сс. 303, 308, 311, 342, 357.

селью и радости созерцающих град «вечной красоты» подвижников добра и правды на земле. Этапы этого восхождения соотносятся друг с другом подобно степеням другой, подробно разработанной в философии искусства триады «личина–лицо–лик»; а самое короткое руководство к действию содержится в недавно обнаруженной новой рукописи Гоголя «Правило жития в мире»*, говорящей, что: «...есть верховное веселие, а потому мы и должны быть также светлы и веселы. Веселы именно тогда, когда все воздвигается противу нас, чтобы нас смутить и опечалить».

...Критика смеха не зря оказалась у Розанова совмещенной и с критикой Гоголя по «вопросам пола»: «гениальный обыватель», как удачно нарекли его коллеги-философы, настойчиво снижал образ писателя, стараясь довести его до полного «разоблачения» и окунуть в то, что теперь принято иносказательно называть бахтинским термином «материально-телесный низ». Эти экскурсы являются парафразой на литературном языке широко распространенного в среде «простых обывателей» стремления низвести всякого художника до своего уровня; а когда, как это произошло в случае с Гоголем, тому все же удастся, поднявшись ступенью выше, твердо на ней укрепиться, это вызывает усиленное желание, в качестве некоторого рода компенсации, уравновесить несомненную (к сожалению...) гениальность «чужака» в одной области – представлением о чрезвычайной, сразу двумя порядками ниже, порочности, ущербности его в другой.

Собрав бытующие среди «образованщины» сплетни о личной жизни Гоголя, Розанов и здесь пошел гораздо дальше всех их, вместе взятых. Его не удовлетворили уже толки, «объяснявшие» целомудренный

* Архив ЛОИИ, № 271/212г. Опубликовано в извлечениях Б. Бессоновым в ст. «Новые автографы русских писателей». – «Русская литература», 1965, № 3, с. 198.

обиход жизни писателя психическими отклонениями, производными из девственности или аутоэротизма; он счел себя вправе («не решился удержаться») высказать вслух куда более жуткое обвинение в... сублимированной некрофилии. «Интересна половая загадка Гоголя, – пишет он во втором коробе «Опавших листьев». – Ни в коем случае она не заключена в онанизме, как все (! – В. Н.) предполагают... Но в чем? Он, бесспорно, «не знал женщины», т. е. у него не было физиологического аппетита к ней. Что же было? Поразительная яркость кисти везде, где он говорит о покойниках... Я и думаю, что половая тайна Гоголя находилась где-то тут, в «прекрасном упокойном мире»... Поразительно, что ведь ни одного мужского покойника он не описал... Он вывел целый пансион покойниц – и не старух (ни одной), а всё молоденьких и хорошеньких». Вслед за таким пассажем, где все возрастающее хамство обратно пропорционально проявляемым познаниям, Розанов торопится еще раз повторить свое утверждение об отсутствии у Гоголя подлинной веры: «Кстати, я как-то не умею представить себе, чтобы Гоголь «перекрестился». Путешествовать в Палестину – да, быть ханжой – да. Но перекреститься не мог. И просто смешно бы вышло. «Гоголь крестится» – словно медведь в менюэте...» Все это завершается сокрушительно невежественным рассуждением о якобы отсутствующих у Гоголя описаниях животных, после чего, под всем отрывком, помещаются обстоятельства и место его создания: «Когда болел живот. В саду».

Как видно, безобразная вседозволенность необходимо соседствует с невниманием к источникам, полным игнорированием «неудобных» фактов. Между тем, истина никогда в конечном итоге поругаема не бывает: как будто нарочно на случай будущего невероятного распространения самых грубых, оскорбительных для человека методов «проникновения в душу» типа психоанализа (современники Гоголя все же дальше диагноза

«религиозной мании» не пошли) – одно из воспоминаний о кончине писателя дает авторитетное опровержение такого рода слухов. Оно уже приводилось в качестве примечания – например, в книгах А. И. Кирпичникова*, а позже М. Зоценко, причем у Кирпичникова намеренно подчеркивалось: свидетельство это «опровергает известную чрезвычайно распространенную сплетню». Итак, диагноз пользовавшего Гоголя во время предсмертной болезни доктора А. Т. Тарасенкова в той части, которая касается интимной жизни и которая, не будь уничижающих память великого человека толков, осталась бы достоянием специалистов, определенно отрицает предположения о «доведшей до умственного расстройства девственности» и т. д.: «Сношений с женщинами он давно не имел и сам признавался, что не чувствовал в том потребности и никогда не ощущал от этого особого удовольствия; онаниии тоже не был подвержен»**.

Тем не менее, некоторые авторы – в особенности это касается последователей учения З. Фрейда – проходили мимо недвусмысленных показаний, лишаящих почвы догадки о каких-либо умственных расстройствах у Гоголя, тем более относящихся к области сексопатологии. Впрочем, упорное старание «переименовать» тяготение писателя к чистоте в различные категории извращений, возводя непристойность в систему, говорит само за себя. Так, в начале 1920-х годов, когда учение это усиленно изучалось в нашей стране, издатель и распространитель его проф. И. Д. Ермаков, обратившись к русской литературе, в первую очередь занялся анализом творчества Гоголя; и вот что он увидел, например, в повести «Нос»: «Дешифруя по возможности до

* Кирпичников А. И. Сомнения и противоречия в биографии Гоголя. (Комментарий к биографической канве). – «Известия ОРЯС», т. VII, кн. I, СПб., 1902, с. 229.

** Тарасенков А. Т. Указ. соч., с. 20.

конца повесть Гоголя «Нос», мы должны сказать, что в основе ее лежит страх кастрации, соответствующий вытесненному из сознания желанию иметь громадный орган и возможность неограниченных эротических наслаждений»*. Дальнейшие поиски в этом роде обличаются собственными названиями: «Шизофреническая психика Гоголя»** , «Психиатрический анализ Яновского» (1935 г. – «подсудимый» раскололся и выдал свою настоящую фамилию...)** или – одна из недавних работ – книга американца С. Карлинского «Сексуальный лабиринт Николая Гоголя»**** .

Если все приведенные доказательства абсурдности такого подхода к истории русской литературы и, в частности, к Гоголю не способны остановить волну диффамации, яростно плещущую у подножия гоголевского памятника, то уж, по крайней мере, они наглядно показывают, что разрытая могила – не самая глубокая пропасть из тех, которые существуют на земле. Обернув «горгиеву фигуру» Д. С. Мережковского на его собственные и сродные им рассуждения, можно, пожалуй, сказать, что ежели чёрт действительно над кем-то посмеялся, то никак не над Гоголем, настойчиво напомиавшим собратьям по перу о тяжкой ответственности за каждое печатное слово, – а как раз над теми из авторов, кто наградил сам себя коварным правом публиковать всякое умозрительное или речевое коленце, показавшееся ловко пущенным. Уступив отцу всех грехов, гордости, «судьи» Гоголя заносились в осуждении его до

*Ермаков И. Д. Очерки по анализу творчества Н. В. Гоголя. («Психологическая и психоаналитическая библиотека. Серия по художественному творчеству. Вып. XVI»). М.-Пг., [1922], с. 210. В той же серии был запланирован выход книги И. Д. Ермакова «Анализ „Мертвых душ“ Гоголя» (вып. XXXVIII).

**Сегалин Г. В. (Свердловск). Шизофреническая психика Гоголя. – «Клинический архив гениальности и одаренности», т. 2, вып. 4, 1926.

***Глинский С. С. Психиатрический анализ Яновского. М., 1935.

****Karlinsky, Simon. The sexual labyrinth of Nikolai Gogol. – Cambridge, Mass. – London, England, 1976.

высот поистине хлестаковских вверх по лестнице, ведущей вниз: путая ориентиры, они то, подобно ему, проговариваются: «Как взбежишь по лестнице к себе на четвертый этаж...», – то, заметив оплошность, торопятся тут же во исправление вдесятеро солгать: «Что ж я вру – я и позабыл, что живу в бельэтаже. У меня одна лестница стоит...», – и т. д.

Удивительно, что Гоголь и это сумел предвидеть: в следующих словах «Авторской исповеди» явственно слышится обращение не только к современникам, но и к тем из потомства, о ком говорится: «Но, на чем основываясь, мог судить меня решительно тот, кто не почувствовал вовсе, что он стоит выше меня?.. объявлять решительно помешавшимся, сошедшим с ума, называть лжецом и обманщиком, надевшим личину набожности, приписывать подлые и низкие цели – это такого рода обвинения, каких я бы не в силах был взвести даже на отъявленного мерзавца, который заклеимен клеймом всеобщего презрения. Мне кажется, что прежде, чем произносить такие обвинения, следовало бы хоть сколько-нибудь содрогнуться душою и подумать о том, каково было бы нам самим, если бы такие обвинения обрушились на нас публично, в виду всего света» (т. 8, с. 53).

И поэтому легко понять читателя, который, заглянув в приоткрытые здесь пропасти явного и тайного падения, возопит гоголевскими словами, помня наше обещание показать в конце концов и дорогу наверх: «Лестницу! поскорее, давай лестницу!..»

* *
*

Лестницу эту можно увидеть в трех неоконченных, обрывающихся многоточиями произведениях писателя, служащих словно бы вехами, указывающими на сокровища

венное движение не дошедшей до нас ПРОЩАЛЬНОЙ ПОВЕСТИ. В них сливаются воедино две основных темы позднего творчества Гоголя: незавершенные тексты, где мысль автора подымается все выше по ступеням духовного роста к вершинам художественного воплощения заботы о сохранении и упрочении отечества, используют именно символ города для возведения черт конкретной действительности до уровня универсального, космического знака.

Другим свойством лестницы этих отрывков является то, что возрастание степени обобщения происходит в порядке, обратном течению времени, и возвращает от предсмертных строк, через последние слова «Мертвых душ», – к «Ревизору».

Остановимся сначала на трех последних письменных текстах Гоголя. Это коротенькие записки на небольших листках бумаги, найденные вокруг одра умирающего писателя, которые были начертаны необычно крупным, отчетливым почерком.

Первая из них – «Аще не будете малы, яко дети, не внидете в Царствие Небесное» – есть почти дословное воспроизведение 3-го стиха 18 гл. Евангелия от Матфея, содержащего ответ Иисуса на вопрос Своих учеников о том, кто больше в Царстве Небесном: «Аминь глаголю вам, аще не обратитесь, и будете яко дети, не внидете в Царство Небесное». Сравнение их показывает, что Гоголь, приводя стих по памяти, изменил несколько слов так, что акцент с обращения («аще не обратитесь») сместился в сторону сокрушения сердца, смирения – «аще не будете малы».

Тот же покаянный мотив звучит и во второй записке, переходящей с церковнославянского языка на русский: «Помилуй меня грешного, прости, Господи! Свяжи вновь сатану таинственной силою неисповедимого креста!» – Здесь сама жизнь как будто доиграла сцену, с описания которой молодой 22-летний сочинитель начинал свое творчество: это история о том, как

кузнец Вакула из «Ночи перед Рождеством», «лучший живописец» в околке, умеющий весело разрисовать что угодно – от мисок и забора до образа евангелиста Луки, но более всего прославившийся картиной, «в которой изобразил он святого Петра в день Страшного суда, с ключами в руках, изгоняющего из ада злого духа», – поймав ночью нечистого, «сотворил крест и чёрт сделался так тих, как ягненок». Увидев, что кузнецова рука вознеслась для второго знамения невыносимого символа, лукавый с отчаянием взмолился: «Не клади на меня страшного креста!» И Вакула соглашается, под условием, что чёрт перенесет его в Петербург. Теперь умирающий в столице автор просит связать «перевозчика» вновь...

Последняя записка, самая загадочная, оставлена на полуслове: «Как поступить, чтобы признательно, благодарно и вечно помнить в сердце моем полученный урок? И страшна История Всех (так в тексте: оба слова с прописной буквы. – В. Н.) событий Евангелии...»* (т. 12, с. 191). Оборванное предложение публиковалось редко, при этом даже в научных изданиях в нем постоянно допускают ошибки: вместо «страшна история» пишут, например, «страшнее истории» (письма Гоголя в изд. Вл. Шенрока) или вообще продолжают, к тому же, по всей видимости, неверно, недописанное слово, превращая его в «евангельских» (каталог рукописей Гоголя, хранящихся в ГБЛ), и т. д. Верхняя часть листа, содержащего этот текст, залита чернилами, а внизу сделан рисунок; однако предположения и догадки о том, что же именно изображено на нем, разнятся одно от другого весьма радикально. Так, публикатор московского архива Гоголя Г. Георгиевский считает, что нарисован поднятый верх коляски с ездоком в ней**. А С. С. Глин-

* В оригинале последняя буква – i.

** Георгиевский Г., Ромодановская А. Рукописи Н. В. Гоголя в ГБЛ. Каталог. М., 1940, с. 46.

ский увидел здесь «профильный набросок, видимо, полицейской фигуры (с портупеей), выглядывающей из-под навеса*». Наконец, И. П. Золотусский, в книге которого рисунок впервые воспроизведен большим тиражом, сделавшим его доступным широким кругам читателей, толкует изображение следующим образом: «Книга захлопывает человека с лицом, напоминающим лицо Гоголя. Те же длинные волосы и тот же профиль с длинным носом, хотя всё набросано нечетко, несколькими скрещивающимися линиями. Что хотел сказать он этими словами и этим рисунком? Жизнь кончена, и это его судьба – быть захлопнутым обложкой недописанной книги, книги, которую теперь уже никто не прочтет, книги, забравшей его жизнь и отпустившей его душу на свободу?»**. В довершение загадок, связанных с этой запиской, оказывается, что автограф ее сохранился не в одном, а в двух(!) экземплярах. Естественно предположить, что один из них должен быть копией, но пока так и не удалось убедительно доказать – который: тот, что находится ныне в рукописном отделе Библиотеки им. Ленина в Москве, – или другой, принадлежавший ранее Хрептовичу-Бутеневу, а сейчас входящий в собрание архива Института русской литературы (Пушкинский дом) в Ленинграде***. Поэтому, по традиции, при публикации предсмертных записок она воспроизводится дважды****.

Заглянуть хотя бы краем глаза в нарисованную Гоголем на последней записке книгу, представить, в чем состоял таинственный урок, который писатель в самом сердце своем хотел запечатлеть «признательно, благо-

* ЦГАЛИ, фонд 439, оп. 1, ед. хр. 663.

** Золотусский И. П. Гоголь. М., 1979, с. 502.

*** Описание рукописей и изобразительных материалов Пушкинского дома. Т. 1. Гоголь Н. В. М.-Л., 1951, с. 9.

**** Письма Н. В. Гоголя, изданные В. И. Шенроком. Т. 4. СПб., 1901, с. 427.

дарно и вечно», помогают слова «Авторской исповеди»: «Я никакой новой науки не брался проповедать. Как ученик, кое в чем успевший больше другого, я хотел только открыть другим, как полегче выучивать уроки, которые даются нам наилучшим Учителем. Я думал, что, по прочтении книги, мне будет сказано: „Благодарю тебя, собрат“, а не „Благодарю тебя, учитель“» (т. 8, с. 52).

Тема урока вновь близко подводит к теме внутреннего устройства личности, совершенствования ее духовного мира: «Все более или менее согласились называть нынешнее время переходным. Все, более чем когда-либо прежде, ныне чувствуют, что мир в дороге, а не у пристани, даже и не на ночлеге, не на временной станции, или отдыхе. Все чего-то ищет, ищет уже не вне, а внутри себя. Вопросы нравственные взяли перевес... Везде обнаруживается более или менее мысль о внутреннем строении: все ждут какого-то более стройнейшего порядка. Мысль о строении, как себя, так и других, делается общею» (т. 8, с. 41).

Это перекидывает мостик на следующую ступень – к тому типическому образу русского города, который объединяет идею внутреннего строения человеческой души с обобщенным портретом всей России как великого Града, начатым Гоголем в продолжении «Мертвых душ». Такое соединение необходимо привело к усилению патриотических мотивов, в особенности заметному по той заботе о благоустройстве русского города и русского человека, какой дышат сохранившиеся страницы окончания второго тома поэмы. Насколько насущным казалось писателю указать соотечественникам на неотложность этой общей заботы, наглядно показывает трагизм, с которым призыв обрывается на середине речи многоточием, невольным напоминающим камешки, стремительно сыплющиеся из-под ног как будто бы застывшей над самым краем бездны знаменитой гоголевской тройки.

В конце последней дошедшей до нас главы речь идет о том, как генерал-губернатор – персонаж, пользующийся явным сочувствием автора – в смущении от открывшихся в его губернии беспорядков собирается отправиться в главенствующий город государства – Петербург. Перед отъездом его посещает предприниматель-доброхот Муразов, предлагающий способ, с помощью которого можно попытаться исправить далеко зашедшее неустройство: «Ваше сиятельство... соберите их всех... и представьте им ваше собственное положение... и спросите у них совета: что бы из них каждый сделал на вашем положении?»

Генерал-губернатор сомневается в положительном исходе такого предприятия: «– Да вы думаете, им будут доступны движения благороднейшие, чем каверзничать и наживаться? Поверьте, они надо мной посмеются». Возникновение здесь темы «низкого смеха» рядом с развитым уже прежде в «Развязке „Ревизора“» сопоставлением реальных распущенных чиновников с буйством человеческих страстей, снова подчеркивает высокую степень символизации, свойственную всей образной системе позднего творчества Гоголя.

Муразов между тем возражает: «Не думаю-с, ваше сиятельство. У человека, даже и у того, кто похуже других, все-таки чувство справедливо. Разве уж жид какой-нибудь, а не русский...» (с некоторых пор публикаторами перед словом «человека» вставляется отсутствующее в рукописи слово «русского», что превращает онтологическое противопоставление света и тьмы – через понятия «крещеного» и «нехристя» – в юдофобскую грубость. – В. Н.).

Князь напоследок соглашается и накануне отбытия в столицу собирает «всех чиновников до едина», производя сбор действующих лиц, подобный тому, какой происходит в заключительной сцене «Ревизора»: «В большом зале генерал-губернаторского дома собралось все чиновное сословие города, начиная от губернатора

до титулярного советника: правители канцелярий и дел, советники, ассессоры, Кислоедов, Краснонос, Самосвитов, не бравшие, бравшие, кривившие душой, полукривившие и вовсе не кривившие».

Перед этим собором всех городских деятелей, образующим целокупность души всякого человека, начальствующий над ними генерал-губернатор объявляет, что он выяснил причины и сокровенные цели запутавшегося в своих непорядках города и теперь готовит неизбежное наказание, да такое, когда судить будут не «формальным следованием по бумагам», – а «военным быстрым судом». Впечатление, произведенное этим неожиданным раскрытием правды, приближается по степени потрясения и вызываемого им ужаса к эффекту «Немой сцены», когда возвещается требование всем предстать пред истинным Ревизором: «Все стояло, потупив глаза в землю. Многие были бледны... Содрогание невольно пробежало по всем лицам».

Но тут, отступая на шаг назад по сравнению с необратимым возмездием, провозглашенным в конце пьесы, князь обращается к чиновникам с призывом к опаматованию, к тому, чтобы во имя «доброй своей земли» откинуть раздор и начать дружно трудиться над возрождением отечества – покуда не сделалось слишком поздно. Последние слова его – а вместе с тем и последние слова известных нам «Мертвых душ», – предупреждая о надвигающейся катастрофе, оставляют все же и надежду на спасение: «Как русский, как связанный с вами единокровным родством, одной и той же кровью, я теперь обращаюсь к вам. Я обращаюсь к тем из вас, кто имеет понятие какое-нибудь о том, что такое благородство мыслей. Я приглашаю вспомнить долг, который на всяком месте предстоит человеку. Я приглашаю рассмотреть ближе свой долг и обязанность земной своей должности, потому что это уже нам всем темно представляется, и мы едва.....» (т. 6, сс. 150-153).

«Нам всем темно... мы едва...», – определения страшные и чрезвычайно обязывающие, в которых слышится уже дух пророка Иеремии. Тревога о разрушающемся внутреннем граде людей, грозящем принести немалые бедствия всей России, обратила взор Гоголя на главную причину неустройства – пошатнувшуюся совесть, руководящую личностью так же, как городничий начальствует над всем в реальном городе. И поэтому, наверное, написав полный подготовительный текст «Предупреждения для тех, которые хотели бы сыграть, как следует, 'Ревизора'», автор, перебеливая набросанное начисто, остановился на характеристике «городничего» и принялся гораздо глубже, чем это было сделано в черновике, очерчивать его образ, возвышающийся постепенно до драматического символа потянувшегося в своих душевных страстях, а вместе с тем и в окружающем мире русского человека. Этот нелицеприятный, но справедливый анализ душевных бед, снова оставленный на полуслове, и представляется третьей ступенью того движения вверх, пути нравственного самоочищения, начало которого просматривается в идее ПРОЩАЛЬНОЙ ПОВЕСТИ. И опять Гоголь, обличая, не забывает указать – пусть даже предельно сузившуюся – возможность выздоровления. «Русский человек, – раскрывает он внутреннее ядро личности «городничего», – который не то, чтобы был изверг, но в котором извратилось понятие правды, который стал весь ложь, уже даже и сам того не замечая. Поэтому он и резонерствует, степенен и даже важен и даже не без одушевления скажет иное слово. Может быть, он даже один из тех людей, который, если бы увидел, что все вокруг его стали честны, что честность – требов...» (т. 11, сс. 184-185).

Слова эти горьки, порою кажется – горьки до чрезмерности, но такая чрезмерность несомненно вызвана чрезмерною же любовью писателя к «сородичам»; и уж, по крайней мере, тут не возникает сомнений в трезвости

отношения Гоголя к современному ему обществу. Напротив, оценивая себя с помощью «настоящего Ревизора», невольно приходишь к выводу о том, что гоголевская иеремиада не устарела со временем и до сих пор сохраняет свою мощную силу и значение. Причем безотрадной всего звучит предположение о том, что городничий не раньше исправится, чем увидит, что все другие вокруг него сделались честны. Свидетельство о столь глубоком душевном ущербе должно было послужить родом встряски, холодного душа на головы терявших коренные духовные устои людей. После подобного потрясения, сокрушения сердца и начинается подлинная, долгая борьба за светлое воскресение отечества и соотечественников, за то, чтобы каждый на предназначенном ему месте вспомнил «долг и обязанность земной своей должности».

Подъем национальной жизни не есть, однако, дурная бесконечность беспрестанного утомительного стремления к недостижимому; наоборот, он представляет собою бесконечность актуальную, положительное единство во множестве, направленном к конкретной цели и ясному идеалу, символически явленному в образе града «Верховной вечной красоты». Используя понятийную систему своего времени, об этом писал еще Иоанн Лествичник, который, как сказано в предисловии к его книге, не бесконечную, но «во образ тридцати лет Христова совершеннолетия гадательно изобразил лестницу, состоящую из равночисленных тридцати степеней духовного совершенства». Ясно выраженным убеждением в существовании у этой лестницы предела заканчивалось и видение Иакова: «И убоялся и сказал: как страшно сие место! это не что иное, как... врата небесные». Ключевое понятие врат, дверей, наглядно воплощающих возможность достижения вечной красоты и вхождения в нее, дает объяснение также тем словам, на которых остановилось неоконченное «Духовное завещание» Гоголя в последней редакции. Умиравший

писатель, следуя любимому им Державину, переходит в торжественном случае обратно с русского на «высокий словенский» язык: «Будьте не мертвые, а живые души. Нет другой двери кроме указанной Иисусом Христом, и всяк прелазай иначе есть тать и разбойник»*.

Завершающее предложение «Духовной» – парадраз начала 10 главы Евангелия от Иоанна, где рассказывается о том, как Иисус обратился к окружившим его ученикам и фарисеям с притчей: «Аминь, аминь глаголю вам, не входяй дверьми во двор овчий, но прелазя инуде, той тать есть и разбойник, а входяй дверьми пастырь есть овцам». Слушатели не понимают смысл притчи, и тогда Иисус толкует ее метафорическое значение так: «Аминь, аминь глаголю вам, яко Аз есмь дверь овцам. Все, елико их прииде прежде мене, татие суть и разбойницы; но не послушаша их овцы. Аз есмь дверь: Мною аще кто внидет, спасется: и внидет и изыдет, и пажить обрящет».

Завещание писателя утверждает обетование воскресения, восстания душ из мертвых живыми. Гоголь ушел, дверь осталась распахнутой, но весьма сдержанный в оценках старший современник его С. Т. Аксаков записывает сразу после смерти: «Я признаю Гоголя святым, не определяя значения этого слова. Это истинный мученик высокой мысли, мученик нашего времени и в то же время мученик христианства»**. Более всего доказывает, показывает правоту его слов судьба двух формообразующих для русской литературы произведений – «Ревизора» и «Мертвых душ». Выработав при создании первого из них «ключ» – лестницу внутреннего совершенствования – и найдя верный символ, средоточие стремлений к этому совершенствованию – Град вечной

* Письма Н. В. Гоголя, изд. В. И. Шенроком, т. 4. СПб., 1901, с. 424.

** Аксаков С. Т. История моего знакомства с Гоголем. М., 1960, с. 222 (письмо К. С. и И. С. Аксаковым от 23 февраля 1852).

красоты, Гоголь приступил во втором к началу пути, пустившись сам вперед по дороге, ступенями поднимающейся к этому верховному идеалу. Потерпев поражение в попытке воочию изобразить в триединстве частей поэмы историю возрождения России, поражение, по всей видимости, уничтожающее, завершившееся настоящим самосожжением, огненным жертвоприношением почти уже готового второго тома, Гоголь посредством тягчайшего падения, унижения и гибели добился абсолютной победы, завоевав мир своею любовью и поразив с ее помощью даже самоё смерть. Распятие обернулось воскресением, которое остается последующим поколениям соотечественникам, «читателей в потомстве», по слову Е. Боратынского, заветом продолжить движение восхождения по открытому пути. Как сказано в последнем из «Четырех писем к разным лицам по поводу „Мертвых душ“»: «Затем сожжен второй том «Мертвых душ», что так было нужно. *Не оживет, аще не умрет...* Нужно прежде умереть, для того, чтобы воскреснуть... Все было сожжено, и притом в ту минуту, когда, видя перед собою смерть, мне очень хотелось оставить после себя хоть что-нибудь, обо мне лучше напоминающее... Как только пламя унесло последние листы моей книги, ее содержание вдруг воскреснуло в очищенном и светлом виде, подобно фениксу из костра...»

1982 г.

«РУССКАЯ МЫСЛЬ»

Крупнейшая русская еженедельная газета на Западе
Главный редактор Ирина Иловайская-Альберти
Редакция и контора: 217 rue Fb. St. Honoré, 75008 Paris

Начиная с 1 января 1984 года, цены меняются вследствие изменения почтовых тарифов.

Стоимость подписки во французских франках:

Обычной почтой

	3 мес.	6 мес.	12 мес.
Франция	74	138	265
Все остальные страны	107	294	397

Воздушной почтой

Европейские страны,			
Северная Африка	119	228	445
США и Латинская Америка,			
Южная Африка	146	281	530
Австралия, Япония, Китай	150	290	570
Израиль, Иран	125	240	468

Давнишним подписчикам по-прежнему делается скидка.
В цену входит выходящее 6 раз в год приложение
«Обозрение», аналитический журнал «Р. М.» под
редакцией А. М. Некрича.

Просим писать прямо на адрес редакции и приложить банковский или почтовый чек, либо сделать почтовый перевод.

Литературный архив

Леонид Чертков

ИЗ ЗАБЫТОЙ РУССКОЙ ПОЭЗИИ XX ВЕКА

В настоящее время то и дело появляются новые публикации, казалось бы, навсегда утерянных произведений, с запозданием входящих в историю русской литературы, с которой так безжалостно обошелся и обходится наш век.

Наряду с широко известными именами существуют в ней и более скромные, внесшие, однако, свой, в чем-то неповторимый вклад. Ниже впервые публикуются несколько стихотворений, принадлежащих таким забытым поэтам, близким, однако, друг другу своей трагической судьбой.

Анна Дмитриевна Радлова (урожденная Дармолатова, 1891 – 1949) известна главным образом своими переводами Шекспира, своей яркостью составившими заметную страницу в истории русского шекспировского театра. Однако она была и поэтессой, внесшей в русскую женскую поэзию своеобразную резкую ноту экспрессией и драматизмом своего свободного стиха. Ей принадлежат три сборника стихов («Соты», 1918; «Корабли», 1920; «Крылатый гость», 1922), а также пьеса «Богородицын корабль» (1923) и оставшаяся в рукописи «Повесть о Татариновой» (1929). Обе последние вещи имеют редкую в русской поэзии мистическую тональность и отражают интерес Радловой к религиозному сектантству XVIII – XIX вв. Еще сильнее звучит мистическая нота в публикуемом ниже стихотворении, относящемся к 1924 году.

Когда с неба ночь сметет зарю,
В ночную душу твою смотрю.
Вижу поле и тихий дом,
Недвижные тополя стоят кругом.
И легчайшие не летят облака,
Свинцовым слитком лежит река –
Совсем как на нашей далекой земле,
Только ветер живой не дышит, не кружит
в этом мшистом тепле.

Ни луча, ни тени – персефонины мутная сталь
И мертвое солнце – большая спираль.
Слышу голос в молочной, в фиалковой мгле:
– Помнишь, я любил тебя на земле,
Я умер и жду тебя давно,
Только коснуться тебя не дано.
Бедной плоти здесь нет, мой нежный друг,
Обнимать не умеет прозрачный дух.
Всё истлело – глаза и губы и слух.
Зачем живет любовь – мой бессмертный недуг?

В дальнейшем Радлова стихи писала редко. В начале войны она с мужем, известным режиссером Сергеем Радловым, и руководившимся им театром оказалась на оккупированной территории. После войны Радловы очутились в лагере. Сергей Радлов, которому удалось из него выйти, работал впоследствии в русских театрах Латвии. Анна же Радлова в лагере умерла. Вот, очевидно, одно из ее последних стихотворений:

Слова, слова, летучие, как пламень,
Слова – полынь, слова – сладчайший мед.
Слова тяжелые, как твой могильный камень
Над сердцем, что уж больше не поет.
Плетутся дни походкою неспешной,
Стремглав летят безумные года.
И прорастает камень травкой вешней,
И полыхает пламенем беда.

Но в сердце памятливом, в тесном склепе,
Что под моей рукой дрожит едва,
Как серый, нежный и летучий пепел,
Бессмертные, живут одни слова.

лето 1942 – декабрь 1946 гг.

Видным переводчиком был и Вильгельм Александрович Зоргенфрей (1882 – 1938). Ему принадлежали образцовые переводы из Гёте, Гейне, Ф. Грильпарцера, Ф. Геббеля, Стендаля, П. Клоделя и многих других. Но он был также и талантливым, хотя и мало написавшим поэтом. Его единственный поэтический сборник «Страстная суббота» (1922) был посвящен им памяти Александра Блока, с которым он был литературно и дружески связан («меланхолический друг Блока», как вспомнит о нем Н. Оцуп в книге «Современники»). В свое время обратило на себя общее внимание его стихотворение «Над Невой» (1920) с нередко цитируемыми в разных мемуарах строчками:

- Что сегодня, гражданин,
на обед?
- Прикреплялись, гражданин,
или нет?
- Я сегодня, гражданин,
плохо спал,
Душу я на керосин
обменял.

Вот его стихотворение, варьирующее тему пушкинской «Пиковой дамы»:

ГЕРМАН

От утреннего режущего света
В глазах темно. И вижу наяву
Такое же удушливое лето,
Такую же пустынную Неву.

Канал, решетка, ветхие колонны.
Вот здесь, сюда! Мне этот дом знаком.
Но вдруг опять: трамвай идет бессонный
И очередь стоит за молоком.

Нехорошо. Без крова, без работы,
Без родины. И время мне судья,
Но подожди, ты рано сводишь счета,
Старуха – жизнь, и тайну вырву я!

Я отойду в скупую тень карниза
И стану там у пыльного окна.
Поспешный шаг и темный локон. Лиза!
Смеется. – Нет, не Лиза. Не она.

И снова жар, и снова бег трамвая,
И хрип толпы, и выплески газет.
Я буду ждать, таясь и изнывая,
Я буду ждать. «А если тайны нет?».

15. VI. 1929

Еще одно имя – Сергей Евгеньевич Нельдихен (1891 – 1942) – самый нехарактерный из членов гумилевского «Цеха поэтом», писавший свободным рваным стихом, близкий кое в чем футуристам и обэриутам. Ему принадлежат сборники стихов «Ось» (1919), «Органное многоголосье» (1921), поэмороман «Праздник» (1923 – 24) и др. Подобно двум предыдущим поэтам он также умер в заключении. В альманахе «Neue Russische Literatur. Бронзовый век» (Зальцбург, 1978) мною опубликована подборка его иронических стихов из цикла «Гражданское мужество». Здесь помещается одно из поздних стихотворений, выдержанное в псевдоклассическом духе; отмеченное его своеобразной философией.

ПЛОДЫ

Нет, не уныние сплошное –
Осенний желтоватый зной

Плодовой лаковой порою
Мир с ласковою кожурой.

Спектр подобрать по семицветам
Для глаза смелого простор.
Не составляется ль при этом
И лучший вкусовой подбор?

Иль признак одного отлива,
Ну скажем, цвет лиловый взять –
Так свёкла, баклажан и слива
Себя позволят сочетать.

1934

Далее – оригинальный прозаик Сергей Сергеевич Заяицкий (1893–1930), происходивший из казаков с реки Яик, автор острых сатирических повестей, перекликавшихся с прозой М. Булгакова. Одна из них, «Баклажаны», была недавно переиздана на Западе. Стоит вспомнить еще «Жизнеописание Степана Андреевича Лосоσιнова» и блестящую пародию на авантюрный роман, изданную под псевдонимом Пьер Дюмель. Однако он писал также и стихи, которые почти не публиковал и которые своим мрачноватым юмором подчас напоминали поэзию Ходасевича, с которым он был дружен.

Смерть знала улицу, а номер,
Должно быть, спутала с другим.
И вот я всё еще не помер,
И людям всё кажусь живым.

И только ворон очень старый,
Турецкой грезивший войной,
Когда я шел по тротуару,
Со вкусом каркнул надо мной.

—

Есть в жизни роковые дни
Такой тоски и униженья,
Что долго нам мрачат они
Сладчайших радостей мгновенья.

И нам, хоть годы протекли,
Иное жутко вспомнить горе –
Так огибают журавли
Давно исчезнувшее море.

Николай Макарович Олейников (1898 – 1938) – блестящий мастер эпиграмм и мадригалов, напоминающих легкостью и непринужденностью стихи на случай Языкова, автор поэтических трактатов о людях-насекомых, словно вышедших из дореволюционных мультфильмов Владислава Старевича. Однако чувствовавшему в себе натурфилософа, всерьез занимавшемуся математикой (теория простых чисел), Олейникову было тесно в роли присяжного остроумца в ленинградском Детгизе, патронировавшемся женой Зиновьева. Когда вслед за Заболоцким Хармс пробовал в 30-е годы перейти к серьезной лирике (много раз переделывавшееся стихотворение «Утро», например), Олейников набрасывал так и не законченную мифологически-эротическую поэму «Венера и Вулкан»... Ни в чем, видимо, более не отразилось его казацкое происхождение, жизнь среди донских степей, где он провел всё же большую часть своей короткой жизни, как в одном из поздних отрывков:

Но капля за каплею льется,
Крыльцо отсырело давно,
Водою пустого колодца
Тебя напоить не дано.

Подставь свои щеки под воду,
Напейся воды из ведра,

Садися в телегу, подводу,
Скачи по полям до утра.

Известно, что его, участника гражданской войны и единственного члена партии среди «обэриутов», оттолкнула коллективизация, от участия в которой он сумел отказаться. Ходили по рукам такие его строки, не попавшие в оба изданных на Западе сборника:

Колхозное движение,
О как его люблю!
Испытываю жжение,
Но всё-таки терплю*.

И переходящие из уст в уста незадолго до ареста, связанного с его участием в оппозиции, следующие пессимистические слова:

Из трубы ползет какой-то дым,
Скрылось солнце за горой,
Роет яму подхалим
Во тьме ночной.
Может, выйдет у него, а может, нет –
Все равно на свете счастья нет.

* Вполне напоминавшие народное тех же лет:

Жить стало лучше,
Жить стало веселей,
Шея стала тоньше,
Но зато длинней.

Условия подписки на журнал «КОНТИНЕНТ»

На 1 год — 40 н. м.; на 6 месяцев — 20 н. м.

Цена одного номера — 12 н. м.

Пересылка за счет подписчика.

Подписка может быть оформлена в генеральном представительстве «Континента» по адресу:

**A. Neimanis · Buchvertrieb
8000 München 40 · Bauerstraße 28 · Germany**

а также у корреспондентов журнала (адреса на второй странице обложки) или у представителей «Ассоциации друзей «Континента»:

**США: Вост. побережье — Э. Штейн (E. Sztein),
594 Chestnut Ridge Road
Orange, CT. 06477, USA**

**Генеральное представительство
«КОНТИНЕНТА»**

**A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB
8000 München 40 · Bauerstr. 28 · Germany**

Колонка редактора

ОКОЛОЛИТЕРАТУРНАЯ БЕСОВЩИНА

Не так давно, в одном из новоиспеченных журналов русского Зарубежья на глаза мне попалась весьма дельная статья с целым рядом метких и справедливых замечаний в адрес новейшей эмиграции, под одним из которых я готов подписаться, что называется, двумя руками.

В новой эмиграции, отмечает автор, – «весьма ощутима утрата не только исторической, но и биографической памяти. Каждый третий «избравший свободу» журналист считает себя лишь на этом одном основании большим пушкинистом, чем все советские пушкинисты, лучшим знатоком русского языка, чем все советские языковеды (искусствоведы, литературоведы) и пр. Такие авторы позволяют себе ругать кого угодно, не разбирая ни научных заслуг, ни литературной судьбы и действительной ценности работ попавшего под руку «подцензурного автора». Кажется, ни одна национальная эмиграция не проявляет «антиностальгии» в такой болезненной форме».

В самом деле, обозревая эмигрантскую критику и ее литературоведение (впрочем, не только новейшие!), только диву даешься, с какой лихостью и с каким апломбом люди весьма скромных литературных дарований, а то и вовсе без оных, сыплют банальностями из советских хрестоматий, раздают направо и налево безапелляционные оценки и приговоры, ревизуют сложившийся десятилетиями (и какими десятилетиями!) литературный процесс в России и навязывают читателю свой личный табель о литературных рангах в качестве самого что ни есть универсального.

К примеру, один уважаемый профессор – литературовед, начинавший еще в серебряном веке и с советской

психологией не имеющий как будто ничего общего, не стесняется начинать свои статьи с сакраментальной для нас – бывших подсоветских – фразы: «Книги этой я не читал, но, тем не менее, должен сказать...». Другой, уже из новых, хотя и рангом пониже и талантом пожиже первого, считая себя выдающимся пушкинистом, с самоуверенностью золотого медалиста средней школы доверительно сообщает читателю, что Пушкина убило «царское самодержавие». Третий, не уступая второму ни в уровне, ни в наглости, проводит параллель между конформизмом Константина Симонова и ...Державина с Тютчевым (представь, дорогой читатель, такую же параллель, проведенную каким-либо современным немецким ученым между конформизмом Ганса Йоста* и Гёте с Гегелем!).

В критике же и того хлеще. Начинаящий стихотворец (из поклонников героя соцтруда Валентина Катаева), едва-едва сложивший два десятка сносных стишков, уже считает себя вправе поставить имя великой Ахматовой в ряд с Грибачевым и Софроновым, похоронившим, по его авторитетному мнению, всю русскую поэзию. Другая столь же выдающаяся «ценительница», наконец-то открыв для себя величие таких «титанов» мировой литературы, как Ильф и Петров, походя определяет бессмертного Осипа Мандельштама в «поэты иудейские», в каких сам себя он, о чем свидетельствуют реальные факты его биографии, никогда не числил, ибо сущность творца, как известно любому школьнику, определяется не национальным происхождением, а принадлежностью к культуре. В противном случае, пришлось бы заново переписать историю чуть ли не всей мировой литературы новейших времен от Генриха Гейне, Джозефа Конрада и Достоевского до Эжена Йонеско и Артура Миллера включительно. Я уже не говорю о наших современных соотечественни-

* Ганс Йост – знаменитый нацистский писатель.

ках, вроде Булата Окуджавы, Фазиля Искандера, Беллы Ахмадулиной, Семена Липкина, Инны Лиснянской и еще многих и многих.

Впрочем, и этот феномен уже нашел свое объяснение в «открытии» очередного знатока современной литературы из бывших дантистов, заявившего по радио «Свобода» (в передаче, предназначенной, заметьте, для русскоязычного слушателя!), что русские империалисты украли у украинского народа Гоголя, Булгакова и Ахматову. Прости, дорогой читатель, за банальность, но это было бы смешно, если б не было так грустно.

Разумеется, русская литература не перестанет существовать и оставаться одной из самых значительных литератур в истории только оттого, что несколько исторических неудачников попытаются выместить на ней свою творческую несостоятельность, но, к сожалению, околотературная эта бесовщина весьма способствует разрушительной деятельности тех официальных и неофициальных сил, которые крайне заинтересованы в нашей культурной изоляции в современном мире.

РУССКИЕ КНИГИ

- КЛАССИКИ
- САМИЗДАТ
- ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ
- РЕДКИЕ ПЕРЕИЗДАНИЯ
- СЛАВИСТИКА

Представительство журнала

«КОНТИНЕНТ»

На складе более 3000 наименований книг
Вышел из печати наш новый большой каталог 1985/86.
Высылаем бесплатно по первому требованию заказчика.

Subscription inquiries
should be addressed to



A. Neimanis · Buchvertrieb

8 München 40 Bauerstr. 28 · Germany

Наша почта

Редакции журнала «Континент»

Стокгольм 28. 11. 1984

Уважаемый Владимир Емельянович!

Пользуясь случаем, я хотела поблагодарить редакцию за внимание к моей книге.

Я позволяю себе послать Вам ответ и надеюсь, что он может быть опубликован в ближайшем номере Вашего журнала.

С уважением

Диса Хостад

Если бы редакция «Континента» смогла прочесть мою книгу «Элита уезжает на Запад», она могла бы убедиться в том, что, обращаясь к «современным левым либералам», я очень серьезно отношусь к опыту русских эмигрантов.

Мне будет, конечно, интересно услышать отклики, я надеюсь – и критические – после того, как книга появится в переводе на язык, доступный редакции «Континента», и не только ей.

Взгляд постороннего на русскую эмиграцию, естественно, отличается от взгляда русского, но, как мне кажется, может быть интересен и русскому человеку.

Но, по высокому мнению редакции «Континента», непростительно «рядовой шведской журналистке» посягать на иерархию в мире русской интеллигенции.

Задача критика во всем мире – оценивать произведения культуры, анализировать идеи, независимо от

ранга автора. И на Западе случается критику дрогнуть под тяжестью великого имени. Но для настоящего писателя лакейная критика просто неинтересна.

Ценить справедливо – очень трудно, но необходимо. Критик на Западе не обязан подчиниться «одной-единственной идеологии», чего, может быть, не хватает рецензенту Ирине Эльконин-Юханссон и редакции «Континента».

На Западе выходит достаточно много русских газет и журналов, которые могут «правильно» осветить ситуацию советских эмигрантов. Я же писала книгу для западного читателя, и в ней – мое представление о духовном и культурном богатстве третьей эмиграции.

Вслед за редакцией «Континента» хотела еще раз процитировать Г. Померанца: «Почему-то без односторонности, без субъективности, без этих искажений выходит и менее объективно, не получается какая-то бывшая, сверхобъективная правда».

Я хотела, чтобы в моей книге каждый сказал свою собственную правду.

Диса Хостад

ОТ РЕДАКЦИИ: В своем комментарии к рецензии Ирины Эльконин-Юханссон мы писали:

«Д. Хостад так определяет личную позицию в этой полемике: «Померанц не толкует добро и зло однозначно и не усматривает в явлении Советской власти одно лишь зло, с которым надо бороться. Он вообще не считает, что в мире существует абсолютное зло или абсолютное добро. Эта точка зрения мне близка».

Что ж, позиция, заслуживающая всяческого одобрения. Позволительно, правда, спросить уважаемого автора: почему же тогда тот же Померанц последователен в этой позиции только по отношению к Советской власти, а вот по отношению к любому своему оппоненту

он выступает с яростью типичного марксистского начетчика? И почему сама Д. Хостад и ее «либеральные» единомышленники на Западе ратуют за «сбалансированность» подхода к политическим явлениям лишь тогда, когда речь заходит о коммунистических странах, но как только начинается разговор о Чили или Южной Африке, они моментально превращаются в отчаянных манихейстов?

Вместо прямого ответа на заданные вопросы, Вы занялись довольно сомнительной демагогией по поводу некоей «единой идеологии». Демагогией, явно заимствованной у наших эмигрантских «либералов» с Лубянки, вот уже в течение ряда лет пытающихся навязать нам свои сыскные представления о терпимости и демократии, определяемой ими лапидарной формулой всякого большевизма: «Кто не с нами, тот против нас!».

Обвиняя «Континент» в несвойственных ему грехах, Вам не следовало бы забывать, что в его редколлегию входят виднейшие демократы современной России и Восточной Европы (от великого ученого-гуманиста, лауреата Нобелевской премии мира Андрея Сахарова до бывшего вице-президента Югославии Милована Джиласа), отбывшие за свои демократические убеждения в тюрьмах, лагерях, психушках и ссылках в общей сложности *около ста лет*. И не Вам бы их поучать, а Вам бы у них поучиться подлинной демократичности.

К тому же, не мы расставляем отметки и определяем, «кто есть кто» в шведской культуре, а Вы пытаетесь делать это по отношению к русской, сопоставляя, как мы писали, несопоставимое и сравнивая несравнимое.

Уверяем Вас, что если бы нам когда-нибудь (не дай Бог!) пришлось писать о шведской эмигрантской культуре, то, при всем своем высоком уважении к Вашим профессиональным достоинствам, мы бы не взяли на себя смелости поставить Ваше имя сразу следом за Ингмаром Бергманом, как это делаете Вы по отношению к именам, ставшим уже в России историческими, и связы-

вая эти имена с именами бывших комсомольских работников, подвизающихся сегодня на безбрежной ниве западной советологии.

К счастью для демократии, эти Ваши публицистические вольности не имеют к ней ровно никакого отношения, а являются лишь лукавой подменой понятий или (это в лучшем случае!) просто-напросто банальным нигилизмом.

В заключение нам хотелось бы напомнить Вам одно, видимо, давно забытое Вами правило всякой подлинной демократии: умеете высказывать горькие истины, учитесь также и мужественно выслушивать их.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «КОНТИНЕНТ»

В 41-м номере «КОНТИНЕНТА» появилось письмо бывшего подпольного партработника, а сейчас беспартийного – «видавшего виды» (!), в котором говорится, что в 38-м номере журнала он «прочел интересную корреспонденцию Иосифа Ицкова «Одна из первых жертв Сталина» и... «очень был доволен, что узнал подробности из жизни Аллилуевой».

После обязательных в таких случаях реверансов неизвестный автор пишет: «В день похорон Н. Аллилуевой я был (жил) в Москве в общежитии напротив храма Христа Спасителя... вышел на улицу перед домом, посмотрел на похороны... и то, что я никогда не забуду, было, что увидел лично Сталина, который шел за гробом», а поскольку в моей корреспонденции отрицается присутствие Сталина в похоронном шествии, письмо заканчивается словами: «Этот факт бросает для меня (!) тень на достоверность всей заметки И. Ицкова» (ничего не скажешь: богатый русский язык).

Я не собираюсь вступать в полемику с неизвестным лицом, скрывающим от читателей свою фамилию (сам по себе факт, который в комментариях не нуждается): не подлежит сомнению, что письмо сфабриковано вовсе не «в одной из стран Восточной Европы», где якобы, по сообщению редакции, живет его автор, а в другом месте с *явно лукавыми* целями, чтобы сбить с толку непосвященных читателей...

Итак, шел ли Сталин за гробом Н. Аллилуевой или не шел – вот в чем вопрос.

Обратимся по этому поводу к такому источнику, как воспоминания дочери Сталина – Светланы Аллилуевой: «Он (Сталин) был потрясен... И когда пришел прощаться на гражданскую панихиду, то, подойдя на минуту к гробу, вдруг оттолкнул его от себя руками и, повернувшись, вышел и *на похороны не пошел* (подчеркнуто мною. – И. И.). Хоронили маму друзья, близкие, шагал за гробом ее крестный – дядя Авель Енукидзе. Отец был выведен из равновесия надолго. *Он ни разу не посетил ее могилу на Новодевичьем* (подчеркнуто мною. – И. И.). Он не мог. Он считал, что мама ушла как его личный недруг» (С. Аллилуева. «Двадцать писем к другу», 1967, стр. 108).

После выхода в свет книги С. Аллилуевой прошло *семнадцать лет*, и никто, в том числе и «видавший виды» злополучный автор не оспаривали ее воспоминаний (кстати сказать, в эти дни западные радиостанции передают их в эфир), а нынче «не заглянув в святцы, да бух в колокол».

Следует, пожалуй, заметить, что Сталин шел за гробом Ленина из Колонного зала Дома Союзов на Красную площадь 27. 1. 1924 года и за гробом Дзержинского по тому же маршруту 23. 1. 1926 года, а на похороны других деятелей, как правило, выходил из Никольских ворот Кремля (ныне закрытых) и присоединялся к похоронным процессиям.

Таким образом, неуклюжая попытка изобразить Сталина таким добреньким семьянином, переживавшим безвременный уход из жизни своей жены, провалилась...

С уважением,

Иосиф Ицков

ОТ РЕДАКЦИИ: Еще раз подтверждаем, что нам известны фамилия и адрес автора, живущего в тоталитарной стране и просившего не ставить его подпись. Автор – не русский, и ничего удивительного, что его русский язык иногда хромает.

Глубокоуважаемый Владимир Емельянович!

Начну, пожалуй, с самого приятного: с поздравления с необыкновенно яркой, меткой и удачной статьей Мстислава Ростроповича «О перетаскивании трупов...». Поздравляю Вас, и в Вашем лице автора. Его статья – еще одно подтверждение тезису, что если Бог кого-то и награждает талантом, то делает это щедро и во многих направлениях. Известность М. Ростроповича как выдающегося, уникального, редкого музыканта, дирижера и педагога настолько повсеместна, что и без моего частного читательского и слушательского мнения это общеизвестно, но тем более приятно поздравить его с блестящей журналистской удачей.

А теперь хочу перейти к другой заметке, которая тоже обратила на себя внимание. Речь пойдет, я боюсь, уже в несколько минорном тоне. Я имею в виду статью Томаша Мянвича о выставке работ А. А. Зиновьева-художника в Мюнхене. С самого начала хочу отметить, что выставка эта имела громадный успех, значительно перекрывающий успех многих художников-профессионалов (не писателей). В этой галерее (Stuck-Villa, Prinz-

regentenstrasse 60, München 80) выставлялись работы такого художника-непрофессионала, как Феллини, что, по-моему, уже характеризует уровень галереи, значительность выставки и доказательство «неизвестности» Зиновьева как художника.

Что касается собственно русского перевода этой статьи с польского, хочу заметить, что польским языком я не владею ни в какой мере, поэтому могла произвести сравнение двух переводов статьи Т. Мянвича – немецкого, опубликованного в журнале «Criterion», No 86 (ноябрь – декабрь 1984), и русского – опубликованного в № 42 Вашего журнала.

Даже самое поверхностное сравнение этих двух переводов позволяет сразу же выделить многочисленные несовпадения, на которые можно было бы не обращать внимания, если бы не последние 5 строчек на стр. 286 журнала «Континент». Утверждение Мянвича (или неточности перевода?) о «попытках Зиновьева оправдать Сталина и найти «объективные обоснования» для сталинского террора» (см. «Континент», № 42, стр. 286) вызывает у меня самый сильный и возмущенный протест. Во-первых, это по меньшей мере необъективно, неэтично и просто-напросто нечестно, т. к. Александр Александрович с юности был антисталинистом и многое выстрадал на этом пути. Он преследовался за свою *откровенную и открытую* антисталинистскую деятельность уже в 1939 году, т. е. тогда, когда многих из нынешних критиков, аналитиков, специалистов *post factum* просто еще не было на свете. Во-вторых, его стремление найти научное объяснение феномена Сталина и сталинизма не является их оправданием. Прокурор, анализирующий и восстанавливающий картину преступления, *не оправдывает* криминальное действие, а именно выясняет причины и источники его, и в конце концов выносит *приговор* содеянному.

А. А. Зиновьев обвиняет сталинизм, Сталина и всю породившую их систему не путем обычной брани в их

адрес, а путем анализа их исторической и социальной сущности, что является, конечно же, более страшным и оскорбительным для советской системы. Нет ничего убийственнее для этой системы, чем беспощадный и объективный ее анализ, чем отношение к ней как к существу на предметном столике ученого.

В-третьих, на самой же этой выставке было представлено более чем предостаточно картин и карикатур А. А. Зиновьева, с абсолютной очевидностью продемонстрировавших его отношение к власти предрежащим, начиная с Ленина и кончая Брежневым, и к Сталину не в самую последнюю очередь в том числе.

Шероховатости и неточности перевода, как мне кажется, можно было бы объяснить двойко: или непрофессиональностью перевода (что было бы странно и досадно для Вашего журнала) или откровенно недружелюбным отношением переводчика, который а priori должен оставаться нейтральным, беспартийным, коли берется называть и считать себя переводчиком. Личное мнение, конечно же, может и должен иметь каждый, и переводчик – в том числе, но *за пределами* материала, ему доверенного.

И что тоже хотелось бы заметить, что статья была написана о Зиновьеве-художнике, а не о Зиновьеве-писателе.

Но если уж зашла речь о том, какой «неизвестный», «окончательно несформировавшийся» художник Зиновьев, то меня искренно удивило отсутствие соответствующей критики о нем, как о плохом музыканте, несформировавшемся космонавте или о ветеринаре с тяжелой техникой.

Ну что же, в борьбе, как говорится, все средства хороши. Если человека по каким-то соображениям нельзя убить утюгом, то это с лихвой и «с походом» наверстывается тысячью ядовитых иголок и укусов, куда законным образом внесли свою лепту и вышеупомянутые пресловутые 5 строчек со стр. 286.

Много раз творчество Александра Зиновьева сравнивали с творчеством таких глыб, как Свифт, Гомер, Бальзак. Смог ли бы Свифт – Гулливер-великан – разорвать и освободиться от миллионов опутывавших его лиллипутовых липких ниточек, живи он в наше время, твори он в наши дни, оставайся он самим собой, говори он постоянно, неподкупно и всегда то, что он думает, что чувствует, что считает жизненно важным сказать, окажись он в изгнании за антибританскую активность?

Что за хитроумнейшее и злейшее сплетение анонимных обстоятельств, которое, как гигантская, волосатая, дурно пахнущая лапа, захватывает жизненное и творческое пространство вокруг Александра Зиновьева?

Мы прекрасно знаем на своем жизненном опыте, что это такое, когда тебя выживают из твоего собственного дома, когда каждый твой шаг, каждый твой поступок сопровождается «клеветой ядовитой», злобой кипящей, доносами и ненавистью...

Добились, выжили с Родины, обошедшейся со своим сыном, как и со многими другими выдающимися ее детьми, – нужно ли перечислять их имена?! С трудом, с проблемами мы нашли свое место здесь, на Западе. И что же?

Все сначала!

Когда Зиновьев мешает своим существованием, своими мыслями, своим поведением и творчеством советской власти – это понятно. Гнать, гнать подальше, чтобы потерялся, исчез, завыл бы от тоски по отвергнувшей его Родине, перестал бы жить и работать. А он жив! А он активен, во много крат активнее, чем 10 лет тому назад, перед публикацией его первой литературной книги, имея за плечами уже десятки книг и сотни статей по математической логике и философии, имея уже учеников-профессоров. А он жив и трудится, создает свои книги, продолжает работать как ученый,

пишет замечательные стихи и картины, занимается журналистикой.

И вот здесь, на Западе, появляется это, нам давно, до ностальгической боли знакомое, серое, универсальное существо – существо по имени «коллективно выработанная установка», цель которого – убрать, убить все живое, яркое, выдающееся (пусть даже противоречивое!), сожрать, а потом пролить слезу на скупой товарищеской тризне и воздать должное покойному в сослагательном наклонении.

Господи! Не найдется ли другой планеты?

С уважением – Ваша

О. Зиновьева

Мюнхен, 7. 2. 1985

ХРИСТОПРОДАВЦЫ

В № 3 журнала «Континент» за 1983 год (издается на русском языке в Париже) опубликована очередная подборка стихов русскоязычного поэта Иосифа Бродского.

В большей своей части она отражает обычные настроения и образы этого поэта.

Россия, в его представлении, страна – «куда глядеть не стоит».

...«других примет там нет – загадок, тайн, диковин»...

...«там тот, кто впереди, похож на тех, кто сзади»...

...«там в церкви образа копит свеча из воска»... и

т. д.

Но в одном стихотворении – «Горение» – поэт несколько больше, чем обычно, приоткрывает нам свой внутренний мир. Описывая горячую сексуальную партнёршу, страстно кричащую, то – «пусти», то – «ещё», он применяет такое сравнение:

«Назорею б та страсть,
Воистину бы воскрес!»

Мировоззрение поэта, собственно, не вызывает вопросов, он и сам пишет: «Я не любил жлобства (?), не целовал иконы». Говоря о Христе, он возвращается в круг древних талмудических образов: «Назорей – сын блудницы – обманщик»...

Но какие бездны открывают нам души как редактора журнала «Континент», столь охотно рассказывавшего о своем «пути ко Христу», так и редакторов других журналов, именующихся «русскими» или «христианскими» (или даже и «русскими и христианскими»), а также публикующихся в этих журналах богословов и писателей! Они умеют так смело протестовать против гонений на Христианство за железным занавесом – и, скромно потупившись, обходят молчанием поругание Христа, творящееся *перед их глазами*.

Страсти Христовы начались с поцелуя того, кто называл себя Его учеником. Теперь вновь открывается нам, какой пророческий смысл таил этот акт!

Православные христиане из СССР

Москва, декабрь 1984 г.

ОТ РЕДАКЦИИ: Оставляем без комментариев.

ПОДПИСКА НА 1985 ГОД

«СТРЕЛЕЦ»

Иллюстрированный ежемесячник литературы, искусства и общественно-политической мысли.

Главный редактор – Александр ГЛЕЗЕР.

На страницах журнала в 1984 году публиковалась проза Василия Аксенова, Юза Алешковского, Филиппа Бермана, Владимира Войновича, Юрия Гальперина, Владимира Максимова, Юрия Мамлеева, Юрия Милославского, Евгения Козловского, Андрея Платонова, Льва Наврозова, Сергея Юрьенена и др.; поэзия Дмитрия Бобышева, Натальи Горбаневской, Виктора Кривулина, Юрия Кублановского, Льва Лосева, Александра Радашкевича, Сергея Петруниса, Елены Шварц и др.; воспоминания Эрнста Неизвестного, Оскара Рабина, Михаила Шемякина, Дональда Мечика, Вячеслава Сысова; интервью с Александром Солженицыным, Владимиром Максимовым, Оскаром Рабиным, Юрием Купером, Юрием Милославским, Сергеем Юрьененом, Олегом Целковым.

В разделе «Литературный архив» публиковались неизвестные и малоизвестные произведения Алексея Ремизова, Анатолия Мариенгофа, Николая Ветлугина.

В разделе «Изобразительное искусство» помещались статьи о творчестве русских художников и обзоры выставок.

В разделах «Кино» и «Театр» помещались статьи и рецензии о творчестве Андрея Тарковского и рецензии на пьесы русских современных авторов.

В разделе «Литературная критика» широко освещается творчество русских поэтов и прозаиков – как эмигрантов, так и живущих в СССР.

В разделе «Общественно-политическая мысль» публиковались статьи о разбазаривании коллекции «Эрмитажа» (продаже на Запад бесценных произведений искусства); о становлении и развитии советской цензуры.

В 1985 г. в «Стрельце» по-прежнему будут широко представлены поэзия, проза и неофициальное русское искусство.

Интересные произведения будут публиковаться в разделе «Литературный архив», расширяется отдел литературной критики.

Стоимость годовой подписки с пересылкой за счет редакции – 36 долларов или 336 фр. франков.

Заказы и чеки направлять по адресу:

Alexander GLEZER, 286 Barrow St.,
Jersey City, N. J. 07302, USA

или:

Alexandre GLEZER, Chateau du Moulin de Senlis,
91230 Montgeron, France

Критика и библиография

МОНОГРАФИЯ О СОЛЖЕНИЦЫНЕ

Вышла новая книга о творческом и жизненном пути Александра Солженицына. Для чего? Разве не рассказал сам писатель о себе решительно все, что только можно ожидать и даже сверх того? Разве не описал он свою жизнь и в «Круге первом», и в «Раковом корпусе», в «Архипелаге ГУЛаг», в «Теленке», во многих интервью и выступлениях? Разве в выступлениях, в статьях в сборнике «Из-под глыб» и других не содержится его политических, религиозных, историософских взглядов? Что, какая книга постороннего автора может это объять?

Надо думать, эти вопросы вставали и перед автором этого исследования – швейцарским славистом Жоржем Нива.

Отношение к Солженицыну читающей публики во всем мире – это любопытная панорама мнений, взглядов, аффектированных эмоций, реакций, хвалы, хулы, слов печатных и непечатных. Существует великое множество поносящих и превозносящих его статей. Существуют самые нелепые обвинения великого писателя в таких грехах, которые он, если бы и хотел, ни за что не смог бы совершить. И только на родине среди его читателей – интеллигенции, студентов, кое-кого из рабочих – в основном бытует твердая и сердечная привязанность к этому автору. Может быть, для таких людей в первую очередь и будет полезным русское издание исследования Ж. Нива.

Ибо дельной монографии о Солженицыне так до сих пор и не было написано.

Монография – такой жанр, в котором приходится говорить обо всем сразу. А это куда как нелегко в случае с Солженицыным. Ведь можно толковать о нем как о политике, как о философе, деятеле-борце, и каждая ипостась – будет заведомо выразительнее «целого», поскольку «целое» неизбежно будет компиляцией из разнородных элементов – поди, привяжи одно к другому без утраты существенных и завораживающих сторон явления Солженицына.

Жорж Нива. Солженицын. Изд. ОРІ, Лондон. 1984.

В отличие от некоторых других западных славистов, наивно полагающих, что они входят в русскую историографическую традицию, Ж. Нива подчеркивает свою «остраненность»; в обращении к русскому читателю он пишет: «Я надеюсь, что этот взгляд со стороны, взгляд иностранца, поможет некоторым лучше увидеть писателя».

Анна Ахматова говорила бывшему зэку и школьному рязанскому учителю, Солженицыну, прочтя его повесть: «Скоро станете знаменитым на весь мир». Это видели все, кто прочел «Один день Ивана Денисовича» в рукописи. Чудом было то, что в 11-м номере «Нового мира» за 1962 год повесть была опубликована. С этого момента русское общественное мнение неустанно следило за борьбой писателя. «Каждый чувствовал, – пишет Ж. Нива, – что это не просто спор тиранической власти с «диссидентом», но рождение бунта, важнейшего для нашей эпохи».

В главе «Споры» Ж. Нива останавливается на реакции западной общественности на выход «Архипелага ГУЛаг»; причем любопытно, что в каждой стране реакция была различной – в зависимости от степени заидеологизированности общественного сознания, от глубинных традиций и т. п. Солженицын, можно сказать, дал новую жизнь французской морализаторской традиции, идущей от Монтеня: «Нам потребовался Солженицын, чтобы понятия добра и зла вновь вошли в наше «восприятие» истории, – пишет автор монографии. – «Данте нашего времени» изменил наше видение мира, вернул ему восприимчивость к аду и чуткость ко спасению».

М. Бахтин подразделил слово на «авторитарное» и «внутренне убедительное». Как раз в случае с Солженицыным можно сказать, что его подвиг – это победа внутренне убедительного слова над всякой оговорочностью, над плетением словес, – недаром обычно так нелепы и неуместны выступления против его позиции: нужно либо строить что-нибудь равноценное (то есть себя), равноценный мир, или – помалкивать. «Вся хитрость в том, что Солженицын – в известном смысле – всегда прав. Не будь он прав, и обиды не было бы». А таковой предостаточно. И оппоненты обыкновенно не достигают одного: что категория *спора* неприемлема к Солженицыну. Что? – вероятно, диалог, если по Бахтину.

Тема «Солженицын и Запад» изложена Ж. Нива кратко и дельно. Тут ему, знакомому с обоими предметами, не прихо-

дится особенно задумываться. Такая «болевая точка», как Гарвардская речь Солженицына, произнесенная им в мае 1978 года, чрезвычайно интересная, полемическая, «хомейнистская» (и довольно распространенная в России), приводит автора монографии к такому резюме:

«Гарвардская речь могла бы быть написана и в России; американская действительность тут ни при чем, она выступает лишь на самой поверхности, да и то – в форме стереотипов: разгул порнографии, ослабление воли нации, потеря святынь... У Солженицына нет ни времени, ни, еще того менее, потребности всматриваться в какую бы то ни было реальность, кроме русской».

С другой стороны, в том, что касается отечественной истории, Ж. Нива не всегда удается некоторые вещи охарактеризовать достаточно точно. Например, говоря о том, что Бердяев видел в 1917-м «вершину и свершение русского максимализма», следовало бы все же напомнить, что Бердяев говорит обычно всего лишь о максималистском характере русской нации; вопрос же о «русскости» или «нерусскости» революции относится по другому ведомству. Достаточно почитать «Истоки и смысл русского коммунизма», чтобы убедиться в этом. Бердяев особенно не останавливается на том, «чужацкая» ли это революция или «нашенская». И отнюдь не в противоположность, а скорее в продолжение Бердяева Солженицын утверждает, что революция устроена чужаками и пришельцами и главной ее жертвой стал русский народ. Во всяком случае, это не противоречие историософским взглядам великого русского философа, а скорее – продолжение их сути.

То же касается рассуждений Ж. Нива об авторстве Шолохова: Солженицын «снова дает ход старым (1928 года) слухам о шолоховском подлоге: «Тихий Дон» принадлежит-де не Шолохову».

Но как бы то ни было, история литературы не знает случаев, чтобы кто-то написал в 21 год р о м а н. Даже фантастически рано созревший Томас Манн издал «Будденброков», все-таки будучи на пять лет старше; то же относится и к первому роману Гете («Страдания молодого Вертера»). Причем эти последние потом написали и более значительные вещи. Что же до последующей творческой биографии Шолохова, то она хорошо известна своей ничтожностью.

При всем том Ж. Нива ни на минуту не упускает из виду ту сверхзадачу, которую ставит перед собой Солженицын как мыслитель, к чему непременно он стремится привести своих читателей. Ясно же, что, например, все та же критика Запада Солженицыным – это для него всего лишь повод; нападки на сконструированный фантом позволяют ему легче и нагляднее выделить свои почвеннические взгляды. Это, думается, понимает и Солженицын.

Всякий академический труд обыкновенно имеет дело с «проблемами». Естественно, в случае с Солженицыным их не занимать. Например, в «очерках литературной жизни» – книге «Бодался теленок с дубом» – много внимания уделено отношениям с Твардовским. Сейчас в России многие читатели молодого поколения читают эти страницы с большим интересом; я был свидетелем, как многие резко повышали свое мнение о Твардовском после прочтения «Теленка». «Твардовский у Солженицына – существо чистое, тип поэта униженного и укрощенного. (...) Твардовский остается навсегда возвышенным, возвеличенным. Не так, однако, поняли это его дочь и некоторые друзья». И надо же, кто-то считает этот образ «сведением счетов»!

Мемуары, однако, для Солженицына есть литература «вторичная» (тоже «проблема» – отчего так?). Теперь, когда он получил возможность спокойной работы, когда он может разложить рукописи и материалы на трех-четырёх столах, писатель занят созданием своей эпопеи «Красное колесо». По его мнению, это будет восстановление подлинного хода и диспозиции событий, предшествовавших большевистскому перевороту и годам, последовавшим позже.

«Способен ли историк ужиться с солженицынским реализмом, или, скорее, с этой галлюцинацией реальности? Главное открытие Солженицына в этой связи как раз в том и состоит, что подлинную историю XX века невозможно писать, опираясь на документ: документ либо лжет, либо его нет вовсе».

То, что замысел этой эпопеи вынашивался сорок лет, дает о себе знать уже и на страницах романа. И этой перезрелости замысла обязан роман и многочисленными длиннотами, и монотонностью характеристик героев, сделанных как из одного теста, и подчас странноватой стилистикой, выдающей влияние и «Петербурга», и «Тихого Дона» одновременно... Увы, об этом можно только сокрушаться. Видимо, некоторые жанро-

вые образования и в самом деле со временем могут устаревать. Существует такое понятие в истории искусств – «усталость стиля».

Сейчас, после десяти лет изгнания, имя Солженицына все так же много значит в России. «Кого-то я там представляю, – сказал писатель в одном из интервью. – Иначе бы они меня не боялись». Видимо, контингент его читателей в России не намного меньше, чем прижизненная читательская аудитория у Пушкина или Тургенева. Если вдуматься, то и это уже немало...

Книга Ж. Нива, когда дойдет до русского читателя на родине, может вызвать только одно чувство – чувство признательности к автору, дотошно рассмотревшему жизненные и творческие вехи Солженицына.

Анатолий Копейкин

МЕЛЬНИЦА И ЗАМОК

Сразу, с заглавия, русский читатель воспринимает книгу Алена Безансона как старую знакомку – именно так, «Русское прошлое и советское настоящее», называется статья, давшая заглавие всему сборнику работ Безансона и впервые напечатанная по-русски еще в 1978 г. в «Вестнике РХД». Однако лондонское издание лишь открывается этой работой и, сохраняя вопрос о соотношении «русского прошлого» и «советского настоящего» в центре внимания читателя, затрагивает более широкую – точнее, быть может, более глубокую – проблематику, связанную, прежде всего, с сутью «идеологического режима».

Отличается русское издание и от вышедшего несколько лет назад по-французски одноименного сборника – сюда включена, в частности, более поздняя работа Безансона «Анатомия одного призрака», редкостного понимания трактат о советской и вообще коммунистической экономике.

Ален Безансон. Русское прошлое и советское настоящее. Перевод и общая редакция А. Бабица. Вступительная статья Михаила Геллера. Лондон, «Оверсиз», 1984. (Историческая библиотека. 1).

Михаил Геллер в своем предисловии справедливо отмечает, что собранные в книге работы Алена Безансона «объединяет редчайшее достинство – понимание специфичности изучаемого объекта, адекватность методологического подхода». Главную специфику «изучаемого объекта» Безансон видит в том, что он... не существует. Нет, конечно, советский строй существует – мы-то это испытали на своих боках. Не существует то, чем он себя объявляет, – не существует социализм. При этом Безансон отнюдь не превращает свою концепцию в доказательство того, что, мол, советский социализм – «не социализм» или не «хороший социализм», не, например, «социализм с человеческим лицом». Социализм как таковой есть нереальность; хуже того, он есть мнимая реальность, псевдореальность, в рамках которой, однако, приходится жить, в которую требуется безоговорочно верить или гласить, что веришь (в разгар редких оттепелей бывает достаточно помалкивать о том, что не веришь). Собственно, гласить даже важнее, чем верить: псевдореальность, показывает Безансон, работает лишь посредством языка, того, что по-французски называется «langue de bois» и что переводчик книги верно переводит геллеровским термином «советский язык».

Все попытки описать эту псевдореальность в терминах «нормальной политологии», как от примера к примеру демонстрирует Безансон, наталкиваются на необъяснимое (если забыть о полной новизне коммунистического феномена) сопротивление материала. Ища классическую аналогию «советскому настоящему», автор находит ее не в кровавой причине Ивана Грозного и не в екатерининских «потемкинских деревнях» (стандартные образцы в многочисленных описаниях сегодняшней России) – он обращается к роману, к притче, к сервантесовскому «Дон Кихоту». «Ибо, – говорит он, – когда мудрецы пребывают в смущении перед неразрешимой загадкой, кто же, как не безумец, сумеет объяснить нам природу советского режима?»

Там, где Санчо Панса видел только водяную мельницу, Дон Кихот приказал ему видеть «город, замок или крепость, где томится какой-нибудь рыцарь либо изнемогает в неволе некая инфанта или принцесса».

«Мельница посередине реки, – комментирует Безансон, – это Россия. Замок, где томится в неволе инфанта, – это Россия в воображении революционера. Революционная власть – это

власть Дон Кихота. Но власть над чем -- над мельницей или над замком? Идеология заставляет видеть замок под наружностью мельницы, и в результате какой-то поистине безумной абберрации все меняется местами: это действительность начинает казаться результатом наваждения. (...) замок остается замком, игнорируя наличие мельницы, и правитель мельницы будет управлять ею как замком, а вовсе не как мельницей. (...) Все, что в мельнице напоминает мельницу, устраняется, жернова и колеса идут на слом, а мельник проходит курс перевоспитания. В результате, бедняга мельник начинает думать, что он живет под властью абсолютного деспотизма, который он даже не может назвать по имени. (...) Притча объясняет нам, почему советский режим с такой легкостью увиливает от попыток применить к нему анализ Аристотеля, Монтескье, Раймона Арона».

Считая даже термин «тоталитаризм» недостаточно точным для определения советского строя, Ален Безансон предлагает называть его попросту (и наиболее точно) «идеологическим режимом». Кстати, и Раймон Арон подчеркивал первенство идеологии в советском варианте тоталитаризма и однажды даже назвал его «идеократией». Безансон упоминает также о предложении Чеслава Милоша называть этот режим «логократией» – властью слова.

Впрочем, стоит отойти от классической терминологии, как спор о терминах перестает быть существенным: логократия и есть основа идеологического режима. «Перо» здесь действительно «приравняли к штыку» и даже сделали его чином повыше: террор может усиливаться или ослабевать – пропаганда и общеобязательная лож никогда не слабеет, сам террор служит, в первую очередь, укреплению и поддержанию господства идеологии (об этом же недавно писал Лешек Колаковский в статье под выразительным названием «Дубинка и теория»).

«...нужно, – говорит Безансон, – чтобы люди опровергли реальность и голосованием, аплодисментами, широкими улыбками утвердили ирреальность. Для этого же необходим террор. Суварин пишет: „Единственная реальность: террор, разлагающий умы и отравляющий сердца. Ложь – первое и неизбежное следствие террора“. По-моему, нужно изменить порядок фразы: единственная реальность – фальсифицированное слово, разлагающее умы и отравляющее сердца.

Террор – первое и неизбежное следствие лжи. Солженицын в первую очередь разоблачает не террор. Он разоблачает ложь».

Притом Безансон показывает, что и сама ложь, идеологическая ложь, – это не «ложь вообще» и не та «традиционная русская ложь», которую столь нередко преподносят нам в объяснение. Это и не «традиционная» ложь политиков, хорошо известная во всем мире. Безансон говорит, что, когда Екатерина II уверяла Дидро и Вольтера, что русский крестьянин совершенно счастлив, она знала, что это ложь. Когда советский вождь провозглашает, что советский человек – самый свободный в мире, он не лжет: в рамках псевдореальности социализма это так и есть, швейцарский же, например, гражданин свободы лишен. Безансон называет это «видимостью лжи, ложной ложью, псевдоложью» и предлагает интереснейшую и, главное, весьма полезную (хотелось бы надеяться!) для Запада концепцию советского языка:

«Противоположность лжи – правда. У лжи и правды названия разные. Во всеобщей действительности противоположностью свободы является рабство. Если, однако, собеседники договариваются о словах, но не о реальности, к которой они относятся, тогда одно слово будет обозначать две противоположные вещи. Так, противоположностью свободы в советском понимании будет то, что мы называем свободой. Противоположностью разрядки будет разрядка, противоположностью защиты мира – защита мира. Вопреки очень распространенному шаблону, советское правительство характеризуется не двойным языком, а наоборот, единым языком для обозначения раздвоенной реальности. Одно слово, две реальности».

Потому-то Безансон предлагает западным политикам при переговорах с СССР «крепко держаться *единой и единственной* реальности», «перед лицом галлюцинации, миража, фантазмагии (...) напрягать зрение в поисках вещественного, осязаемого бытия».

Этот совет полезен не только для политиков и государственных деятелей, не только для советологов и западных историков России – он может пригодиться и рядовому человеку, живущему под властью этого миража и фантазмагии. Все так называемое «диссидентство» и возникает из желания крепко держаться реальности, напрягать зрение в поисках

вещественного бытия. И не только «диссидентство». Недаром одну из своих статей Алэн Безансон озаглавил «Похвальное слово коррупции в Советском Союзе». Показывая, что коррупция во многом укрепляет существующую систему, Безансон утверждает, что одновременно она «несет в себе чрезвычайно опасный яд, отравляющий эту систему изнутри»:

«Она есть не что иное, как проявление жизни, жизни патологической, но которая все же лучше, чем смерть. (...) Фальшивые ценности, существующие лишь на словах и чье принудительное хождение обязано лишь непрочной магии идеологии, быстро оказываются погруженными в „ледяную воду эгоистического расчета“. Именно потому, что она разрушает небытие мертвого языка, аморальность коррупции является все же более моральной, чем извращенная мораль коммунизма».

По существу, можно сказать, что коррупция нередко служит тому, чтобы на мельнице – тайком, преступно – мололась мука, а не только мололи языком.

Тема идеологического слова, советского языка – одна из ведущих в книге Алена Безансона; она проходит через все его работы, чему бы конкретно они ни были посвящены. Но, уделив ей главное внимание, мы оставили в стороне тему «заглавную» – соотношение «русского прошлого» и «советского настоящего». Обманчивая сложнейшая комбинация сходств и различий между двумя этими феноменами, десятками лет сбивавшая с толку историков, советологов, политиков и даже отечественных мыслителей, сейчас вроде бы постепенно прояснилась (в частности, как раз благодаря трудам Безансона). Идея о Советском Союзе как прямом наследнике царской России начинает быть анахронизмом. Но – только начинает. Те наши соотечественники, которые еще находятся во власти обманчивой концепции, прочитают книгу Алена Безансона не без пользы: когда эту концепцию разоблачают свои – легко отмахнуться, навесить ярлычок «русского националиста»; на французского профессора такой ярлычок не навесишь, поэтому, может быть, к его аргументам прислушаются внимательнее, чем к полным эмоций речам Солженицына (мы уж так извратились, что эмоцию приравниваем к пристрастности, а пристрастность – к неправде). Может быть, тем, кто в следовании ложным концепциям всего лишь гонится за «западностью», станет ясно, что они начинают отставать. А те, кто

твердит о «проклятом прошлом», определившем «искаженное лицо» долженствовавшего быть светлым настоящего, и на этом строят эмигрантскую карьеру, вероятно, забеспокоятся, как бы она не пострадала. Впрочем, это последняя из моих забот.

Н. Горбаневская

КНИГА ОБ ОТЦЕ ГЛЕБЕ ЯКУНИНЕ

О судьбе Глеба Якунина хорошо знают на Западе. О нем молятся миллионы христиан, все понимают, что он и подобные ему христиане в Советском Союзе идут трудным и благодатным путем Креста. И вместе с тем, не очень много таких христиан, которые представляли бы вполне, что такое гонимая Русская Церковь и какую роль играют в ней люди, подобные о. Глебу.

Есть множество заведомо ложных представлений. Одни, резко критикуя официальную Церковь, считая ее только «придатком КГБ», убеждены, что настоящие христиане должны уходить в некую мифическую подпольную церковь или в секты. Это взгляд людей, политизирующих религию и не видящих, что глубокая духовная жизнь возможна и в Церкви, находящейся под двойным, тройным контролем государства. Как раз сегодня открылась вся правда слов Господа о Церкви: «И врата адовы не одолеют ее». Кровью мучеников укрепляется и расцветает *внешне* несвободная Церковь.

Другие (их больше не здесь, а в Советском Союзе) заведомо осуждают всякую попытку христиан заняться «политикой», выйти в мир. Эти с презрением говорят о «диссидентах» (также церковных), прикрывая свой страх вынужденной аполитичностью.

Книга об отце Глебе Якунине, вышедшая недавно в издательстве «Критерион», далека от этих ложных представ-

Un prêtre seul au pays des Soviets. Paris, Ed. Criterion, 1984.

лений. Франсуа Руло и Оливье Клеман, представляющие читателю личность о. Глеба, прекрасно чувствуют русскую ситуацию. Они не исходят из предвзятых схем и моделей, а понимают, что «узкие врата» у каждого христианина свои: один только молится и в тишине «передвигает горы», другой организует религиозные семинары, третий (это и есть о. Глеб Якунин) идет еще дальше навстречу требованиям времени – создает Комитет защиты прав верующих, обращается с письмами к Патриарху, Всемирному Совету Церквей, Папе Римскому, с конкретными предложениями изменить и улучшить политику Церкви, ее отношения с кесарем-государством. При этом отец Глеб остается в послушании у своей Церкви, не превращается в «Лютера», не затрагивает догматических или канонических вопросов, старается быть не дерзким, а дерзновенным, т. е. смиренным.

Отец Глеб хотел быть священником на уровне времени и стал им. В книге о нем подробно описывается современная религиозная ситуация в Советском Союзе, тот процесс, который начался где-то в 60-е годы, после хрущевского жестокого преследования Церкви. Сотни тысяч молодых людей, прежде всего русская творческая интеллигенция, пошли в Церковь. И нужно было не только радоваться этому чудесному наплыву молодежи, но и уметь позитивно ответить на него. Церковь, несмотря на свою полную внешнюю придавленность, смогла подарить этой ищущей молодежи настоящих, мудрых, любящих пастырей, ставших высшим авторитетом для тысяч и тысяч приходящих в Церковь неофитов. Большинство из них неизвестно Западу. И слава Богу, они нужнее там, в своих приходах, и чем больше они «продержатся» (а всем, ставшим популярным у молодежи, грозит лагерь или психиатрическая больница), тем больше добра принесут. И все же известны имена о. Дмитрия Дудко, о. Александра Пивоварова, о. Глеба Якунина.

В книге собраны письма, подписанные о. Глебом: Письмо к Патриарху Алексию, где впервые откровенно, смело и с болью говорится о трагической плененности Русской Православной Церкви, о разрушенных и закрытых храмах, монастырях и семинариях, о регистрации крестин, о запрещении Церкви заниматься социально-культурной и миссионерской деятельностью, о новых притеснениях Церкви, введенных во времена Хрущева. Об отсутствии «свобод» для Церкви и

письмо к председателю президиума Верховного Совета Подгорному. Письмо к Филиппу Потеру, к христианам Португалии, к христианам «всего мира» и различные другие документы впервые собраны в этой книге под одной обложкой.

При всем восхищении личностью и деятельностью идущего мученическим путем о. Глеба, Франсуа Руло в своей вступительной статье говорит и о том, что, с его точки зрения, кажется «слабым» местом в позиции о. Глеба: что о. Глеб хотел создать что-то вроде подпольной церкви с помощью Автокефальной Американской церкви (это слишком трудно), что среди прославленных мучеников первое место должна занять царская семья (это спорно). Критикует Франсуа Руло и сам стиль «посланий» о. Глеба, где ревность о Церкви, на его взгляд, соседствует с нетерпимостью. И всё же свидетельство о. Глеба, его страдания за дело Церкви, его путь Креста и Славы – дают сегодня надежду христианам всего мира: не только «черные тучи» агрессии идут из Советского Союза, но и свет веры, воскресающей из мертвых.

Татьяна Горичева

ПРАВО НА СЧАСТЬЕ

«Красиво жить не запретишь!» –

Поговорка, звучащая довольно легкомысленно, повторяет, на самом деле, один из важнейших принципов провозглашенной в 1776 году американской Декларации Независимости. Этот принцип утверждает, что каждый гражданин имеет право на стремление к счастью.

К счастью тянется все живое, вплоть до ничтожной травинки. Однако для человека стремление к счастью нередко сопряжено с борьбой за человеческое достоинство, за право называться человеком. Книга Эдуарда Лозанского, которую он посвятил своей жене и которая так и называется – «Для Татьяны», рассказывает о такой борьбе за счастье – не на жизнь, а на смерть.

Edouard Losansky. Pour Tatiana. Paris, Robert Laffont, 1984.

Книга в ближайшее время выходит по-английски в Соединенных Штатах. Но ее французский перевод уже увидел свет в издательстве «Робер Лаффон», в серии «Пережитое».

На обложке книги две руки, мужская и женская, стремящиеся соединиться. Словно какая-то сила растаскивает их врозь. Экспрессивная композиция взята с плаката Иосифа Киблицкого, художника, вошедшего в 1982 г. в группу «Разделенные семьи». Эта небольшая группа людей, оказавшихся отделенными от своих мужей или жен советской границей, решила голодать насмерть – или покуда их не выпустят из мышеловки. В этой группе была и Татьяна Лозанская, генеральская дочь. Она «предала» свой класс – класс олигархов. Случай, в глазах властей особенно криминальный.

Невзирая на все известное западным «простым смертным» о том, что творится за железным занавесом, в мире тоталитарного всевластья, далеко не всем понятно, почему государство должно чинить столько препятствий мужу и жене, желающим уехать и жить вместе в стране, которую выбрали по своему усмотрению. (Мы-то в курсе, но нам – не дико, нам – страшно...)

Книга Эдуарда Лозанского, в первую очередь, адресована западному, «непросвещенному» читателю. Для этого читателя книга «Для Татьяны» – еще один путеводитель по Вселенной абсурда по-советски.

С самой ранней юности Эдуард Лозанский понимал: его призвание – наука. Он хотел быть ученым, физиком. Но в стране пролетарского интернационализма путь в науку идет через анкеты и отдел кадров. А в анкетах существует – главный для отдела кадров – «пятый пункт»: национальность. В этой графе у Лозанского значилось «еврей». С таким «пятым пунктом» гарантированная конституцией дорога в «цитадель советского бесплатного высшего образования», в Московский университет, – была заказана. Лозанский делает титанические усилия, чтобы туда попасть. Временами кажется, что это сизифов труд: год за годом, ценой унижений и отчаянного напряжения, пытается юноша из бедной киевской семьи, из мрачной коммуналки, попасть на физический факультет университета. «Отчаяние, горечь, ярость, чувство собственного бессилия были неразлучны со мною все эти годы»*, – пишет Э. Лозан-

* Цитаты даны в обратном переводе. – К. С.

ский. Но эта борьба научила его многому, на многое открыла глаза.

Когда же наконец, после многолетних усилий, удалось получить образование на физическом факультете и защитить диссертацию, двери научных учреждений для него оказались закрытыми. Доступ в лаборатории шел обходным путем – через КГБ. Оттуда протягивали Лозанскому крючок с наживкой – исследовательской работой в любом из иначе недоступных ему институтов! Лозанский отказался от такой возможности.

Таня Козлова была одной из тех, кого Эдуард готовил в вузы, – чтобы прокормиться. Отец Тани был генерал, командующий Киевским военным округом. Как это нередко случается в жизни, молодой преподаватель и студентка полюбили друг друга. После свадьбы Эдуарда и Татьяны, в 1971 г., рукой всеильного тестя, распахнулись все запертые двери, все закрома: должность научного сотрудника в Институте атомной энергии и Институте ядерных исследований в Дубне, место преподавателя в Военной академии; отличная квартира, набитая импортной мебелью; закрытые распределители, санатории для избранных – все стало доступно, просто и... мерзко.

О классовом неравенстве в советском обществе написал М. Восленский – и его книга стала чем-то вроде пособия по изучению советского общества. (Кстати, «Номенклатура» также сначала вышла на иностранных языках.) Благодаря Восленскому, и не только ему, а множеству свидетельств, книг, статей людей «оттуда», общеизвестен факт, что в советском обществе не просто произошло «классовое расслоение», но что «классы» стали династичными. В особенности это относится к первому классу – олигархической номенклатуры. Если туда на роль даже главы государства поначалу мог попасть сын сапожника или шахтер, то оттуда выпасть вниз, классом ниже, практически невозможно! Сын посла – студент МИМО. Сын торгпреда – студент Внешторга, потом – торгпред в капстране (да простится мне «ликбез» и «новоречь»!). Сын академика – профессор.

Эдуард Лозанский чудом пробил потолок своего класса – даже не интеллигенции, а более низкого класса – мелких служащих! Прошил насквозь два класса, оказавшись среди высшей совкасты. Небывалый случай – впрочем, их в этой истории оказалось немало.

Счастье Эдуарда и Татьяны, такое, на первый взгляд, безоблачное, затянулось грязным туманом фальши и унижительной зависимости от сильных мира сего. За кажущейся вседозволенностью – «опека» ЦК и ГБ, вмешивающихся в работу, в личную жизнь, во всё!

Существует некий зазор между классом олигархии и классом интеллигенции. Там дует ветер эмиграции. В щель-зазор выдувает несогласных из второго класса и бунтарей из детей олигархов.

Карьере высокопоставленного тестя грозили связи Лозанских с диссидентами, разговоры в их доме, чтение книг «оттуда», выступления Эдуарда в Военной академии в защиту Сахарова. Увещевания перемежались с угрозами.

«С каждым днем я все яснее сознавал двусмысленность создавшейся ситуации», – пишет Э. Лозанский. С одной стороны – книги Солженицына, идеи Авторханова, разоблачения Конквеста, с другой – привилегии номенклатуры, золоченая клетка.

Вскоре оставаться в этой клетке стало уже невозможно. Созрело окончательное решение об эмиграции. Но Татьяна – дочь человека из высшей иерархии, и для генерала Козлова ее отъезд означал конец карьеры, полную катастрофу.

Лозанскому пришлось развестись с женой и покинуть страну одному. Родители пообещали Тане, что, как только генерал получит повышение, ей дадут разрешение на выезд. Вначале разлука казалась короткой. Но стоило мужу уехать, как родители Татьяны взяли назад свое обещание. Ловушка захлопнулась, и в ней оказались жена и дочь Эдуарда.

Начинается рассказ о долгих годах борьбы. Шесть лет по всему миру летят отчаянные призывы Эдуарда и Татьяны, мужа и жены, мечтающих об элементарном праве – жить вместе. Шесть лет петиции следуют за петициями, демонстрации – за демонстрациями. Лозанские шлют письма и прошения во все правительства, общественные организации, ко всем известным политическим деятелям, Нобелевским лауреатам, партийным лидерам – даже к Жоржу Марше! Во Франции «делу Лозанских» была посвящена телепередача «Досье экрана», когда, вместе с телезрителями, он услышал по телефону рыдания жены... Передача вызвала огромную волну сочувствия. Десятки тысяч людей во Франции и многих других странах предлагали Лозанским всяческую помощь и поддержку.

Да, он был не один в своей борьбе. В. Максимов, В. Буковский, А. Гинзбург, Интернационал Сопротивления и многие другие люди и организации поддерживали Лозанских в эти, самые трудные для них годы. Лозанский борется не только за личное счастье. Он создает Комитет в защиту академика Сахарова и других диссидентов. Комитет организует конференции, демонстрации и даже турне оркестра, в составе которого – музыканты, выехавшие из Советского Союза. Этот оркестр разъезжает по Америке и Европе, посвящая свои выступления борцам за права человека в СССР. В ноябре 1980 года во время Мадридского совещания Лозанский снимает зал на последние деньги, чтобы устроить там вечер в поддержку Сахарова.

Все это вызвало лишь новую волну озлобления со стороны советских властей. Назревало отчаянное решение. Вместе с остальными членами группы «Разделённые семьи» в 1982 году Татьяна Лозанская устраивает голодовку – до смертного исхода, если понадобится.

Для Тани голодовка длилась 33 дня. В конце концов, генерал Козлов, ужаснувшись вида полуживой дочери, дал ей разрешение на выезд... Случай для советской номенклатуры невиданный. Расплата за милосердие наступила немедленно. По требованию министра обороны Устинова, Козлов вынужден был подать в отставку.

Сейчас Эдуард и Татьяна живут в Вашингтоне. Эдуард Лозанский, добившись своей цели, не оставил борьбы за счастье других. Он – основатель Института Сахарова и американский представитель Интернационала Сопротивления.

Книга Э. Лозанского «Для Татьяны» – не просто документ. Это и трогательный рассказ о любви, побеждающей все препятствия, сладившей с сопротивлением жестокой тоталитарной машины! «Хэппи энд» истории Лозанских был добыт с кровью.

«Мы не были ни диссидентами, ни политиками, – пишет в послесловии Таня Лозанская. – Мы были просто людьми, стремившимися вырвать у властей ту свободу, которая естественна для миллионов людей во всем мире».

У многих из нас за кордоном близкие. Многих увидеть не суждено. Но книга Лозанского еще раз напоминает всем разлученным о том, что у них есть шанс на великое счастье встречи! Надо только уметь бороться так, как эти двое.

«Горе любящих и разлученных – еще не отчаяние, – писал Альбер Камю, – они знают, что их любовь жива». Эти слова вполне уместно были выбраны автором в качестве эпиграфа для этой книги.

Кира Сапгир

АВТОПОРТРЕТ В КОЛЮЧЕЙ РАМЕ

У отчаяния на краю
Я качнусь и опять выпрямляюсь,
И как будто в неравном бою,
— Не живу я, а выжить стараюсь.

Вадим Делоне

Нет сегодня на земном шаре страны, которая могла бы соперничать с первым в мире социалистическим государством – по количеству и качеству – лагерной и тюремной литературы. Это бесспорное достижение связано с тем, что нет сегодня на нашей планете страны, которая на протяжении семи десятилетий не перестает держать миллионы граждан за колючей проволокой.

Первые книги о советских лагерях появляются на заре Нового мира, и с тех пор пишутся и публикуются все новые, новые и новые воспоминания, романы, повести и рассказы – о ленинских, сталинских, хрущевских, брежневских, андроповских лагерях и тюрьмах. Появятся о черненковских – несомненно.

Издатели жалуются – лагерная тема исчерпана, читатели не хотят читать. Но то и дело приходит новая книга, в которой снова и снова рассказывается та же самая, хватающая за горло история: человек за решеткой, человек, видящий небо в клеточку, человек, лишенный даже той свободы, которую, в таких небольших дозах, дозволяют советским гражданам.

Книга Вадима Делоне «Портреты в колючей раме» вышла уже после смерти автора. Он не дождался ни появления книги, ни премии Даля – он умер 35 лет. Рассказывает он о лагере, в который попал, когда ему был 21 год. Сотни книг в моей «лагерной библиотеке», но ни одна из книг о советской

тюрьме или лагере не передает с такой трогательной искренностью молодость автора. Вадим Делоне назвал свою книгу «Портреты в колючей раме». И это верно: в книге множество портретов союзников – друзей, врагов, охранников. Но самый яркий, самый выразительный – портрет автора, юноши и поэта, человека чести, человека долга – и поэта.

Пожалуй, ни в одном из множества свидетельств о советских лагерях нет такого убедительного изображения – поэта в неволе. Заключение, лишение свободы – одно из самых трудных испытаний человека. Вадим Делоне выдержал его, высоко держа голову, гордый своим звездным часом – демонстрацией на Красной площади, готовый всегда помочь другим, отдать все, что у него было, – от стихов до растворимого кофе. Счастливо изумленный тем, что стихи могут приносить немедленную пользу: утешать в горе, давать радость, помогать в любви.

Зинаида Шаховская во вступлении к «Портретам в колючей раме» замечательно сказала об авторе: «Его легко было знать, он был весь, как на ладони, открыт, чист, всегда верен себе. Жила в нем печаль и такое редкое сознание и своей, и общей вины за зло, разлитое по всему миру. А поэзия была ему так же естественна, как дыханье, она шла на него ливнем, не надуманная, не вымученная – в простоте свободы...»

Не знаю – может быть, это качество настоящего поэта, может быть, это юношеская черта – воспоминания Вадима Делоне проникнуты чрезвычайно редкой в лагерной мемуаристике доброжелательностью к людям. Он романтически верен друзьям, он не задумываясь идет на помощь слабым. Он мечтает жить – пробует даже в лагере жить – «по идеалам XX века».

В книге нет громких слов, грозных обвинений. Вадим Делоне знал, на что идет. В последнем слове на суде он гордо заявил: «Я понимал, что за пять минут свободы на Красной площади я могу расплатиться годами лишения свободы...» Он расплатился – и рассказывает, как расплачивался. «Портреты в колючей раме» – эпизоды комические, драматические, трагические. Автор рассказывает, как люди живут в лагере, в обыкновенном советском лагере. Но главное в книге – то, что читается между строк, то, что иногда лишь появляется в стихах: свидетельство невозможности, бесчеловечности жизни

в лагере, в заключении. Легкая, на первый взгляд, беззаботная, похожая на автора, книга оборачивается душераздирающим криком, осуждением тех, кто обрек человека на несвободу.

Годы тюрьмы остались незаживающей раной – память о тюрьме продолжала мучать поэта и, наверное, была одной из главных причин его смерти. Он закончил книгу стихами, в которых все сказано:

Думал: все, отстрадал, думал – пой, мол, да пей,
Но в глазах суета беспокойных снегов,
Лай собак и барак и тоска вечеров...

Михаил Геллер

«НА НЕВЗРАЧНОЙ РАВНИНЕ С СУРОВЫМ КЛИМАТОМ»...

Четырнадцать лет назад – в 1971 году – двадцативосьмилетний американский журналист Роберт Кайзер, бывший корреспондент в Лондоне и Сайгоне, «с грузом наскоро, за год, накопленных познаний в русском языке и библиотечкой книг о русском прошлом и советском настоящем» приехал в Москву в качестве корреспондента «Вашингтон пост». Он провел в СССР три года и, хотя, как объективно заметил сам, не сумел «преодолеть все те преграды, которые почти инстинктивно расставляют русские перед любопытствующим иностранцем», написал объемную книгу «Россия: власть и народ», в которой «попытался скомпоновать образ советской действительности детальным описанием сотен ее составных, включая компартию, свадебный обряд, систему ставок на московских бегах, деятельность редколлегии советской газеты и т. д. и т. п.» Книга увидела свет в 1976-м, была переведена на русский и вышла в «Ардисе» в 1979 году.

Согласны, что отзыв наш несколько припозднился, но, увы, очевидно, по-прежнему актуален.

Р. Кайзер. Россия: власть и народ. «Ардис», 1979.

От многих своих коллег – иностранных корреспондентов, сиднями сидящих у себя на Кутузовском, отоваривающихся в «Березке» и питающихся официальными сообщениями, Р. Кайзер выгодно отличился неутомимой энергией: за три года он успел «поднатореть в языке, исходить Москву вдоль и поперек, поездить по стране, перезнакомиться с сотнями советских граждан, наверстать упущенное в чтении и, вообще, открыть для себя, что это за страна». Он искренне «полюбил серую эклектичную столицу советского государства», где «хаотичное смешение архитектурных стилей, от бревенчатых изб (какой глаз: углядеть «бревенчатые избы» в Москве не просто. – М. П.) до стеклянных небоскребов – отражает стихийность, неорганизованность русской натуры».

Но не только Москву исходил Кайзер: побывал и на юге, и на Псковщине, и на севере, и в Сибири.

«Судьба сыграла с русскими жестокою шутку, поселив этих столь охочих до загородных удовольствий людей на невзрачной равнине с суровым климатом. Россия, как правило, плоска, как блин. Типичный сельский пейзаж – старая деревушка с бревенчатыми избами, открытые низкие поля, да лес, да, бывает, река».

«На севере России, – тонко замечает Кайзер в своей книге, – природа скорее враг человека, чем союзник, грозный враг, безусловно влияющий на мировоззрение людей, на их отношение к судьбе и жизни».

Впрочем, люди не унывают. Любой «другой народ поостергся бы бегать по лесу в такой холод». В Сибири вашингтонца принимали воспетые Евтушенкой строители Братской ГЭС. «Подали водку, огурцы, помидоры, потом опять водку, копченую рыбу, зеленый горошек, потом торт и опять водку и советское шампанское. (...) Не одну душу, живую ли, мертвую ли, от В. И. Ленина до главного редактора «Вашингтон пост», помянули в тот вечер. (...) Вскоре появилась и знаменитая гитара. Песен спели множество на всех языках. Марчук, русский инженер из глубины Сибири, помнил больше слов из «Гут найт, Айрин», чем пристыженные американцы, которых он развлекал. „Это нечестно, – жаловался он. – Мы в университете знали все американские песни, а вы не знаете ни одной русской“».

Р. Кайзер мастерски драматизирует пластичную мозаичность повествования, скажем, таким вкрапленным в текст пассажем:

«Недоверие по-русски:

Когда в 1941 году нацисты напали на СССР, НКВД – политическая полиция, именуемая теперь КГБ, – сформировал особые войска тыловой безопасности. Вооруженные автоматами, отряды этих войск располагались непосредственно за передовой, где красноармейцы отражали атаки немцев. Задачей этих войск было уничтожение каждого, кто попытается дезертировать с фронта».

Общался Р. Кайзер и со столичной элитой; так, один московский писатель поделился с ним своими соображениями: «Возьмите Русскую Православную Церковь. Русских христиан всегда учили не ожидать ничего от этой жизни – все награды располагаются там, в ином мире. Религия сейчас не так сильна как прежде, но идея эта укоренилась крепко. (...) У нас, русских, ограничена возможность к сознательному выбору».

И все же, несмотря на столь негативную оценку религии своим московским знакомым, корреспондент уделяет положению Церкви и Православию вообще лишь немногим меньше страниц, чем ипподрому и Сандунам. «И в церкви русская толпа сохраняет присущие ей свойства. Это все та же масса одинаково одетых людей, единоклубная в своих действиях: разом опускаются на колени, разом встают, разом запевают, разом вываливаются на улицу». Кайзеру «очевидно, что многие идут в церковь с определенной целью: испытать душевный подъем». Далее следует весьма образная параллель с состоянием верующего на литургии: «Точно так же, усаживаясь за семейный праздничный стол, русские настраиваются на особый, чувствительный лад».

Р. Кайзер не просто «протоколист», он не только фиксирует, но старается обобщить увиденное.

«Тиран для русской истории значит больше, чем идея, и у русских своя точка зрения на то, что такое правительство и каким ему должно быть. (...) Русские наследуют из поколения в поколение страх перед чужеродным вторжением и безвластием. (...) И этот страх незнаком никому, кроме русских». С «русской тенденцией к анархии» Кайзер столкнулся «во время перерыва между таймами одного важного футбольного матча

на стадионе им. Ленина в Москве. Тысячи мужчин бросились в перерыв к уборной. Едва пристроившись к хвосту очереди, я вдруг был подхвачен мощной живой лавиной. Меня протащило вниз по лестнице несколько маршей. Если бы не столь же мощный встречный поток неуправляемых тел, я неминуемо был бы смят и раздавлен потоком сзади». Чудом уцелев в Лужниках, Кайзер резюмирует: «В Средние Века Русь выстояла благодаря созданию диктаторской формы власти, и с тех пор повелось полагаться на диктаторов. Если диктатора свергали, неизменно возникал период анархии, беспорядка». Но то хорошо, что хорошо кончается: «Никогда еще благополучное отправление нужд не вызывало у меня такого чувства облегчения».

Р. Кайзер проявил небрежливость и расторопность, когда на московском ипподроме «какой-то мужчина в сердцах швырнул наземь толстую пачку билетов» после объявления результатов. «Я подобрал билеты и обнаружил, что на один и тот же дубль у него было поставлено 28 рублевых ставок. А выглядел он при этом обычным советским тружеником с месячным заработком 135 рублей».

Но за динамичным монтажом фактов, зарисовок, сценок и откровенных бесед с американским корреспондентом советских граждан, «русских, которые при большевиках, как и при царе, остаются доминирующей нацией, поддерживаемой московской, как прежде – петербургской властью», Кайзер старается не упустить и общего анализа тоталитарной системы. «Русский тоталитаризм не такой уж и тотальный. (...) Ни государство, ни партия и не пытаются установить всеобъемлющий надзор надо всеми частностями жизни страны, внедрить официальную идеологию в каждую голову. (...) В управлении страной допускается куда больше хаотичности, чем при к л а с с и ч е с к о м (разрядка моя. – М. П.) тоталитаризме».

В трактовке ленинской политики Кайзер и сам становится диалектиком. С одной стороны, «Ленин сознавал опасность централизации бюрократического аппарата, отрыва его от масс, поэтому он настаивал на 'открытости' руководства», с другой – «Ленин придавал большое значение роли руководителя, современные же вожди в это не верят».

Характеристика верного ленинского последователя в деле российского геноцида прямолинейней: «Сам Сталин был

ярким русским националистом». Это может выглядеть преувеличением, но в контексте дальнейшего кайзеровского размышления встает на свое место: «Испокон веку царит в России дух недоверия и подозрительности. Недоверчивость стала чертой характера нации, ее инстинктом, выработанным многовековым опытом существования под самодержавием и при таком общественном устройстве, которое располагает к эксплуатации большинства меньшинством и всяческой нечестности. Русские приучены смотреть в оба, охраняя прежде всего собственные интересы. Эти же допотопные инстинкты присущи и верхам советского режима».

Да и о чем вообще говорить, если «подавляющее большинство нынешних горожан в Советском Союзе еще совсем недавно вело примитивную жизнь русского крестьянства». Р. Кайзер, мягко скажем, до... наивности прогрессивен.

Невероятно, но факт – Кайзер проводит еще одну чрезвычайно смелую параллель: советской тоталитарной машины с... американской армией, ибо «обе эти замкнутые системы предъявляют такие требования к поведению, какие постороннему могут показаться смешными, если не противоречащими здравому смыслу». Допускаю, что этот пассаж может кому-то показаться смешным, нам же – лишь противоречащим здравому смыслу.

Аналогия вообще хитрая и коварная вещь: создавая иллюзию тождества, она претендует на истинность положения.

После всего выше процитированного не удивимся и заключительным выводам книги Р. Кайзера.

«Идеологическая борьба, на которой настаивают советские лидеры и в эпоху детанта, является прежде всего формой самозащиты, и только во вторую очередь – агрессивной разновидностью политического поведения. (...) В детанте Москва видит лучший путь к достижению Советским Союзом своих внешнеполитических целей, первая из которых – обезопасить себя от врагов. Советские лидеры неоднократно заявляли, что разрядка задумана ими в качестве внешнеполитического курса на несколько десятилетий вперед. И ведут они себя так, словно и впрямь намерены держаться этого курса».

Все последние годы после написания Кайзером этих строк – Польша, Афганистан, массовые репрессии в СССР, попытка убийства Папы Римского, вымаривание голодом Эфиопии и

т. д. – выпукло иллюстрируют степень прозорливости корреспондента одной из крупнейших американских газет.

Но действительно: если Советский Союз наследовал дореволюционной России, если природа его деспотизма традиционна, то отчего ж не торговать и не договариваться? Ведь была же Россия прежде вполне полноправной политической единицей, полноценным партнером, а нередко и союзницей Запада. Так книга Кайзера натурально становится проводником детантной политики, так наз. «взаимно выгодного сотрудничества», которое мы в Москве называли попросту – объебаловкой.

А между тем не только нет общего между теперешним и дореволюционным режимами, нет ничего общего между русской дипломатией и – советской. Мало того, смеем утверждать, что они – антагонистичны.

Русская дипломатия, подобно любой иной дипломатии цивилизованного мира, защищала интересы своего государства – просто в соответствии с историческим пониманием («А у каждого времени – свой потолок понимания», – верно заметил Александр Солженицын). Да, была колонизация, но где ее не было? Большой вопрос с Царством Польским – несомненно решился бы в ближайшие годы, если б не революция. Сама Россия никогда не нарушала первой мира в Европе, не стремилась к мировой гегемонии.

Русская история была, слава Богу, своеобразна, но любые о ц е н о ч н ы е категории в целом, применяемые к мировой дототалитарной истории, – в лучшем случае ведут к пустозвонству, в худшем – к расизму.

Соответственно, и прежние российские политики, в конце концов, ничем не отличались от прочих: были умны или глуповаты, хитры или простодушны, расторопны или ленивы.

Коммунистические дипломаты – дипломаты лишь по названию: у них уголовное прошлое, уголовное настоящее. Но если количество жертв даже самого преуспевшего уголовного-одионокки, как правило, не превышает числа пальцев на двух руках, то эти – организованно уничтожили и продолжают вымаривать миллионы. Обмануть, проглотить, украсть, похоронить заживо, дестабилизировать любыми путями, какой угодно ценой выиграть для себя, для своей развратной доктрины, для господства более жуткого и всемерного, чем в рабо-

владельческие времена – их единственная «дипломатическая миссия».

Детант нужен им вовсе не для безопасности своего государства, как уверяет простодушный Р. Кайзер, их единственная «безопасность» – в экспансии. «Умрешь или сдашься и, наконец, станешь моим» – об этом богоборческая идеология их твердит в открытую. По лисьим соображениям они терпят Церковь, но безжалостно ампутуют любое миссионерское начинание. Под обманчивой тиной чиновничьей и партийной рутины кипят звериные страсти: кровавая хроника убийств, самоубийств и смещений. Собственная страна, собственный народ – для них только средство.

Через Кубу, Никарагуа, Сальвадор они добрались уже вплотную к Соединенным Штатам.

Книги же, подобные разбираемой, скорее заблуждают и забавляют, чем будят энергию противления. С таким «чувством юмора», с такой ворчливой объясняющей снисходительностью, бывает, описывает необычный мир интеллектуал-путешественник, уверенный в своей просвещенности.

А крупнейшие западные агентства и газеты посылают в Москву – в самое пекло тоталитарной машины – корреспондентов, никогда не специализировавшихся ни на феномене тоталитарной системы, ни на марксистской идеологии, лежащей в ее основании. «Библиотечка книг о русском прошлом и советском настоящем» (жаль, что Р. Кайзер не проименовал эти свои пособия) – их багаж. А ведь от той информации, которую поставляют эти корреспонденты, в итоге зависит знание, а значит и понимание Западом жутко подкатившей реальности коммунизма.

Но если бы такому глубоко демократичному и цивилизованному господину, каким, без сомнения, почитает себя господин Кайзер, сказали, что он написал не просто невежественную и поверхностную, но русофобскую, разлагающую и дезинформирующую в отношении подлинной природы тоталитарного бытия книгу, он несомненно бы изумился, а потом вознегодовал. И, наверное, сослался б на массу страниц, пропитанных, по его мнению, симпатией к «русским», среди которых провел целых три года. И на еще большее количество страниц – обличающих коммунистическое господство. Поистине, не ведаем, что творим!

Книга Р. Кайзера, к сожалению, типичный пример советской (только наизнанку!) журналистики, которую, как известно, отличают глобальные претензии, профессиональная некомпетентность и дремучее невежество.

М. Похвиснев

Читайте в следующем номере «Континента»

Стихи:

**Л. Лосев, Ю. Алешковский,
А. Раннит**

Проза:

**А. Журжин, А. Копейкин,
Э. Люксембург**

Публицистика:

**А. Зиновьев, Ю. Фельштинский,
М. Линецкий и др.**

Коротко о книгах

НЕСЛОМЛЕННАЯ ПОЛЬША НА СТРАНИЦАХ «РУССКОЙ МЫСЛИ»

ч. I. (Декабрь 1981 – декабрь 1982). Сост. Наталья ГОРБАНЕВСКАЯ.

Париж, 1984. Издание «Русской мысли»

Многие из тех русских интеллектуалов, кто следил за развитием событий в Польше из-за железного занавеса, сначала даже как-то и думать не хотели, что «военное положение» снимает ту ситуацию, к которой все привыкли за полтора года «Солидарности».

Для самих же поляков это было что-то вроде холодного душа. Из России казалось: ну, если они из-за повышения цен на мясо летом 80-го такое наворотили, то уж на самоокупающуюся реакцию будет побойчее. Однако полмиллиона дисциплинированных и циничных предателей своего народа сделали свое дело довольно-таки профессионально.

После этого логично было поговорить об уроке, который был преподан всем. Александр Солженицын в своей статье «Главный урок» отметил, что урок «польский тем особенно ярок, что перед нами – как никакая другая, цельная единая однородная нация, сплоченная своим религиозным и национальным чувством – как будто невозможно ее расколоть! – но вот из нее же находится нужное число коммунистических исполнителей». Это было, пожалуй, самое дельное, что было сказано сразу после событий декабря 1981-го.

Издательства ОРІ и «Посев» уже выпустили по одной брошюрке, посвященных первому периоду деятельности «Солидарности». «Несломленная Польша на страницах 'Русской мысли'» является в некотором роде продолжением этих книжечек. Их чрезвычайно удобно провозить через границу, а в России чрезвычайно интересно читать, особенно – разглядывать фотографии.

Составитель этой книги Наталья Горбаневская старалась дать возможно более полную картину описываемого периода – не сейчас, когда составлялась книга, а по ходу дела, ведя на страницах газеты летописи главных событий, переводя материалы из польской подпольной прессы, рассказывая об арестах, забастовках, демонстрациях, интернированиях, о всем спектре бесправия и о реакции на него польского общества.

Книга эта охватывает только первый год военной диктатуры, первый год, как ее называют иногда, «польско-ярузельской войны».

Вот рассказ очевидца о забастовке на шахте «Вуек», начавшейся 13 декабря 1981 года: «Шахтеры ловят двух заложников ЗОМО: двух офицеров и одного рядового. Рядового толкают к толпе, толпа молчит, у юноши начинается истерика.

Обороняющиеся продырявливали каски ЗОМО раскаленными стальными прутьями, они проходят сквозь каску, как сквозь воск...»

Однако ни бронетранспортеры на улицах, ни дубинки ЗОМО, ни другие многочисленные средства запугивания и сдерживания, – не сломили и не сломят волю народа к сопротивлению. Ибо каждому поляку ясно, что «нормализация», если она когда-нибудь осуществится, будет означать лишь одно: свободу произвола властей – «красных», как их называют в Польше. И поэтому вопрос «кто – кого» остается открытым.

И, наконец, одно короткое замечание. Надо было находиться летом 1980-го в Москве, чтобы понять всю, если угодно, доброту и человечность звучания имени «Лех Валенса» (которого одно время называли «Валеса»). (И нигде, кроме «Русской мысли», Валенсу через «э» не транскрибируют.) Мы не говорим «Аристотелес», хотя по-гречески это как будто так. Ведь мы вообще говорим по-русски, в том числе и имена чужестранцев приспособляем к нашему языковому ладу...

А. К.

Виктор ЕНЮТИН

СТИХИ

Монтерей, «Кубик», 1984

Существует термин – «поэтическая сложность». Он выражает, с одной стороны, совокупность духовных качеств пишущего, а с другой стороны, сочетание этих качеств с приемами самовыражения поэта. В последние годы, как мне кажется, на взлете русское стихосложение, полное именно «поэтической сложности». Причем речь идет не только о признанных мастерах, но и о новых зазвучавших именах.

Новые имена всегда вселяют надежду на что-то значительное, необычное и яркое. К ним можно отнести и имя Виктора Енютина, поэта, чье имя прозвучало сравнительно недавно.

Виктор Енютин родился в Москве в 1943 году. В 1975 году эмигрировал из СССР. В Америке он с 1976 года. Некоторое время работал в «Новом журнале», сотрудничал в русскоязычной периодике, публиковал статьи и рассказы. В 1982 году у Виктора Енютина вышли две книги: сборник «Рикошет» (рассказы и стихи) и книга «16-я республика СССР. О советской эмиграции на Запад», где он взял псевдоним «Виктор Зубов». В 1983 году появился поэтический сборник В. Енютина «Пять циклов».

Четвертая книга Виктора Енютина включает стихотворения, написанные в 1983 - 1984 годах. Она разделена на циклы: «Благость», «Созерцание», «Тупики», «Отчаяние», «Размышления», «Радость», «Живописцам», «Кинорежиссерам», «Композиторам», «О политике». Названия циклов говорят не столько о формальном поиске, сколько о состоянии души писавшего стихи.

Иногда они полны ясной непринужденности:

Перебирай спинные позвонки,
Играй, как в четки,
В нежные суставы,
Сжимай волос
Пахучие венки...

Иногда же усложненное переживание рождает красивый поэтический ход:

Дождик нежен, соскользнет ветерком	
Иль струею съедет воздухом в грязь.	
Дому – на ухо	И все чудится
Капель	Прозрачным
Говорком	Ростком
Все внушает	Воды – на небо
Свою сонную	Стремятся
Страсть	Попасть.

Поэт, безусловно, находится под влиянием «эстрадной», футуристической традиции. Возникает занятная смесь из как бы «старомодных» словесных сочетаний, вроде той же «сонной страсти», и современной экспрессии, сродни обэриутству.

За каждым из названий циклов в сборнике В. Енютина скрывается что-то новое: будь то настроение, будь то поэтический прием. Горечь «Политического цикла», к примеру, слышна в лязгающем сопряжении согласных на стыках слов и слогов, в тяжело нагруженных инверсиях:

Тик политического так
Идет на пик кровавых басен,
Нанизывая раж на факт –
На подтасовках штык развязен...

Как знать – переходный ли это этап, когда поэт лишь вбирает в легкие воздух для дыхания? Или идет уже серьезная борьба с поэтическим сопротивлением материала? Приведет ли эта борьба к улаженности – или же к усложненности? Время покажет. Пока что, читая сборник В. Енютина, можно сказать определенно – поэзия возникла. По какому бы руслу она ни устремилась в будущем – сложность и цельность здесь в ладу.

А время со своим решением пусть подождет.

К. С.

Лев ХАЛИФ

ЦДЛ

Альманах-Пресс, Лос-Анджелес, 1979

Новинка пятилетней давности, книга поэта Льва Халифа «ЦДЛ», – о дикой и тощей флоре и фауне, произрастающей в кафе и кулуарах Центрального Дома Литераторов.

Отдавая дань игре слов и понятий, автор, расшифровывает эту аббревиатуру как «Центральный Дом Лилипутов». В Советском Союзе Л. Халиф издал два стихотворных сборника – «Мета» и «Стихотроном». На Западе у него было немало газетных и журнальных публикаций, но книга – пока что единственная.

Биография и география этих «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет» весьма непросты. Лев Халиф взялся за свои записки в Москве, в 1972 году, а закончил в 1977-м, в Нью-Йорке.

Книга «ЦДЛ» писалась в разгар «разрядки» – и за ее распространение автор был исключен из ССП. Случилось это в 1974 году. Печальная честь: быть семнадцатым среди тех трех десятков, каких совписатели, испугавшись, признали «недостойными» и отвергли.

За его рукописью охотились. Автора поджидали на улице, выкручивая руки, вели в участок, грозили сроком. Изымали машинописные экземпляры. Ничего не помогло – рукопись оказалась на Западе, в ее первоначальном варианте. Но... ни одно из западных издательств не сочло ее достойной внимания. Видно, не ко двору тогда пришлось эти записи о совписателях – в те дни «братания свободы с несвободой». Слишком уж прямолинейным был разговор о неприглядной возне за ЦДЛ-овским фасадом!

После выезда из СССР, в 1977 году, Лев Халиф оказался в Соединенных Штатах. Здесь его стихи и проза пришли к новому читателю, с которым надо было, на основе нового «опыта свободы», и разговор вести по-иному.

«И вот я на другом берегу, – говорится в послесловии. – (...) Я даже не из тех, кто пересекает океан, бросая родину, чтобы договорить. Хотя теперь есть возможность говорить на равных. Видимо, опыт несвободы – непередаваем. Этот «институт» надо кончать непосредственно самим...». Однако если эта книга – не учебник, то уж во всяком случае – путеводитель.

Книга «ЦДЛ», хотя и состоит из фрагментов, отнюдь не оставляет впечатления «лоскутного одеяла»: «'ЦДЛ'... Он не собирался по круплицам, этот материал. Документ довлел над живой плотью фантазии. Он пер без памяти, ломая привычные заготовки жанра, с непрерывной усидчивостью и кропотливым анализом написанного», – признается Л. Халиф.

Автор, несомненно, находится под влиянием Юрия Олеши, его полудневника «Ни дня без строчки». И здесь – сцены, сценки, короткие рассказы и длинные афоризмы, печальная замысловатость каламбура, вообще свойственная тому, кто долгие годы провел в «гадюшнике» – кафе ЦДЛ.

Книга Льва Халифа полна безоглядности и горечи. Наряду с точными, едкими зарисовками, тут – страшные в своем лаконизме рассказы о судьбе тех писателей, которых «процесс исключения» свел – не в Новый, а на тот свет: о спившемся Юрии Олеше; о брошенном под поезд Дмитрие Кедрине; о Константине Богатыреве, убитом бутылкой в подъезде собственного дома! О тех писателях, которые погубили свой талант, – и о тех, кого талант погубил.

Но главным в книге остается разговор автора о его собственной судьбе. О том, как пядь за пядью выбирался он из засасывающего болота советизма, из духоты террариума, имя которому – ЦДЛ. И еще – о том, как советский писатель становится писателем русским. А

происходит это благодаря тому «процессу исключения», который в последнее время приобретает уже очертания непреложного закона.

К. С.

Анри ВОЛОХОНСКИЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ

Анн-Арбор, «Эрмитаж», 1983

Эта книга – первое относительно полное собрание стихов своеобразного поэта. В искусстве есть два крайних случая – реализм, с его попыткой подменить жизнь иллюзорным ее подобием, и абсурдизм, с его старанием взять о д н у черту и возвести ее, случайную, в главную суть. Математически обе крайности в п о э з и и отвечают следующей формуле: «Абсурдизм – стремление к нулю, реализм – к бесконечности». Оба направления – на краю искусства, еще шаг – и...

Вот на таком краю и находится поэзия Анри Волохонского. Корни его следует искать у Хлебникова и Хармса. Математическое же мышление (Волохонский в науке работает на стыке биологии и математики) вносит в его стихи нечто качественно новое.

Самодовлеющее значение стиховой формы у него приводит к тому, что слова менее важны, чем интонации, подчиненные ритму, дающему, в свою очередь, настрой. Это уже из области музыки, силой втащенной в словесное искусство. И вот получается такое:

А завтра я пока
На крылышках тю-тю,
Ку-ку да под бока,
На небо лететь
Не то чтобы туда,
Но тут недалеко
Пока мое тогда
Поет твое легко.

Сбитая грамматика, – неважно, исковерканные слова – в этом свой смысл: они исковерканы все в одном направлении: ироническое

хихикание над примитивностью – возможно, примитивностью того, к кому обращено (нельзя же сказать *п о с в я щ е н о!*) стихотворение...

Ироничность проявляется и в случаях более зримых, более осязаемых, когда берутся всем известные сюжеты – например, античные мифы – и иронически пересказываются. Даже не пересказываются – просто берутся персонажи, берется ситуация – тоже всем известная, и наше внимание направляется на одну, *только одну сторону* этой ситуации. Вот, например, стихотворение «Критские вымыслы»:

Дедал парил по небу
Икар сидел внизу
Дедал там прежде не был
Икар доил козу.

Первое недоумение – строфа построена точно по принципу сочетания бузины в огороде с дядей в Киеве. Но в том-то и суть – все стихотворение о том, что Икар, вместо того чтобы лететь за отцом, как ему положено по мифу, выговаривает ему, что вот ободрал он гуся и гусыню на свои крылья, те ходят голые, перед гусятами стыдно:

А деткам каково их
С под век незрелых ок
Родителей обоих
вдруг видеть без порток.
Всеобщее распутство
и шаткость в жизни сей
вот плод летать искусства
и всех твоих затей!

Тут издевка и выворачивание мифа вдруг оборачивается серьезом: к чему, мол, ведут всякие новшества и изобретения... трудно предсказать... Но серьез опять выворачивается в шутку, только в шутку, произносимую с самым серьезным видом. И тут уже видно не обэриутов и не Хлебникова, а другого поэта – величайшего Графомана Всех Времен и Народов: Кузьму Пруткова. И можно сказать, что половина если не больше, всех стихов Волохонского – это создание *из самого себя* современного Кузьмы Пруткова:

Эгей скончался по ошибке
он безнадежно устарел,
Его недавно съели рыбки
которых он когда-то съел...

Порой трудно отделить пародийную интонацию от лирической в стихах Волохонского. Вот его восхищение Элладой:

А дни и ночи там иные,
чем в нашей нынешней нужде
Там луны – рыбы неземные
среди созвездий и дождей!

– типично романтическая строфа, с почти серьезной тоской о сказочном мире античности, увиденном так, как увидел поэт, этот поэт, и никакой другой. И тут же – блеск иронии:

В потоках древние драконы,
чеша о камень чешую,
твердят ликурговы законы
и комментарии жуют.

Мистификация, перемешанная с философскими пассажами, не заслоняет, однако, тех стихов, в которых звучание слова само по себе несет смысл – многозначность звуковой стороны стихов Волохонского хорошо видна на следующем примере, где связь смыслов идет не по линии семантики, а *только* по линии *звуковой тавтологии*, смыслы же – противоположны друг другу:

Куда убегает вода исчезающей зелени?
О, если бы око – мне!
О, ко мне,
ком неги неожиданной!
Тебе дней на дне
Дано мало, а надо много!

И далее, через несколько строк:

.....А надо мной мне осталось небо льна
не больно то верится.

Возьмем это сочетание: «Небо льна» и звуковую тавтологию к нему «не больно». Небо льна – голубое, как цветущий лен, значит, ясное, спокойное... И рядом – недоверие своему впечатлению, недоверие к увиденному спокойствию: «Не больно-то верится!» Как в формуле, сделаем подстановку: «Не верю в безмятежность, в спокойствие, в ясность неба...» Но за две строчки до того было написано: «О, ко мне! – ком неги неожиданной» – расшифруем это как нечаянную радость. Сходство – по звуку, а по смыслу – неожиданность, вопреки неверию... Итак – звуковая тавтология, смысловой контраст.

Вот вам и пример, когда поэт берет единственный прием, единственное изобразительное средство – звук, и на нем, как скрипач на одной струне, играет, пытаясь одной струной заменить целый оркестр. Вот в этом, видимо, и есть суть поэзии Волохонского и абсурдизма вообще.

В. Б.

Юрий МИЛОСЛАВСКИЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ

Иерусалим, 1983

Стихи Юрия Милославского, как и его проза, впервые стали публиковаться на Западе. В «Континенте», «22», «Время и мы»...

О прозе Милославского спорили много, один из романов его произвел нечто вроде скандала, во всяком случае, спора, в котором одни критики отстаивали право автора на «плотную натуралистическую манеру», а другие сочли его роман за элементарную порнографию на уровне Э. Лимонова.

А вот стихи Ю. Милославского, раскиданные по разным журналам, впервые вышли отдельной книгой в конце 1983 года.

По стихам всегда виднее, в чем доминанта автора: если в прозе все не так явно, то в лирике самовыражение не косвенно, оно – суть.

И тут уж дело не в сюжетах стихов. Сама форма становится главным элементом содержания. Важно не что, важно – как. Особенно видно это по таким стихам, которые при поверхностном взгляде кажутся абсурдистскими:

Пацан
Среди листвы, разъеденной дождями,
среди земной разбухшей шелухи
пацан
по черной травке медленно бежит
вокруг скамьи заржавленной и волглрой.

О чем это стихотворение? Ответа не будет, если увидеть просто картинку, вроде бы ничего за ней и нет... в переводе на бытовой язык окажется, что мальчик бежит по листьям. И все. Но взгляды в детали:

листья *разъедены* дождями, травка – *черная*, скамья – *заржавленная*. Не просто осенний пейзаж – образ гнили! Сплошной гнили, и нет ничего живого, кроме мальчишки, да и тот *медленно бежит!*

Прозаизм преодолевается тем, что реальность становится прозаичнее, чем она есть, грязнее, чем в жизни... Вот этот антиэстетический бунт и есть доминанта поэзии Милославского. Каким же способом он внушает читателю это отращение к увиденному миру?

Одолел сквозняк, так свяжи шаль.
Не ищи табак, по сусекам не шарь.
Так свяжи шаль на веселии спиц.
Шерстяной шар на окне спит...

Тут даже нет подчеркнутого антиэстетизма. Вся картина – безнадежная статичность. «Одолел сквозняк, так свяжи шаль» – это не действие, не движение, только слабое желание движения: сама интонация, сам вялый и безвольный ритм говорит о невозможности простого действия – связать. А «веселие» спиц в этом ритмическом контексте усиливает безнадежную скуку неподвижности. Проще говоря, шаль *никогда* не будет связана. Ощущение обреченности на холод и неуют так и остается от стихотворения. И все так же *спит* на сыром, холодном окне клубок шерсти – никчемный, бесполезный... Вот краткий анализ первого стихотворения книги. И далее поэзия Милославского – поэзия холодного, сырого, безнадежно скучного и неподвижного мира.

Если искать корни поэзии Милославского, то обнаруживаются они в стихах В. Нарбута (раннего, конечно) и в более отдаленном смысле – в поэтике обэриутов (но у них все смягчено сатирическим восприятием, как и у близкого к ним Ю. Одарченко), и где-то все это восходит к бодлеровской «Падали» – первому, пожалуй, в мировой поэзии утверждению антиэстетизма как принципа. Вот стихотворение Милославского «Пассажирский Харьков-Гомель»:

Ах, ни слóва, ни полслова, ни трудов,
Перепадное хлестанье городов.
Отпускник на нижней – надломан погон.
До пяти подковами клацал вагон,
И по всем вагонам патрули
Алкашонка за ноги волокли...

Тут – две ярких детали, заключенные в неверный, шаткий и резкий ритм качающегося на скорости поезда: надломанный погон отпускника да в дымину пьяный малолетка... Но они – в потоке жуткого

ритма – перестука, кляцанья... А «хлестанье городов» заставляет поезд от них бежать в ужасе...

Мало в русской поэзии стихов, поэтов, образных систем, столь безнадежных! Нарбут хоть где-то своей особой плотскостью и плотностью пытается по-своему романтизировать всю эту нежить, Мило-славский и этой надежды себе не оставляет. И когда в одном из сонетов, представляющем собой монолог Сталина, обращенный к Богу, он пишет:

Твои пророки у меня в подвале
Свинцом друг другу глотки заливали,

– то вскрывается причина существования этого жуткого мира: мир, где Пророки и те превращаются в грязных зверей, ничего, кроме застоя и гнили, породить не способен. И циничные слова Сталина, опять же обращенные к Богу: «Я казней ждал, а Ты меня не тронул», – открывают всю глубину отчаяния этой поэзии.

В. Б.

**Международная издательская кооперация
ТМА**

приглашает к сотрудничеству.

За подробностями обращайтесь по адресу:

S. Vangnoo (ТМА)
postlagernd/Postamt
D-2358 Kaltenkirchen

По страницам журналов

В СТОРОНЕ ОТ МЕЛКОВОДЬЯ («Новый журнал» № 156)

Само художественное оформление «Нового журнала», его обложка, шрифт, плотная желтоватая бумага последних номеров – напоминают как бы журнал «Старые годы» начала века. Но – внешность обманчива...

Толстый «Новый журнал» существует вот уже 43-й год. С 1959 года его бессменный главный редактор – Роман Гуль. Издается «Новый журнал» в Нью-Йорке, и это не случайно. Он был задуман как продолжение «Современных записок» – лучшего из эмигрантских журналов, закончившего свое существование в начале войны. Тогда весь цвет Русского Зарубежья оказался в Соединенных Штатах. Оттуда и пришли первые авторы и редакторы, основатели «Нового журнала», ставшего выразителем тех же либерально-академических тенденций, что и были свойственны до того «Современным запискам».

Со страниц «Нового журнала» поднимается эманация культуры. Он как бы сторонится сиюминутного, досузей полемики, политического мелководья. Его авторы – серьезный «отстой» той разнохарактерной взвеси, имя которой – русская словесность в отечестве и в зарубежье.

Стихи в таком издании смотрятся выигрышно, получая здесь некий отсвет. Сам факт публикации в «Новом журнале» выдает стихам (да и прозе) некий «знак качества». Но чаще всего – так это и в случае с помещенными в № 156-м стихотворениями И. Елагина и В. Крейда – предпочтительна лирика, в которой слышна холодноватая, даже герметичная, мелодика акмеизма.

«Ударная» публикация 156-го номера – подборка, целая коллекция неизвестных, неизданных стихов Пастернака, неизвестных стихотворных вариантов, писем – из знаменитого собрания Томаса Б. Уитни. Вступление к этой публикации дал Алексис Раннит, что еще акцентировало «ударность» всей подборки. Во вступлении – очень нужные слова – о правоте одиночества для художника слова.

Наряду с авторами Русского Зарубежья, в журнале много места отведено публицистике и литературе, поступающим с родины. В № 156 отрадно было увидеть записки «На Байкале» Александра Ершова. Получено из России. Автор записок погиб в 1979-м. Как и где – неизвестно. Какая драма кроется за краткой аннотацией, рассказывающей о судьбе этих современных «отечественных записок», пришедших на американский континент из далекой сибирской глуши? О путях, неисповедимых путях всего того, что оттуда идет к нам, можно было бы

написать огромное, трагическое повествование. Но – у каждой рукописи своя судьба, и редко кто знает, какими добрыми руками делается это тайное и необходимое дело.

Строки А. Ершова словно озарены теплящимся светом лампы. Они рассказывают, как в таежной глухомани все еще раздаётся звон как-то уцелевшего церковного колокола. И – кандальный звон: топят в Байкале баржи с раскулаченными. Так, врываясь в древний край, новое говорит о черном и чужом.

Черное новое, все эти тяжелые отпечатки XX века, проявляющиеся на умышленно старомодных, желтолицы́х страницах журнальной книги, тем неожиданнее, чем непригляднее и непрогляднее. О фашистском концлагере – рассказ П. Паляя (отрывок «Поживем еще...» из повести «Родин»); о советском женском концлагере, чуть ли не страшней, – повествование М. Шапи́ро, начатое со 150-го номера.

При чтении «Похвалы российской поэзии» Ю. Иваска отдыхаешь душой. Это целый гимн радости – от общения с Некрасовым и Гоголем, Лермонтовым и Пушкиным. Попытка передать читателю это чувство. «Похвала» Ю. Иваска – без лести, но преданно. Общение – не за панибрата, но как с братьями и наставниками. Ю. Иваск преподаёт своему читателю умение по-новому прочесть известное, под особым углом разглядывать знакомое.

Своим предназначением «Новый журнал» видит не просто сохранение чистоты литературного языка, но и разбор отдельных явлений русской классической поэзии и прозы. Жаль, что статьи грешат излишним теоретизированием, весьма отвлеченного толка. Например, «Кельтские мотивы в русской литературе» – статья В. Рудинского из № 156 – скорее пригодилась бы для научного сборника. В журнале же, как-никак ориентированном на широкий круг читателей, эта статья выглядит чересчур серьезной. (Правда, литературоведческие разделы многих соборатьев «Нового журнала», толстых и тонких, грешат тем же самым.)

Вообще, излишний пуризм основного тона и замысла журнала имеет оборотную сторону: то современное, что появляется здесь, выглядит часто каким-то вчерашним днем. Зато – какой яростной, какой роскошной желчью истекает И. Бунин в переписке с М. Алдановым (письма даны в журнал А. Зверсом)! Эта переписка, оказавшаяся как бы дополнением к трехтомнику писем И. А. и В. Н. Буниных, вышедшему недавно в издательстве «Посев», печатается с продолжением уже в третьем номере «Нового журнала». Наследие – «живее всех живых», и не для любителя бесконфликтных ситуаций во вверенном печатном органе...

Перенасыщенность мемуаристикой можно отнести, в зависимости от качества, и к достоинствам, и к недостаткам «Нового журнала». Но переизбыток ее подчеркивает (ненужно) эдакую его «припорошенность прошлым». Например, в № 156-м – шесть (!) объемных мемуарных публикаций. В их числе: М. Гольдштейн – прекрасные

воспоминания о русском баше А. Пирогове; И. Халафов – о русских скаутах на острове Проти в 1919 - 1929 годах; уже упоминавшиеся воспоминания М. Шапиро. Каждый из этих мемуаров, конечно, найдут своего читателя. А вот Троцкий, рассказывающий о Сталине, – такое мало кого не заинтересует. Все же не надо, чтобы казалось, будто мемуарный раздел так обширен оттого, что добротной беллетристики – не напасешься...

Но главное для «Нового журнала» – дух непреходящей вольности, оду которой складывал еще Пушкин. Этот дух свободолюбия, свободомыслия (не путать с вольномыслием!) делает почтенный «Новый журнал» вечно обновляющимся. Неиссякаемый «вольный дух» привлек в его круг лучших из современных критиков и публицистов, таких, как Дора Штурман, Ю. Фельштинский, М. Гардер, А. Авторханов, А. Федосеев и, конечно, сам его главный редактор Роман Гуль.

Читателей «Нового журнала» можно поздравить с ценнейшей художественно-исторической публикацией в ряде его номеров: это воспоминания Р. Гуля «Россия в Германии», затем «Россия во Франции» (которые сейчас уже вышли отдельным двухтомником). С нетерпением ожидается продолжение записок – третий этап, «Россия в Америке».

В заключение напомним, что «Новый журнал», продолжатель идей и традиций первой волны эмиграции, уже тем самым открыт для всех поколений. Это видно и по его авторскому активу, и по редакторам; в редколлегии, наряду с Романом Гулем, – интересный писатель «из новых», Юрий Кашкаров.

К. С.

Наша анкета

О ЧЕЛОВЕКЕ ПОЗДНЕЙ ЭПОХИ

Интервью Карела Гвиждялы с Вацлавом Белоградским

Чешский философ Вацлав Белоградский родился в 1944 году в Праге, ныне профессор социологии Генуэзского университета. Его эссе «Кризис эсхатологии не-личности» было опубликовано сначала в римском журнале «Студие» («Исследования»), а в 1983 году отдельной книгой вышло в лондонском издательстве «Розмлувы». На родине Белоградского, в Чехословакии, эта работа была встречена с интересом и вызвала ряд печатных откликов.

К. Г.: *Эта книга – промежуточный итог твоего философского творчества, читать ее нелегко. Попробуй в сжатом виде представить основную тему этого эссе, основную тему, которую ты разрабатываешь как философ.*

В. Б.: Моя тема, скажем так, – это попытка разобраться, как и почему европейская традиция оказалась под угрозой в нынешнюю «позднюю эпоху», как ее называет Паточка. Европейская традиция – это невозможность свести сознание к институтам, к аппаратам, независимость общества и человеческих отношений от государства и его организации. Эту черту европейской цивилизации я выражаю формулой «несводимость легитимности к легальности». При таком подходе каждый человек отвечает за себя, за свои поступки как за свое личное дело и не может отмахнуться от личной ответственности, сославшись на то, что «закон есть закон». Европейская традиция означает невозможность жить вне совести, переложив ее на некую анонимную организацию вроде закона или государства. Крепость совести является наследием греческой, христианской и либеральной традиции. Однако в эпоху средств массо-



вой информации, тоталитарных государств и всеобщей компьютеризации общества, как мне кажется, эта невозможность свести сознание к институтам оказывается под угрозой. Нетрудно представить себе институты столь совершенной внутренней организации, что они способны любое свое действие выдать за законное или навязать как законное. Если организация является данностью, данностью может стать все, что угодно: примерно так условно можно выразить сущность того, что нам угрожает. Государства программируют своих граждан, производители – своих потребителей, изготовители книг – своих читателей и т. д. Общество постепенно превращается в нечто, что государство вырабатывает для своих нужд.

В понимании Милована Джиласа, Советский Союз представляет собой такое общество, которое революционное государство произвело как свой продукт. Государство всасывает его в себя, как только оно начинает тяготеть к самостоятельности или чрезмерно разрастается. Но подобному «огосударствливанью» подвержены и западные общества. Во все формы общественной жизни, во все человеческие отношения, во все формы коммуникации вкралось государство, аппарат, организация. Например, у нас, в Италии, театральная жизнь и фестивали песен находятся всецело во власти культурных аппаратов. Эту опасность я называю словом, которое настойчиво внедряла Ханна Арендт, – «банализация».

Можно, однако, ту же тему определить и как проблему взаимоотношения между живой речью и текстом. Существуют писанные законы, но, как известно, всего важнее законы, бытующие в нашем сердце, как сказал Де Местр, имея в виду законы, которые живут в нашем поведении, в нашей речи. Тоталитаризм зиждется прежде всего на господстве текста над живой речью. Там все загодя задано, предписано, узаконено. Свободное общество, наоборот, любой текст соотносит с живой речью, где ничто не является заведомой данностью и где закон вполне может на поверку оказаться неразумным. В тоталитарном государстве текст контролирует живую речь. Соотношение между легитимностью и легальностью – это еще и соотношение между живой речью и инструкцией.

К. Г.: *Речь Вацлава Гавела * под названием «Политика и*

* По-русски опубликована в «Русской мысли» №№ 3533-3535 от 6, 13, 20 сентября 1984. – Р е д.

*совесть», зачитанная 14 мая с. г. в Тулузском университете на церемонии присуждения ему докторской степени *honoris causa*», отмечена влиянием твоей философии, есть там и несколько прямых ссылок на твои работы. В твоей «эсхатологии не-личности» и в «теории самопроизвольного движения» Гавела, где человек уже почти ни за что не несет ответственности, можно обнаружить много сходного. Что для тебя как для философа означает такой резонанс?..*

В. Б.: Со времен Просветительства вся современная культура тяготится ощущением своей бесполезности, представлением о том, что она недостаточно служит народу, массам, прогрессу, истории. Культура в наше время хочет вечно чему-то служить, она вся в «заботе о человеке и его росте», из которой Просветительство черпало свой пафос. Интеллигенция постоянно угрызается тем, что от нее мало проку, что она непомерно аристократична. Под бременем этих угрызений она охотно ставит себя на службу какой-либо партии. В теории марксизма-ленинизма эта связь между службой партии и полезностью культуры кульминирует. Возникает понятие «гражданственности культуры», «ангажированности интеллигенции». У одолеваемого гражданственностью интеллигента есть и свой сконструированный антипод в лице мещанина, погрязшего в ограниченном мирке мелких радостей и недостойно уютного быта. У современного интеллигента совесть всегда нечиста, он вечно боится чересчур походить на мещанина. Отсюда массовое коллаборантство с тоталитаризмом, особенно наглядное в Чехословакии или, скажем, во Франции.

В какой-то степени проблема отклика на произведение связана с этими угрызениями совести, с ощущением собственной слабости, от которого страдает культура со времен Просветительства. Иметь массовый отклик, быть составной частью «борьбы за светлое будущее человечества» – таков девиз, ощутимо развративший современную культуру. Тяга к отклику несет в себе опасность того, что интеллектуалы начнут творить ради отклика, попытаются заручиться положительным и широким откликом. Что и происходит сегодня на Западе, где эффект произведения нередко заранее рассчитан и подготовлен.

Говоря об откликах на мои работы, признаюсь, что меня радует скорее то обстоятельство, что они «параллельны», то есть возникают вне тех аппаратов, которые обеспечивают

резонанс некоторым произведениям, вне ослепляющей мощи средств массовой информации, осуществляющих колонизацию культуры в наше время. В нынешнюю «позднюю эпоху» любое сообщество, члены которого связаны не ролями, заданными системой, но общежитием, жизнью, вырастающей из общих идей, неизбежно оказывается «параллельным», отнесенным на периферию общества.

К. Г.: *В разговоре ты часто прибегаешь к словосочетанию «моральные препоны». Утрате «моральных препон» в современном обществе ты придаешь большое значение. Растолкуй, что ты имеешь в виду!*

В. Б.: Вторая увлекшая меня тема – это человек-хозяин нашего века, человек, задающий тон времени, человек без препон. Революции XX века – дело рук «человека без препон», идущего за своим принципом до конца, если нужно – по трупам. Ханна Арендт охарактеризовала этих людей следующим образом: они ведут себя так, словно наша земля необитаема, словно наша жизнь никак не связана с миром наших предков и наших ближних. То, что пронеслось над нашим детством под названием «культ личности», и было агрессией людей без препон против самой структуры нашего общества, против всякой связи с миром наших предков, лежащей в основе традиции. Человек без препон – это функционер, сконцентрированный на выполнении своей функции. Он абстрагируется от всего, что способно рассеять его в его сосредоточенности, абстрагируется от ценностей, совести, прошлого, от самого себя.

В романе Орвелла «1984» есть одно интереснейшее место. Уинстон Смит, размышляя о своем быте, скудной пище, приходит к следующему выводу: он не помнит, как выглядел мир до революции, он не в состоянии доказать, что этот мир вообще существовал, не говоря уже о том, каким он был; факт существования прошлого мира не подтверждается ни одним документом, так что вполне возможно, что его и вовсе не было. Но немой бунт его тела против невыносимого быта, против отвратительной пищи, против окружающих его форм доказывает, что в его теле хранится память о каком-то более естественном мире, которому он принадлежит всем своим естеством. Немой бунт тела – доказательство преданалитичное, доязыковое. Орвелл рисует здесь крайнее проявление кризиса человеческого общества, когда правда переселя-

ется из языка в плоть, из рассудка в предрассудки, из сентенций в ощущения, в осколки памяти, в щемящий укор...

В романе «Инженер человеческих душ» Йосеф Шкворецкий высказывает схожую мысль: «До тех пор, пока наш опыт возвращается в сфере теории, мы ведем себя парадоксально, как звери. Но стоит нам учуять запах крови – и нам делается плохо, как людям». И здесь проступает тот же мотив: когда кризис особенно глубок, правда выселяется из слов и суждений, зимуя лишь в наших чувствах, в неясных движениях души, в беспричинных нравственных препонах. Эти неясные движения души, этот немой бунт тела – голос, которым в нас говорит тысячелетняя традиция Европы, обращенная в бегство мифом научной объективности, той всеобщей преданности необходимости, которая развращает наше мышление в «позднюю эпоху». Европа уже сейчас хоронится лишь в доязыковой памяти нашего тела, в душевном щемлении. Эта память и есть то, что я называю «нравственными препонами». Препоны – единственное, что еще противится суждениям и необходимости, которая навязывает себя посредством суждений.

В этом мне видится смысл категорического императива Солженицына: «Даже если зло кажется необходимым, не позволяй ему осуществляться через тебя!» Известен рассказ Ханны Арендт об искушении современного человека: немецкий солдат пишет домой с фронта, что в минуту слабости он почувствовал сострадание к истребляемым евреям, но сумел подавить в себе это чувство, сумел подняться над собственными моральными препонами. Позволил необходимости осуществиться через него. Ханна Арендт показывает, что, как только человек принимает роль в системе необходимых функций, искушением для него становится его собственная человеческая сущность, которую он научается побеждать. Человек без препон – существо, победившее искушение поддаться голосу своей человечности.

Возможно, лучшим названием для моей философской работы было бы: «Человек без препон и его время». Где та брешь, через которую он проник в европейскую историю, откуда эта слабость культуры перед лицом его опустошающего господства? Кризис «поздней эпохи» можно определить и так: все суждения ложны, правдивы лишь наши предрассудки. Человек без препон раболепствует перед объективной необходимостью истории, осуществляемой через него,

поэтому он строит концлагеря, планирует окончательные решения, выдумывает нового человека, а все то, что в нем самом восстает против этого, он игнорирует как зряшные препоны, пережитки, сантименты.

Главная опасность «поздней эпохи» заключается в том, что люди могут не поверить тихому голосу своих моральных препон.

К. Г.: *Если я правильно понимаю, с помощью отношения человека к нравственным препонам ты пытаешься по-новому определить категорию «разума»?..*

В. Б.: У меня нет никакой философской программы, но я могу сформулировать нечто, к программе приближающееся: начинать необходимо с наших препон! Одним из кардинальных итогов нашей «поздней эпохи» стало зловещее соседство политики с уродством, с кошмаром. Политическая культура нашего времени вырастает из воли к освобождению человека от предрассудков и внешнего авторитета, она беременна проектированием чудовищ. Сюда относятся всевозможные календари новой эры, аннулирующие тысячелетнюю традицию Европы – как, например, в период Французской революции или фашизма. Сюда относятся проекты создания «сельскохозяйственных войск», которые вынашивал Энгельс, всевозможные «храмы разума», где каждый публично должен назвать имена своих друзей, чтобы Совет старейшин мог решить, годятся ли они в друзья. Сюда относятся новые языки, государственные воспитательные дома, центральное планирование, отчуждение государством родительских прав и т. д. Так политика зажимает рот всему тому, что ей предшествует...

Соседство политики с чудовищным свойственно и демократии, так как сущностью демократии является стремление к автономии. Антонимом понятия «автономия» является «гетерономия». Гетерономия означает уважение законов, данных нам внешней силой, – например, Богом, традицией, связью с миром предков или нашим естеством. Автономия же, напротив, означает, что не внешняя сила, а мы сами – творцы своих законов. Это власть разума. По-настоящему понять тяготение нашего времени к эмансипации человека от предрассудков можно только в том случае, если мы не убоимся признать демонический аспект автономии: аспект этот в том, что мы сами, автономно, – без уважения к чему-либо – можем изменить структуру общества, истребить миллионы евреев, ли-

шить прав целые общественные прослойки, отнять у родителей право воспитывать своих детей. Сущностью автономии является возможность принимать решения без уважения к прошлому и к другим людям. Без каких-либо препон. Здесь политика приближается к чудовищному, ибо только монстр ведет себя так, словно ничто не предшествует его словам и делам. О таком принято говорить: «Это человек без препон, он способен на всё». В этих словах – наше впечатление уродства от человека, который в своих поступках не чувствует себя связанным ни прошлым, ни людьми, который словно бы присвоил себе право решать, кому жить на этой земле.

Это навязчивое соседство политики с чудовищным вытекает из того, что человек, эмансипируясь, освобождается от предрассудков и предает себя во власть разума, лишенный охранной силы своих тысячелетних нравственных препон. Вот почему в XXI веке, на мой взгляд, следует начать с реабилитации наших препон. Ведь разум – это не то, с помощью чего мы конструируем искусственные миры, нам в угоду кружащиеся вокруг; экстаз от этого эфемерного могущества на деле противоположен разуму; это слепота. Посредством разума в нашем бытии должно возводиться на пьедестал то, что не подлежит совершенствованию, перестройке, от чего нельзя абстрагироваться, чему можно только поклоняться. Разум, таким образом, – это непрерывно возобновляемая близость поведения и предмета поклонения. В лирическом экстазе просветительской тяги к эмансипации эта суть разума была позабыта. В нравственных препонах разум реабилитирует себя, вновь приковывая нас к тому, чему можно только поклоняться. То же, на мой взгляд, имеет в виду и Гавел, говоря об «утрате абсолютного горизонта» как о потере разума.

В параллельном полисе с новой радикальностью встает вопрос о пределах человеческой автономности, о том, что связывает и обязывает человека, в то время как пафос современности – в стремлении к освобождению человека от всех обязательств. Возьмите хотя бы, к примеру, западный феминизм! Словно быть женщиной – это ни с чем не связанное состояние, словно этой своей идентичностью женщина нисколько не обязана чему-то такому, от чего она не может отмахнуться, не повредив в себе чего-то существенного! В нынешнем мире государственных служащих обязательный характер утрачивают и такие человеческие отношения, как, скажем, узы

между учителем и учеником. «Поздняя эпоха» знает лишь экстаз от ощущения того, что все границы преодолимы.

В свете этой тематики нельзя не заметить исключительно важную роль русской культуры. В ней всегда было живо осознание опасности, которой подвергает человека его воля к эмансипации от прошлого. Ее всегда пугала фигура человека, отвергающего любые законы, вырванного из всех взаимосвязей, идущего по жизни как чужеродное, убийственное тело. У Солженицына этот мотив русской культуры восстановлен с уникальной энергией. В заключение можно привести эпитафию из Грабала: «Некоторые пятна не поддаются выведению без повреждения основы». От некоторых предрассудков нельзя избавиться, не превратившись в чудовищ...

К. Г.: *Наверно, в новом тысячелетии многие категории и понятия нам придется пересмотреть, осмыслить по-новому, с нуля, под иным углом зрения, и не одни мы всё четче сознаем это. Одним из таких подлежащих переосмыслению понятий является принадлежность произведения к мировой литературе. Иначе говоря: принадлежит ли посредственная, но переведенная на несколько основных языков книга к мировой литературе в большей степени, чем та, что не переведена, но открывает нам иной взгляд на мир, показывает жизнь необычно, неожиданно, в новой перспективе?..*

В. Б.: Принадлежность к мировой культуре означает обычно то обстоятельство, что данное произведение было замечено литературой великих народов, получило резонанс, стало модой и темой докторских работ. Существует, однако, и более сильное толкование принадлежности к мировой культуре: в мировую сокровищницу входят те произведения, которые, в отличие от обычного ширпотреба, превосмогают обуславливающую силу среды своего возникновения и становятся универсально понятными. Мировой характер произведения – в том, что в нем реализуется это преобладание мира над средой. «Мировым» является такое произведение, которое втягивает человека в мир из ограниченной среды его обитания. Таким образом, в мировом характере произведения всегда присутствует элемент безжалостности: оно немилосердно вырывает нас из безопасной ограниченности среды. Эта победа над зависимостью от среды пронизывает такое произведение и бесконечно повторяется в каждом, кто его понял. Можно сказать и так: «мировым» является такое произведение, которое нельзя

повстречать безнаказанно, которое меняет нас тем, что мы его понимаем. А перемена заключается в том, что наша среда отныне представляется нам аспектом мира, сколком целого. В «позднюю эпоху» нелегко ответить на вопрос, возможна ли вообще такая принадлежность к мировой литературе в окружающем нас мире массовой культуры, управляемой компьютерами. Окрик литературных политкомиссаров: «Писать надо для народа!», который нам был так отвратителен, звучит сегодня в миллион глоток, но в слегка измененном виде: «Писать надо так, чтобы продавалось!» Можно утверждать даже, что «мировой» характер в смысле планетарного распространения какого-либо текста сегодня предполагает полную зависимость произведения от среды его возникновения. Я имею в виду вот что: большинство книг в наше время возникает в недрах гигантских организаций, гарантирующих им планетарный рынок, но и заранее определяющих их форму. «Мировыми» сегодня становятся книги, составленные так, чтобы средства массовой информации могли без труда распространять их. Но средства массовой информации – это отнюдь не нейтральные средства связи, они навязывают нашей речи определенную обязательную форму: все должно быть доступно везде и всем, поэтому в нашем опыте важно лишь то, что повторимо. Это лишь иной аспект все той же банализации. «Мировой» характер произведения сведен к планетарному распространению продукта, а следовательно, определяется в первую очередь средой – гигантскими организациями и средствами массовой коммуникации.

К. Г.: *Можно ли вообще в наше время написать «мировое» произведение, победить зависимость от среды и тем самым изменить смысл жизни целых поколений? Можно ли еще добиться такой победы, которая тысячелетиями повторялась бы в каждом постигшем ее смысл человеке?*

В. Б.: Именно за это и идет сегодня борьба в культуре, хотя и на периферии ее массового производства.

Наша эпоха является «поздней» еще и потому, что человек, определяющий свою идентичность способностью превозмочь обуславливающую силу своей среды, – такой человек в опасности! Ему смертельно угрожает подмена мировой культуры – планетарным распространением текста.

К. Г.: *Какие еще категории, на твой взгляд, нам предстоит в ближайшем будущем переосмыслить, чтобы выйти из ны-*

нешнего патового положения, в котором, судя по всему, под угрозой оказалась наша человеческая сущность?

В. Б.: Нам никогда не удастся вовремя стряхнуть с себя зловещее наследие категории «объективность». Монтейл где-то называет ее «одним из мясоедных мифов нашего века». Она имитирует атмосферу научности, в действительности же выражает нашу готовность подчинить свои поступки и мысли некоему агентству необходимости, по милости которого человек смеет затем существовать вне Добра и Зла. Гавел говорит о собственной идентичности как о новой основе для жизни в «позднюю эпоху». Люди объективности, наоборот, отрицают всякую связь между тем, что они есть, и тем, что они делают, между своей личностью и своей функцией. Они хотят жить на ничьей земле, на нейтральной полосе, в сфере вечной невинности. Орудиями объективности в наше время являются государство и партия. Согласно макиавеллистской технологии власти, правитель должен освободиться от всех человеческих страстей и предрассудков, чтобы иметь возможность управлять государством объективно. Это и есть та знаменитая формула «*verità effettuale*», которой, по словам Макиавелли, правитель должен всецело подчинить себя. В таком самоотречении порой немало драматического. Так, в драматургии эпохи барокко володарь часто выступает аскетом, человеком, который преодолел порог отношений, свойственных простым смертным, который охвачен космическим холодом государственных интересов, понуждающих его к грозным делам. Простой человек избавлен от такой судьбины. Он не знает кошмара высшей необходимости, воплощенной в государстве, которым правит правитель.

Другой инструмент объективности – это партия, которая представляется носителем объективной необходимости, воплощением логики и разума истории. Тот, кому открылись объективные законы истории, считает себя вправе воспитывать в других тягу к познанию необходимости. Концлагеря ведь проектируются не только для нужд ликвидации, но и как составная часть «заботы о росте человека», т. е. для педагогических или гигиенических нужд. Сюда уходит корнями жуткая идея перевоспитания человека, очищения общества. Объективность – это приказ, смысл которого: «Отринь себя самого! Дай исторической необходимости осуществиться в твоих делах!» Это **ничей** угол зрения, и наш век зажился под терро-

ризирующим взглядом **Никого**. Под **ничьим** углом зрения люди выглядят как звенья некоей системы, которым нужно определить их роли, так как сами они своих ролей не знают. Очень важно подломить ложное достоинство этого взгляда **Никого**, который обратил прогрессивных интеллектуалов в варваров. Ложно все, что выглядит необходимым, ибо жизнь опирается лишь на относительные истины. Нужно снова радикально выразить мысль о том, что сфера невинности не существует, что мы во всех случаях лично ответственны за наши поступки и мысли. Объективность оборачивается уничтожением взглядов других людей во имя взгляда **Никого**.

Дело рук человеческих никогда не привносит в мир ничего необходимого: оно лишь след, оставленный человеком. Мир – там, куда ведет след; то, что является в нем. Объективность – это стирание следов, крушение мира.

Любопытно, что быстрее всего категория «объективности» теряет почву под ногами именно в науке и медленнее всего в философии истории (историософия), куда она вошла в порядке мифологизации науки. В любом случае теория исторической необходимости – это всегда претензия на собственную невинность в эпоху массовых убийств и уничтожения планеты. По Гадамеру, понять какое-либо утверждение значит иметь мужество задать самому себе вопрос, на который это утверждение отвечает. Слово «объективность» отвечает на вопрос: «Как я могу оставаться невинным даже в эпоху концлагерей и ядерной войны?» Человек объективности отвечает: «Я без вины, ибо через меня действует необходимость».

К. Г.: *Не кажется ли тебе, что объективность в таком понимании ведет к неуважению, а то и к ликвидации подлинного мышления? Например, в ФРГ докторские работы превратились в каталоги, в перечни тезисов, так как только каталоги объективны...*

В. Б.: Ты наверняка помнишь одну сцену из «Человека без свойств» Музиля. Генерал Штумм там посещает государственную библиотеку и узнает, что хороший библиотекарь не должен читать вверенных ему книг. Он может знать лишь наименования и регистрационные номера книг. Тот, кто принимается читать книги, для библиотеки как работник потерян. В этом направлении развивается вся система образования в современном мире. В распоряжении человека оказывается все больше каталогов и регистров, которые применимы лишь при

условии, что ему нет дела до содержания соответствующих книг. Сведение культуры к каталогам, ссылающимся друг на друга, – еще один аспект того, что мы назвали банализацией. Вокруг составления и использования каталогов затем вертится все университетское делопроизводство. Подлинная культура всегда имеет мужество поставить вопрос, на который нет ответа в пособиях, каталогах или регистрах, на который каждому приходится отвечать за себя. Мыслить значит своим умом дойти до того, что не дано заранее, значит задать вопрос о легитимности там, где все ссылаются лишь на легальность. Недавно мне было сказано, что «Еретические эссе» Паточки на немецкий лучше не переводить, так как это могло бы повредить его репутации как ученого; работа эта, видите ли, недостаточно университетская, недостаточно объективная, не выглядит каталогом. Из этого ясно, что культуру приходится защищать не только от политических мафий, но и от университетов, от тенденции любой организации все сводить к делопроизводству. Культура, по своей сути, это творческое наследие, понятное лишь как вопросы, на которые каждому приходится отвечать за себя, ответов на которые нет в пособиях. Такая культура все больше раздражает в нашем организованнейшем из миров.

К. Г.: *Объективность, однако, можно понимать и как заслон против партийности. Как быть с категорией «партийности» в наше время?*

В. Б.: Конечно, в юности все мы познали опустошающую норму партийности, которая должна была стать основой новой жизни, нового человека. Вацлав Черны характеризует этот идеал словами Штоллы: «Чешская поэзия должна и впредь всецело отдавать себя служению сталинской партии с ее созидательной программой, ибо жизнь полностью подтвердила ее политическую правоту». В слове «объективность» может слышаться отмежевание от подобной служебности. Но в данном случае под «объективностью» подразумевается нечто иное, а именно: независимость мышления от организаций, от всего, что дано заранее и считается обязательным. По мнению П. Рико, мотив современной культуры, связанный с именами Маркса, Ницше, Фрейда и Гуссерля, можно сформулировать и так: сознание как задача. Человек силится освободиться от бессознательного рабства интересов, инстинктов, мстительности, технического видения мира. Сознание как за-

дача означает выявление скрытых предпосылок поведения и речи, вынесение в сознание того, что желает быть сокрытым, неосознанным. Смысл же партийности прямо противоположен: задача как сознание. Функционер сосредотачивает мысль лишь на выполнении своей задачи, отбрасывая за ненужностью все то, что отличает сознание от задачи.

Тем не менее, понятие «партия» имеет и свой специфический пафос: человек освобождается от зависимости от собственной семьи, народа, общины и вступает в союз с другими людьми на основе общности свободно избранных целей. В этом слове слышится эхо свободы ассоциаций и организаций, которая занимает центральное место в функционирующих демократиях. Общая цель становится важнее кровных или национальных уз. Такие люди испытывают чувство братства и товарищества скорее в рядах партии, чем в своей семье или народе. Уже в самом начале эры партийных демократий консервативные мыслители видели нечто уродливое в таком господстве искусственных союзов над естественной общностью, основанной на семье. Они опасались того, что человеку не удастся сохранить свободу, если распадется эта естественная общность, защищающая его от произвола государства.

В наше время в слове «партия» звучит нескрываемая угроза. Партия давно перестала быть союзом людей, объединенных общей целью, общей идеей, которой они намерены посвятить свою жизнь. Зловещее звучание слова «партия» связано с перевесом организации, аппарата над идеалом. Политика давно стала апологией существующих аппаратов. Есть мнение, что все партии стоят друг друга, так как все они подчинены аппаратной логике, своей собственной организованности, для которой идеалы и ценности, в конечном счете, оказываются лишь помехой. Функционеры всех стран хорошо понимают друг друга, что хорошо иллюстрируют быстрые карьеры наших эмигрантских коммунистических функционеров на Западе.

То, что принято обозначать словом «диалог», вся эпоха взаимопонимания между Западом и Востоком – не что иное, как сговор между функционерами всех стран, между апологетами существующих организаций. Функционер нейтрален, он не коммунист и не капиталист, он лишь усерден в выполнении своих функций. Он не борется за власть, он управляет. На

почве управления встретятся коммунисты и капиталисты мира – вот смысл теории конвергенции.

Итальянский писатель Л. Шаша написал книгу о судьбах своей родной Сицилии. По его мнению, отличительной чертой и первородным грехом сицилианского общества является убеждение, что не идеи, а заговоры правят миром, не идеи, а организации, мафии определяют ход истории. Шаша утверждает, что весь мир начинает все больше походить на Сицилию. Везде берет верх губительное убеждение, будто не идеи, а менеджеры, мафии, аппараты являются движущей силой мира. В слове «партия» слышится страх перед тем, что весь мир превратится однажды в большую Сицилию. Этот процесс особенно очевиден в политических партиях, но он имеет место не только там. В издательствах, в кинопроизводстве, в газетном деле, в университетской жизни аппараты господствуют над идеями. То, что пугает нас в слове «партия», ширится подобно чуме, поражая все области общественной жизни. И это не что иное, как еще один аспект банализации, о которой мы говорили раньше. Организация отчуждает совесть, и легальность превращается лишь в непрозрачную систему инструкций, управляемую специализированным аппаратом.

К. Г.: *Есть ли, по-твоему, выход из такого положения, где культура и политика сведены к апологии существующих аппаратов?*

В. Б.: Один из основателей американской республики, Мэдисон, считал подлинную демократию несовместимой с существованием политических партий (factions), ибо дух партийности (factionness) неизбежно ведет к коррупции того, что именуется «res publica». Демократии реально угрожает функционерская логика, которая смазала различия между идеями, лежащими в основе подлинной политики. Между функционерами социалистической и консервативной партий нет никакой существенной разницы, между идеалами этих партий такая разница есть. Гегель написал, что трагедия, но и достоинство истории – не в борьбе Правды против Лжи, как это полагают многие, а в борьбе различных Правд. Функционерская логика опустошила историю и превратила ее достоинство в бесконечную свару между аппаратами, где один стоит другого. Свобода и плюрализм – это не просто наличие множества аппаратов, ведущих вечную тяжбу между собой. Свобода означает, что между институтами и совестью, между государ-

ством и обществом существует плодотворная напряженность: возможность критиковать свои институты с позиции ценностей и идеалов. Философию Масарика отличает сознание того, что демократия зиждется прежде всего на этой диалектике, на положительных результатах этого напряжения. Ибо мы утрачиваем свободу, когда исчезает разница между идеей и аппаратом, между ценностями и организациями, а демократия превращается лишь в тяжбу функционеров, оспаривающих друг у друга мелкие выгоды внутри функционирующих систем. Именно такое положение имеет в виду Гавел, когда говорит о «постдемократическом самопроизвольном движении».

Чтобы найти выход из ситуации распада свободы, следует научиться у диссидентов создавать параллельные полисы. Вот достойный ответ на обесмысливание истории. Неидеологическое сообщество людей, описанное Людвиком Вацуликом в «Чешском соннике», людей, живущих в ладу со своими моральными препонами, людей, не позволяющих навязать себе роли внутри необходимости, – в этом мне видится путь наружу, из-под власти аппаратов, вполне пригодный и здесь, на Западе.

К. Г.: *Не идеализируешь ли ты параллельный полис? Ведь и он в действительности полон противоречий...*

В. Б.: Это не страшно! Лиха беда начало... Я знаю, что на Западе сейчас все больше молодых людей, которые видят в этом смысл. Например, в Италии сейчас полно издательств, сильно смахивающих на «Петлице» («Засов»): в них нет штатных сотрудников, все делается своими руками. Конечно, они никогда не смогут конкурировать с такими книгопроизводителями, как «Мондадори». Но зато они свободны. В одной из своих радиопередач ты рассказываешь о подобном явлении в Германии. Значит, это не случайное совпадение. В середине 70-х годов кризис итальянских университетов достиг такой глубины, что профессора и студенты сами представляли собой некий параллельный полис. Аналогичная ситуация складывается сейчас в кинематографии. Решающее отличие Запада от Востока в этом отношении я вижу в экономической свободе, свободе предпринимательства, которая является основой параллельного полиса на Западе. Свободный рынок – это всегда своего рода «параллельный полис».

На уровне идей жизнь каждого из нас отлична и осмысленна. На уровне идей социалист живет борьбой за равноправие,

на уровне идей либерал живет борьбой за независимость человека от государства, на уровне идей католик живет борьбой за возможность выразить своей жизнью Закон, который его превышает бесконечно. На уровне идей все политические платформы равно хороши, заслуживают всяческого уважения и взаимосвязаны. В этом смысле все те, кто верит, что идеи, а не мафии правят миром, ощущают сегодня общую угрозу, исходящую от господства аппаратов. И в этом я вижу основу для некой новой «солидарности», близкой в принципе к «солидарности потрясенных» Паточки.

К. Г.: *Как ты понимаешь коррупцию мышления, которую всегда несут с собой аппараты и избыточная организованность?*

В. Б.: Коррупция человеческого мышления – это прежде всего коррупция естественной речи. Язык на сегодняшний день загнан в три формы. Во-первых, это руководство, пособие или каталог, где каждый может найти подходящий ответ на любой вопрос. Образование становится приобретением сноровки правильно пользоваться пособиями и каталогами. Сегодня в качестве пособия выступает ЭВМ, но от этого существо дела не меняется: компьютер остается хранилищем искомым ответов. Во-вторых, это девиз, лозунг. Лозунгом мы убеждаем других покупать наш товар, избирать нас или довериться нам. В-третьих, это апология, или успешная защита собственной позиции. Естественная речь все заметней поглощается этими тремя формами.

Коррупция речи заключается также в том, что все заготовлено заранее. Даже сами вопросы зашифрованы в готовых ответах. Подлинный диалог возможен только в том случае, если по его ходу всплывают проблемы, не известные заранее его участникам, как бы вызванные к жизни этим диалогом. Самое важное в диалоге – это вероятность того, что его участникам откроется нечто неожиданное-негаданное, что в нем будет высказано нечто, чего высказывать они не собирались. Диалог – это рост сознания. Избыточная организованность повинна в том, что такой диалог становится невозможным. Возможен лишь планетарный обмен заранее подготовленной информацией. Давайте задумаемся над судьбой слова «гипокризия», означающего лицемерие. Первоначально, в греческой трагедии, это слово означало часть риторической подготовки (примерку лица) перед началом «акции», то есть отра-

ботанной декламации с эффектной интонацией и точной разбивкой слов. Не правда ли, как любопытно изменилось значение этого слова?! Для нас это уже лицемерие, т. е. притворство, ханжество, двуличность. Западная языковая традиция здесь схватила нечто исключительно глубокое: любая домашняя заготовка, любая декламация никогда не может быть искренней, она всего лишь притворство. Истина только там, где человек идет на сознательный риск неожиданной встречи в языке с проблемой, никому не известной и никем не решенной.

В фильме «Красное и черное» есть замечательная по своей глубине сцена: Жюльен Сорель исподтишка наблюдает в дверную щель за кардиналом, отрабатывающим у зеркала эффектные жесты для своей проповеди. «Значит, и здесь политика! – понимает юноша. – Значит, и Церковь – всего лишь игра, где на кон поставлена власть! И здесь царит заранее заготовленное!»

Коррупция речи и есть царство заранее заготовленного, втягивающее нас в игру, где на кон поставлена власть. Никто не говорит: все лишь отрабатывают жесты перед зеркалом. Или так: в языке уже нет окон, одни лишь зеркала.

К. Г.: *Это, собственно, тема твоего эссе «Бегство из Пти-дэпэ». Бегство от заранее заготовленного – вероятно, это и есть задача нашего поколения, цель наших усилий...*

В. Б.: Я сказал бы скорее, что это отличительный признак нашего поколения, наше, говоря языком герменевтики, «живое сцепление». В сборнике «Поколение 35 - 45» я пишу о поиске, раскапывании, извлечении полузабытого из-под развалин. Я часто и не без ностальгии вспоминаю, как мы рылись в букинистических развалах, как мы разбили всю букинистическую Прагу на участки в поисках недостающих нам философских книг. Я учился в шестидесятые годы, и раздобыть нужные книги, даже классику, даже «Критику чистого разума», было нелегко. Они были разве что у букинистов. Отчасти это напоминало поиски Смита из Орвеллова романа, с той только разницей, что мы были успешней, мы всегда, в конечном счете, находили то, что искали. Вспоминаю 61-62-й годы, философский факультет Карлова университета. Можно смело утверждать, что в какой-то степени мы были причиной чудесного преобразования наших профессоров. Когда мы в беседе с ними затронули эту тему в конце Пражской весны, один из профессоров признался: «Вы – первое поколение, перед которым нам

стало стыдно за свою глупость. Вот мы и пытались в эти годы, с 62-го по 67-й, вместе с вами исправить, что можно». Тогда царил атмосфера поиска связей с подлинным мышлением, и эпохальную роль в этом сыграл Паточка, сохранивший для всего нашего поколения живое сознание связи с европейской традицией, которое сегодня столь ощутимо проявляется в философском мышлении тех, кто остался на родине. Можно сказать, что переживание, определившее мое поколение, заключалось в раскапывании погребенного, в нахождении следов подлинного мышления, которые все слабей просвечивали сквозь нанос инструкций, пособий, лозунгов и апологий. Больше всего на свете мы боялись утратить это живое сцепление и провалиться в черную дыру истории.

К. Г.: *Недавно тебе исполнилось сорок. Вацлав Гавел в беседе с Иржи Ледерером как-то сказал, что сорок лет – это возраст, когда приходит второе дыхание, когда пора менять тему... Как обстоят дела с тобой?..*

В. Б.: А я как раз и жду сейчас появления второго дыхания, хотя понимаю, что оно может и не прийти – такое случается и с бегунами лучше меня. Я остро ощущаю, что все, сделанное мной до сих пор, принадлежит определенному, сегодня уже уходящему в прошлое, этапу моего мышления, когда основной материал для размышлений мне поставляли, как говорит Гавел, мои детские и отроческие годы, та атмосфера, которая царил в Карловом университете и в стране в шестидесятые годы. Я имею в виду атмосферу стихийного протеста против всего заранее заготовленного, против перевоспитания, исторической необходимости, которой, как дубинкой, размахивали марксисты. Этот этап завершен. Возможно, первые признаки того, что я собираюсь делать на следующем жизненном этапе, просматриваются в эссе, написанном для твоего «Сборника поколения». Основную мысль можно сформулировать приблизительно так: как жить в эпоху, когда все так жутко легко? Что означает для европейца эта легкость норм, сама собой разумеющаяся в наш технический век? По выражению Паточки, вся наша нечисть выползла на Божий свет, и оказалось, что это не более, чем злопамятные фантазии о поощрениях и наказаниях. Нормы потеряли всякий вес, тысячелетние духовные традиции стали условными. Императивная критичность науки, стремящейся все доказать методически, обратила в бегство естественную речь, с помощью которой

выражают свои мысли о Добре и Зле. Сегодня все можно заказать нажатием соответствующей кнопки. Не только вещи, но и самые сокровенные состояния души достигаются нажатием кнопки: и радость, и разум, и мы сами. Мне хочется понять последствия такой легкости бытия. Вопрос только, можно ли к ней приспособиться, не утратив своей человеческой сущности. Мысль Гавела о потере абсолютного горизонта, по моему, свидетельствует о подобной направленности его духовного поиска. Все нормы легки, и ничего не стоит их преступить; мы вообще осознаем их только как преодолимые. Весь пафос эпохи заключается именно в прославлении «преодолимости всех и всяческих преград». Нет вокруг нас ничего такого, что было бы связано с чем-то тяжелым, неизменным. Как жить в мире, где никто и ничто не будет наказано, ничто не будет прощено? Общественный строй не имеет больше никакой увязки с чем-то трансцендентным, с некой окончательной концепцией мира. Приходит на память строка из Владимира Голана: «...Бог милости и гнева захлопнул вечность за собой». Проблема легкости норм, оставшаяся после его ухода, не может быть решена простым поскребыванием в захлопнутую дверь вечности. Бог милости и гнева не мог пережить критику, которой его подвергли Маркс, Ницше, Фрейд, все современное самосознание. Фантазия о Великом Мстителе сегодня выглядит примерно так же, как знаменитое определение Бога, данное фельдкуратором Отто Кацем: «...Бог есть бытие, которое стесняться не будет, а задаст вам такого перцу, что вы очумеете!» Этот дешевый Бог – порождение общего кризиса «поздней эпохи», того страха перед легкостью норм, который ощущается повсюду. «Утрата абсолютного горизонта» у Гавела – это, по существу, тоска по трансцендентному, освобожденному от мстительных или самоутешительных фантазий «поздней эпохи». Речь здесь идет о борьбе за религию, как об этом говорил Масарик. Надо бороться за религию – а не спастись от легкости норм, выдумывая себе всякий раз очередного «вселенского сверхухаря» – как выразился Восковец. То же и в политике.

К. Г.: *Существует ли вообще политика как таковая? Не устранила ли планетарная организованность то, что было принято называть политикой?*

В. Б.: Утрата политики как одного из измерений собственного существования – типичная черта «поздней эпохи». В наш

технический век политика стремится «примазаться» к технике, она рядится в технику, выдает себя за нейтральную администрацию, за систему управления, не имеющую ничего общего ни с этикой, ни даже с обыкновенной совестью. Паточка и Гавел предвосхищают тему будущего тысячелетия, показывая, что политика – это не техника управления, как в это хотелось бы верить еврокоммунистам и менеджерам, но то, что создает основу для «единства прозревающих людей»: не свирепого единства тоталитаризма, а единства свободных людей. В основе политики должно лежать познание относительности ценностей, которые мы считали абсолютными. Наши идеи были увидены глазами других людей внутри того, что именуется «общественной жизнью», и оказалось, что они относительны. Познание этой истины создает почву для общежития свободных людей. Таким образом, политика неразрывно связана с диалогом, с мышлением, она – составная часть общего потока идей.

Общественная жизнь, как уже было сказано, давно утратила это измерение. Она давно перестала быть тем значимым временем, в потоке которого мы ясно отличаем то, чему надлежит остаться после нас в качестве нашего наследия, чему дано войти в жизнь других людей, от того, чему суждено исчезнуть вместе с нами как частице нашего личного, незначимого времени. Политика – важнейшее измерение европейца, в ней он превозмогает хрупкость человеческого факта, как любил выражаться Паточка.

В своем эссе «Политика и совесть» Вацлав Гавел говорит об «антиполитической политике». Этот термин только вносит путаницу, ибо политика в западной традиции – это именно то, что Гавел назвал «антиполитической политикой». Политика – это опыт живого сцепления наших слов и дел со словами и делами других людей, которое релятивизирует абсолютизированные убеждения, ценности и идеи. Укрыться перед лицом этого опыта невозможно, но вполне возможно загримировать его слоем технизации, управленческого жаргона, атрибутами функционерской логики. Политика стала сегодня формой торговли между аппаратами партий, процессом заключения сделок, делом крайне безынтересным, или, как говорит твой сын Ондřej, скукотой. Это ощущение разделяет подавляющее большинство людей как на Востоке, так и на Западе. А все потому, что политика нынче стала фактором функциониру-

вания аппаратов и организацией, а не драматическим измерением нашего бытия, где наш опыт сталкивается с опытом других людей, и в этих столкновениях нам открывается относительность нашей среды и наших идей, их связь с жизнью других людей.

Параллельный полис представляет собой попытку восстановления политики в этом смысле слова. Ведь именно средствами политики борется европеец за то, что видится ему главным в жизни: за то, что завещает он будущим поколениям. Сохранить для будущего частицу себя и своей жизни, найти в конечности бытия глубокий смысл – это ли не примета принадлежности к Европе? Парадоксально, что те, кто готов жить общественной жизнью, готов делать политику, вынуждены замыкаться в четырех стенах частных квартир, ибо монополию на политику присвоила себе полиция. На Западе полицию бояться не приходится, но там другая задача: освободиться от засилия организаций и аппаратов, полностью поглощающих общественную жизнь. Универсальный смысл параллельного полиса в том, что он восстанавливает политику в правах в наше время.

Если политика исчезнет из нашей жизни, если ее поглотят алчные компьютеры, управляемые путем манипулирования предписаниями, то из истории исчезнет и сама возможность прожить собственную жизнь как завет, крепкий и полный внутреннего смысла, входящий в жизнь других как частица значимого времени. Мне страшно оттого, что множатся приметы, возвещающие наступление времен, когда человеку уже негде и некогда будет оставить после себя следы.

Перевел с чешского Ефим Фиштейн

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «РУССИКА»

- RUSSICA-81. Литературный сборник.** Поэзия, проза, публицистика, мемуары, публикации. 400 стр. Тв. пер. \$25.00. Бум. обл. \$20.00.
- АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО.** Салат из булавок. Рассказы и фельетоны. 224 стр. \$9.95.
- ЮЗ АЛЕШКОВСКИЙ.** Рука. (Повествование палача). Роман. 314 стр. \$16.50.
- НИНА БЕРБЕРОВА.** Железная женщина. Роман-биография. 402 стр. \$18.50.
- НИНА БЕРБЕРОВА.** Курсив мой. Автобиография. Издание второе, исправленное и дополненное; с новым предисловием автора. В двух томах. 708 стр. Тв. пер. \$48.00. Бум. обл. \$28.50.
- НИНА БЕРБЕРОВА.** Стихи. 1921 – 1983. 120 стр. \$7.95.
- ИОСИФ БРОДСКИЙ.** Римские элегии. 32 стр. \$5.00.
- АЛЕКСАНДР ГЛЕЗЕР.** Полдень и полночь. Стихи и переводы. 137 стр. \$7.95.
- НАТАЛЬЯ ГОРБАНЕВСКАЯ.** Чужие камни. Стихи 1979 – 1982. 70 стр. \$5.95.
- МИХАИЛ ДЕМИН.** Блатной. Роман. 364 стр. \$18.50.
- МИХАИЛ ДЕМИН.** Перекрестки судеб. (Две повести: «И пять бутылок водки» и «Тайны сибирских алмазов»). 307 стр. \$17.00.
- НОДАР ДЖИН.** Сост. Книга еврейских афоризмов. 288 стр. Тв. пер. \$23.00. Бум. обл. \$14.00.
- ЗИНОВИЙ ЗИННИК.** Перемещенное лицо. Роман. 250 стр. \$15.00.
- МИХАИЛ КУЗМИН.** Сети. Первая книга стихов. Берлин, 1923. *Переиздание.* 208 стр. \$5.95.
- МИХАИЛ КУЗМИН.** Нездешние вечера. Стихи 1914 – 1920. Петербург, 1921. / *Переиздание.* 136 стр. \$5.95.
- МИХАИЛ КУЗМИН.** Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Каллостро. Книжные украшения М. Добужинского. Петроград, 1919. / *Переиздание.* С новым предисловием Геннадия Шмакова. 250 с. \$9.95.
- НОВАЯ НЕПОДЦЕНЗУРНАЯ ЧАСТУШКА.** Сост. В. Козловский. 405 с. Тв. пер. \$20.00. Бум. обл. \$15.00.
- БОРИС НИКОЛАЕВСКИЙ.** История одного предателя. Террористы и политическая полиция. Берлин, 1932 г. / *Переиздание.* 374 стр. \$12.00.
- СЕРГЕЙ ПЕТРУНИС.** Иероглифы. Первая книга. 250 стр. \$8.95.
- АЛЕКСАНДР РАДАШКЕВИЧ.** Шпалера. Стихи. Послесловие Натальи Горбаневской. 110 стр. \$7.95.
- АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ.** Россия в письменах. Том 1. Берлин, 1922 / *Переиздание.* С новым предисловием О. Раевской-Хьюз. 222 стр. \$7.95.
- РУССКАЯ ЛИРИКА.** Маленькая антология от Ломоносова до Пастернака. Сост. Кн. Д. Святополк-Мирский. Париж, 1924. / *Переиздание.* С новым предисловием проф. Глеба Струве. 254 с. \$6.95.
- Н. А. ТЭФФИ.** Городок. Рассказы. С новым предисловием Эдит Хейбер. 204 стр. Тв. пер. \$13.00. Бум. обл. \$7.95.

- ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ.** Собрание стихов. Париж, 1927. / *Переиздание.* 184 стр. \$7.95.
- ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ.** Избранная проза. С предисловием и комментариями Н. Берберовой. 320 стр. \$9.95.
- МАРИНА ЦВЕТАЕВА.** Избранная проза в двух томах. Предисловие И. Бродского. 2 тома, 835 стр. \$45.00.
- МАРИНА ЦВЕТАЕВА.** Стихотворения и поэмы в 5 томах. Том 1. Иосиф Бродский. Об одном стихотворении. (Вместо предисловия). Виктория Швейцер. «Своими путями». (Биографический очерк). Стихотворения 1908 – 1916 гг.: «Вечерний альбом». «Волшебный фонарь». «Юношеские стихи». «Версты 1». (1916). Стихи, не вошедшие в сборники. 402 стр. Бум. обл. \$25.00. Том 2. Стихотворения 1916 – 1922 гг.: «Версты 2». «Лебединый стан». «Стихи к Блоку». «Психея». «Ремесло». Стихи, не вошедшие в сборники. 420 стр. Бум. обл. \$25.00. Том 3. Стихотворения и переводы 1922 – 1941 гг.: «После России». Стихи и переводы 1922 – 1941. Воспоминания М. Слонима и Л. Чуковской. 545 стр. Бум. обл. \$32.00. Том 4. Поэмы. 392 стр. Бум. обл. \$28.00.
- АЛЕКСАНДР ЧАЯНОВ.** История парикмахерской куклы и другие сочинения Ботаника Х. Предисловие А. Бахраха. Очерк творчества Л. Черткова. 450 стр. \$15.00.
- АНАТОЛИЙ ШТЕЙГЕР.** 2x2=4. Стихи. 1926 – 1939 гг. Биогр. заметка А. Головиной. Предисловие проф. Ю. П. Иваска. 104 стр. Тв. пер. \$13.00. Бум. обл. \$6.95.
- Access to Resources in the '80s: Proceedings of the First International Conference of Slavic Librarians and Information Specialists.** Ed. by Marianna T. Choldin. 110 стр. \$7.50.
- EDWARD KASINEC.** Slavic Books and Bookmen. Papers and Essays. 180 стр. \$13.50.
- WOJCIECH ZALEWSKI.** Russian-English Dictionaries with Aids for Translators. A Selected Bibliography. 144 стр. \$7.50.

Заказы направлять по адресу:

RUSSICA BOOK & ART SHOP, INC.
799 Broadway, New York, N. Y. 10003.
Тел. (212) 473-7480.

По заказам в США: просьба добавлять 1 доллар за первый и 50 с за каждый последующий том на пересылку. К жителям Нью-Йорка просьба добавлять 8-процентный налог к стоимости заказа. **ВНИМАНИЮ ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ США:** просьба добавлять \$1.50 за первый и 75 с за каждый последующий том на пересылку и оплачивать заказы Международными денежными переводами в долларах США. Тел. (212) 473-7480.

**В МАГАЗИНЕ «РУССИКА» МОЖНО ЗАКАЗАТЬ
ЛЮБЫЕ РУССКИЕ КНИГИ,
ИЗДАННЫЕ В СВОБОДНОМ МИРЕ.**

МАГАЗИН «РУССИКА» ПРЕДЛАГАЕТ

- СВЕТЛАНА АЛЛИЛУЕВА.** Двадцать писем к другу. США, 1981. 216 стр. \$10.00.
- БОРИС БАЖАНОВ.** Воспоминания бывшего секретаря Сталина. 2-е издание. США, 1983. 319 стр. \$15.00.
- ЮРИЙ ГАЛЬПЕРИН.** Играем блюз. Повесть. США, 1983. 96 стр. \$7.00.
- МИХАИЛ ЗОЩЕНКО.** Перед восходом солнца. США, 1973. 315 стр. \$9.95.
- ИНДИЙСКИЕ ТРАКТАТЫ О ЛЮБВИ.** США, 1977. 133 стр. \$4.00.
- НИКОЛАЙ КАТЕНЕВ.** Костя Попандопуло и я. США, 1977. 325 стр. \$6.95.
- ЕВГЕНИЙ КОЗЛОВСКИЙ.** Красная площадь. Диссидент и чиновница. Повесть и рассказ. США, 1983. 189 стр. \$8.00.
- ЕВГЕНИЙ КОЗЛОВСКИЙ.** Мы встретились в раю. Роман. США, 1983. 313 стр. \$17.50.
- КРАТКАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ.** В 6 томах. Израиль, 1976 – Том 1. Аарон – Высоцкий. 756 кол., илл., тв. пер. \$25.00.
Том 2. Габбай – Измир. 868 кол., илл., тв. пер. \$30.00.
Принимается подписка на льготных условиях.
- ЭДУАРД ЛИМОНОВ.** Дневник неудачника, или Секретная тетрадь. США, 1982. 249 стр. \$12.50.
- ЭДУАРД ЛИМОНОВ.** Это я – Эдичка. 2-е издание. США, 1982. 281 с. \$12.50.
- ПОТАЕННЫЙ ПЛАТОНОВ.** (Андрей Платонов. Повесть и рассказы). США, 1983. 180 стр. \$10.00.
- СЕМЕН РЕЗНИК.** Дорога на эшафот. США, 1983. 127 стр. \$8.00.
- ВЯЧЕСЛАВ СЫСОЕВ.** Ходите тихо, говорите тихо. (Записки из подполья). США, 1983. 96 стр. \$7.00.
- ТАНАХ.** В 3-х томах.
1. Пять книг Торы. Израиль, 1975. 271 стр.
 2. Первые и последние пророки. Израиль, 1978. 494 стр.
 3. Кетувим. Израиль, 1978. 394 стр. Цена комплекта \$29.00.
- ТРЕТЬЯ ВОЛНА.** Альманах литературы и искусства. Выпуски 13, 14, 15, 16. Цена одного выпуска \$6.00.
- ЮРИЙ ФЕЛЬШТИНСКИЙ.** Солженицын и социалисты. Предисловие А. Глезера. США, 1983. 47 стр. \$4.50.
- АНАТОЛИЙ ЯКОБСОН.** Конец трагедии. США, 1973. 236 стр. \$6.50.
- МИХАИЛ ЯКОБСОН.** Карзубый. Лагерная повесть. США, 1983. 90 стр. \$6.50.
- AVRANAM SHIFRIN.** The First Guidebook to Prisons and Concentration Camps of the Soviet Union. Швейцария, 1980. 379 стр. \$7.50.

Заказы направлять по адресу:

RUSSICA BOOK & ART SHOP, INC.
799 Broadway, New York, N. Y. 10003.

По заказам в США: просьба добавлять 1 доллар за первый и 50 с за каждый последующий том на пересылку.

ВНИМАНИЮ ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ США:
просьба добавлять \$1.50 за первый и 75 с за каждый последующий том на пересылку и оплачивать заказы
Международными денежными переводами в долларах США.

КОНТИНЕНТ

Годовая подписка (4 номера)
40,— ДМ, или 20,— US\$, включая пересылку.

Вы экономите 8,— ДМ, или 4,— US\$ *
от розничной цены!

Желаю оформить подписку на 1 год (4 номера)
начиная с №.....

Имя:

Адрес:

.....

.....

Оплату произвожу:

приложенным чеком почтовым переводом
через банк

Платеж и заполненный талон просим направлять:

A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB
Bauerstr. 28, 8000 München 40, West Germany

Bankkonto: Bayerische Vereinsbank München Nr. 6304630

Postscheckkonto: München 147391-804



K

В ЗАЩИТУ ФЕЛИКСА СВЕТОВА

Казалось бы, что даже по сравнению со своей спутницей жизни, известной христианской деятельницей, осужденной за издание за рубежом чисто религиозного журнала «Надежда» Зоей Крахмальниковой – Феликс Светов выглядит абсолютно непричастным к политике человеком: профессиональный критик, литературовед, прозаик, никогда не считавший себя диссидентом в политическом смысле этого слова.

Но, видимо, настала очередь и тех, кого советские власти считают своими потенциальными противниками. Полагаем, что это весьма и весьма тревожный симптом, ибо так уже однажды случилось: сначала репрессировали явных врагов, затем потенциальных противников, после чего поднималась война всех против всех, то есть бессмысленный и слепой террор, в мясорубке которого действовало одно непреложное правило: «был бы человек, дело найдется!»

Об этом, по нашему мнению, следовало бы сегодня задуматься прежде всего власть имущим в Советском Союзе. Однажды запустив эту страшную машину, они вскоре потеряют над ней управление и по железной логике вещей в конце концов сами окажутся ее жертвами, причем вместе со своим близким и неблизким окружением.

История, к сожалению, повторяется, хотя, как говорят, и в виде фарса. Но кто гарантирует, что фарс этот будет менее кровавым, чем предыдущая трагедия?

Когда-то это начиналось с таких, как отец Феликса Светова – известный революционер, а затем не менее известный историк Григорий Фридлянд. Сегодня с его сына. Завтра настанет ваша очередь, господа мастера сыска с Лубянки.

Задумайтесь же над этим, решая судьбу честного русского писателя и подлинного христианина Феликса Светова!

*Василий Аксенов, Галина Вишневская,
Георгий Владимов, Наталья Горбаневская,
Наум Коржавин, Владимир Максимов,
Эрнст Неизвестный*

АЛЕКСИС РАННИТ

Замечательный эстонский поэт скоропостижно скончался 5 января в Нью-Хейвене. Прижизненно признанный классиком, он публиковался в эмигрантских изданиях и в переводах почти на все европейские языки. Только в родной Эстонии имя Раннита никогда не появлялось в печати, хотя стихи его там широко известны. В советской Эстонии, где количество поэтов «на душу населения» самое высокое в мире, не существует поэта Раннита. Но в Эстонии Духа, в его родной, вневременной Эстонии, его имя всегда упоминается рядом с именем другого классика современной эстонской поэзии — Марии Ундер.

Алексис Раннит был поэтом, искусствоведам, теоретиком литературы и выдающимся американским ученым-славистом. Он родился 14 октября 1914 года в Калласте, учился в Тарту, Вильнюсе, Фрайбурге. С 1953 года постоянно жил в США. В Йельском университете А. Раннит возглавлял институт по изучению России и Восточной Европы. Почетный доктор более чем десятка американских и европейских университетов, член-основатель международной ассоциации искусствоведов, представитель эстонской литературы в международном ПЕН-клубе, он многие годы был и членом нашей редколлегии.

Стихи Раннита по-русски публиковались в переводах Игоря Северянина, Лидии Алексеевой, Василия Бетаки и других русских поэтов.

Статьи Раннита переводить не приходилось — в совершенстве, мастерски владея русским и английским языками, он писал на них, как на родном. То же можно сказать и о его работах, написанных по-немецки и по-литовски.

Как поэт А. Раннит относится к неоклассицистам. Он породил в эстонской поэзии многие формы античного стиха, что оказалось для нее очень органичным: эстонская просодия, как и древнегреческая, квантитативна. Первоосновой А. Раннит всегда считал ритм. И в поэзии форма для него была изначальна. Эстетизм как принцип — вот его литературное кредо. Суть поэзии А. Раннита — лирический экзистенциализм. Незадолго до смерти А. Раннит выпустил книгу избранных стихов по-эстонски и готовил сборник в русских переводах, выхода которого так и не дождался.

Редакция и редколлегия «Континента» глубоко скорбят о неожиданной кончине А. К. Раннита, классика эстонской и друга русской литературы.